

А • РЕДКАЯ КНИГА

КАЯ КНИГА • РЕДКАЯ

• РЕДКАЯ КНИГА



РЕДКАЯ КНИГА

КНИГА • РЕДКАЯ

РЕДКАЯ КНИГА



ФРОНТОВЫЕ НОЧИ И ДНИ



ФРОНТОВЫЕ НОЧИ И ДНИ

Прошедшим фронт, нам день зачтется
за год,

В пыли дорог сочтется каждый след,
И корпией на наши раны лягут
Воспоминанья юношеских лет.

Рвы блиндажей трава зальет на склонах,
Нахлынув, как зеленая волна.
В тех блиндажах из юношей влюбленных
Мужчинами нас сделала война.

И синего вина, вина печали,
Она нам полной мерой поднесла,
Когда мы в первых схватках постигали
Законы боевого ремесла.

.....
А на снегу, как гроздь горьких ягод,
Краснела кровь. И снег не спорил с ней!
За это все нам день зачтется за год,
Пережитое выступит ясней.

Николай Рыленков

★ ФРОНТОВЫЕ НОЧИ И ДНИ ★

ПРИКАЗЫ
И
РАСКАЗЫ

ИЗДАНИЕ ПЕРВОЕ



ФРОНТОВЫЕ НОЧИ И ДНИ

МОСКВА
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
2005

ББК 63.3(2)722
Ф91



Федеральная целевая программа «Культура России»
Подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздания России»

Ф91 Фронтовые ночи и дни: Сборник.— М.: Воениздат, 2005.
— 303 с. — (Редкая книга).
ISBN 5—203—01963—0

Главное достоинство книги — достоверность и честность. Особый интерес вызывают повесть В. Мануйлова «Штрафники на Черной речке» и мемуарная проза М. Косинского, ранее не публиковавшиеся по идеологическим соображениям. В очерках И. Грунского, Л. Вегера, С. Школьниковой раскрывается внутренний мир человека на войне, его понимание сути солдатского долга, процесс освобождения от страха, всего наносного, низкого, что было в нем до крещения огнем.

Книга адресована прежде всего молодежи, не знающей всей правды о Великой войне.

ISBN 5—203—01963—0

ББК 63.392)722

©В.А. Мануйлов, 2005
©М.Ф. Косинский, 2005
©И.Е. Грункой, 2005
©Л.Л. Вегер, 2005
©С.С. Школьников, 2005
©Составление, оформление, Воениздат, 2005

ВИКТОР МАНУЙЛОВ

ШТРАФНИКИ НА ЧЕРНОЙ РЕЧКЕ





Сегодня уже известно и доказано, что летом 1941 года Красная армия и народ нашей страны морально не были готовы к страшной войне. Не пришлось нам воевать на чужих территориях. Красная армия по разным причинам не смогла противостоять немецкому вторжению и в течение почти полутора лет вынуждена была защищаться, отступая в глубь страны.

Да, были эпизоды героического сопротивления врагу, были выигранные сражения. Но сегодня мы можем открыто говорить и о массовой сдаче в плен (за 1941 год — 2 миллиона 335 тысяч военнослужащих), панике, растерянности, трусости и даже предательстве, неверии в собственные силы рядовых красноармейцев, а подчас и недоверии командованию, нераспорядительности командиров всех степеней, откровенном шкурничестве. Все это заставляло высшее руководство страны и армии принимать жесточайшие меры для наведения порядка, дисциплины, для усиления боеспособности войск. И меры эти затрагивали не только виноватых, но и невиновных, увы, тоже.

Казалось бы, летом 42-го уже перестал действовать так называемый фактор внезапности нападения, а Красная армия вновь дрогнула и покатилась к Сталинграду, к предгорьям Кавказа. И тогда 28 июля 1942 года появился приказ № 227, известный под названием «Ни шагу назад», подписанный И.В. Сталиным. А через два месяца Г.К. Жуков, тогда генерал армии и заместитель наркома обороны, подписал «Положение о штрафных батальонах в действующей армии» и «Положение о штрафных ротах», где было сказано: «Штрафные батальоны имеют целью дать возможность лицам среднего и старшего командного, политического и начальствующего состава всех родов войск, провинившимся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, кровью искупить свои преступления перед Родиной отважной борьбой с врагом на более трудном участке боевых действий».

В штрафные батальоны и роты военнослужащие отправлялись на срок от месяца до трех, хотя на практике эти сроки выдерживались редко, ранение считалось отбыванием наказания, как и особое отличие в бою. Но особое или не особое — это ведь на взгляд командира штрафбата (роты), а взгляд тоже мог быть особым.

За время войны военными трибуналами были осуждены с лишением воинских званий более 20 тысяч офицеров, а были еще осужденные к расстрелу, тюремному заключению и т.п. Сколько офицеров попало в штрафбаты распоряжением командиров дивизий и выше — неизвестно, сколько из них не вернулось в строй — тоже. Нет данных и о том, сколько рядовых красноармейцев и младших командиров прошло через штрафные роты, куда они могли отправляться волей командира полка, сколько из них погибло в отважной борьбе «на более трудном участке боевых действий».

Несколько особняком в массе «проштрафившихся» стоят рядовые и офицеры, побывавшие в немецком плену, в окружении или просто на оккупированной территории. За всю войну в плену оказалось около 150 тысяч офицеров. Уже в 41-м году были созданы спецлагеря НКВД, так называемые фильтрационные лагеря, в которых военнослужащих проверяли: когда и как попал в плен или в окружение, каким образом выжил.

В октябре 1944 года Л.П. Берии был представлен документ под названием «Справка о ходе проверки б/окруженцев и б/военнопленных по состоянию на 1 октября 1944 года», где говорилось: «Всего прошло через спецлагеря бывших военнослужащих Красной армии, вышедших из окружения и освобожденных из плена, 354 592 человека, в том числе офицеров 50 441 человек. Из этого числа проверено и передано....

а) в Красную армию 249 416 человек... из них офицеров 27 042; на формирование штурмовых батальонов 18 382, из них офицеров 16 163.

Из числа оставшихся в лагерях НКВД СССР в октябре формируются 4 штурмовых батальона по 920 человек».

Разумеется, не приказ Сталина «Ни шагу назад» и не положения о штрафниках вселили отвагу и мужество в солдат и командиров Красной армии, пробудили в них ответственность за судьбу своего Отечества. Не на чужих ошибках, не на чужом опыте учились они — на своих горьких ошибках, на своем кровавом опыте научились бить врага, гнать его с родной землей.

Как они учились, как добывали себе свободу, как искупали кровью «свои преступления перед Родиной отважной борьбой с врагом на более трудном участке боевых действий», я и пытался рассказать в этой почти документальной повести.

Вземлянке жарко, горит буржуйка. От мокрых ватников и штанов идет пар. Крепкий запах давно немытых человеческих тел не перебивает даже махорочный дым. Из углов тянет сыростью. Красноватые отблески из чрева буржуйки освещают небритое лицо грузина — черные глаза, полные губы, вислый нос. Старая солдатская гимнастерка на нем не вяжется с высоким лбом, умными, слегка печальными глазами, грузным телом. Он похож на человека, которого ограбили на большой дороге, сняли добротную одежду, а взамен дали рубище, лишь бы прикрыл наготу.

Собственно говоря, так оно и было. Всего два месяца назад подполковник Какиашвили командовал полком тяжелой артиллерии совсем недалеко отсюда — на том же Ленинградском фронте. Правда, и там он жил в землянке, но совсем не в такой, как эта, — в сухой и благоустроенной, с отдельной спальней, завешанной коврами из покинутых домов и полуразбитого музея. Был у него ординарец и так называемая ППЖ — походно-полевая жена, медсестра из санбата. Но главное, был полк, положение, имя. И вот в соседнем госпитале появилась Ольга Николаевна, горячка с золотистыми волосами. Какиашвили потерял голову. Война, кровь, грязь, блокада, ежедневное и ежечасное соседство со смертью, скука, наконец, и однообразие сидения в глухой обороне — все сложилось роковым образом, толкнув его на опрометчивый поступок. Он поторопился, а у этой Ольги Николаевны оказался высокий покровитель. И сорвали с подполковника знаки различия, ордена. И загремел он в штрафбат.

Какиашвили до сих пор не может взять в толк, как все это произошло, да еще так стремительно, что... Будто все только и ждали, когда он споткнется на какой-нибудь малости, чтобы приплести к этой малости и такое, в чем грешен не только, скажем, командир полка, но и батальонный, и даже ротный.

Злоупотребление служебным положением... Ха! А кто на войне не злоупотребляет служебным положением?! Сама война есть высочайшее злоупотребление людьми, и им ничего не остается, как злоупотреблять войной. Ему даже эти чертовы ковры вписали в строку... Нет, кому-то мешал подполковник Какиашвили — в этом все дело.

И все же забыть Ольгу Николаевну бывший подполковник никак не может и зла на нее не держит. Даже наоборот: после всего, что между ними произошло, она кажется ему еще прекраснее, еще желаннее, и он обижен теперь на весь свет за то, что его лишили и Ольги Николаевны, и полка, и всего-всего...

* * *

Подполковник только что закончил рассказывать свою историю и, с преувеличенным вниманием разглядывая протертую подметку кирзового сапога, переживает.

— Вах-вах! — говорит он, цокая языком. — Какая эта женщина, Ольга Николаевна! Богиня!

Майор Иловайский покосился из своего угла на Какиашвили и криво усмехнулся: он ни на грош не верит подполковнику, он полагает, что тот скрывает за любовной историей нечто более серьезное, порочащее человеческое и офицерское достоинство. И честь, если она у этого подполковника когда-нибудь была.

Майор Иловайский — из бывших, дворянин старой фамилии, и никогда не скрывал этого, хотя и не выпячивал. Да и что значит происхождение, если он как надел в двенадцать лет, еще при императоре Николае, армейскую шинель, так до сих пор — с перерывом, правда, на строительство Беломорканала и Воркутинских шахт — и не снимает. Но в душе он презирает таких, как бывший подполковник Какиашвили, полагая, что как раз такие выскочки без роду и племени довели армию до ручки и позволили немцам захватить пол-России, а этого не позволял им даже бездарный полковник Романов.

Впрочем, презрение майора к подполковнику ни в чем не выражается. Разве что в кривой усмешке да еще, быть может, в том, что Иловайский чисто выбрит и обмундирование на нем хотя и заношенное, с чужого плеча, но будто сегодня из прачечной.

Майор сидит на нижних нарах, на коленях у него кусок фанеры, на фанере разобранный автомат ПППШ. Майор протирает каждую часть тряпочкой, смазывает и ставит на место. Делает он это почти не глядя, на ощупь, да и свет керосиновой лампы, висящей под потолком, слишком слаб, чтобы можно было рассмотреть мелкие детали.

По тому, как майор берет каждую часть, видно, что он не только понимает, что есть для солдата оружие, но и любит с ним возиться. Слушая Какиашвили, он вместе с тем продолжает думать свою бесконечную думу, в которой собственная судьба, судьба России и каждого встречного-поперечного переплелись, составив странный и причудливый узор, каким на Востоке покрывают клинки сабель и кинжалов. И какой бы ни был узор, даже если

изображены райские птицы, предназначение клинка — нести смерть, время от времени покрываясь дымящейся кровью, и не всегда у владельца этого клинка есть возможность обтереть его и почистить.

Предопределено свыше, считает майор Иловайский, идти России тем путем, по которому она идет, а вместе с ней и ему, Иловайскому. Время затянет рубцы и раны, забудутся боль и обиды, Россия воспрянет, вскинет гордую голову и предстанет изумленному миру...

Да, вот Гоголь, он был малороссом, видел Россию со стороны и потому отчетливее других ощущал ее медлительную и могучую силу, способную разогнаться безоглядно и неудержимо и не только удивить и изумить, но и раздавить зазевавшегося прохожего. Может, Гоголь и отыскивал в России все самое смешное и жалкое, чтобы найти в этом защиту и успокоение. Да разве таким образом найдешь!

Толстой на Россию глядел изнутри, сила России была неотделимой от него самого силой. И взбунтовался он на старости лет бездумно и бесцельно, как взбунтовалась потом вся Россия. Что ж, наверное, без этого нельзя. Наверное, так на роду ей написано.

И нынешние напасти — тоже. Но пройдут эти напасти, пройдут, как прошли татарское иго, опричнина, бироновщина многое другое. Россия выстояла и живет. Как тот солдат, которого прогнали сквозь строй. Только не батогами били Россию, а бунтами, дворцовыми переворотами, революциями и войнами...

Майор Иловайский в штрафбат попал за убийство — застрелил лейтенанта из «Смерша». За что он его застрелил и правда ли, что лейтенант был из «Смерша», майор не говорит никому. Как, впрочем, про Беломорканал и Воркуту.

* * *

Здесь никого не интересует, за что человек попал в штрафбат. Разве что старшину Титова. И не бывшего, а настоящего. Потому что ему надо знать, с кем идти завтра за «языком». И на какие неожиданности рассчитывать.

Титов приговорен к штрафбату на два года — от звонка до звонка. А не как грузин-подполковник или майор Иловайский — до первой крови или успешного выполнения особого задания, хотя его преступление мало чем отличается от преступлений других штрафников. Разница в том, что он — солдат, а они — офицеры.

Старшина Титов в штрафбате уже седьмой месяц, и если, скажем, завтра война вдруг закончится, то срок ему могут растянуть еще лет на десять. Титов иллюзий на этот счет не питает. Он тоже не распространяется, за что угодил в штрафбат. Но всем известно:

убил какого-то штабиста. Что же касается войны, то старшина уверен: ее хватит на два года и еще останется. На дворе ноябрь 42-го, и фронт проходит не в Германии, а под Ленинградом.

Немец держится крепко, глубоко зарылся в землю, правда, не наступает, но и, судя по всему, отступать не собирается.

Зато под Сталинградом сейчас идет молотья та еще. Но кто там кого — наши ли немцев или немцы наших — сам черт не разберет, а верить тому, что говорит на политинформациях замполит батальона, могут только полные дураки.

Под Ленинградом, если послушать замполита, мы только и делаем, что лупим немца в хвост и в гриву. Выходит, в живых тут давно уже не должно остаться ни одного вражьего солдата, не говоря уже об офицерах и генералах, а что-то незаметно, чтобы их становилось меньше... Но это уж такая у политработника задача — поднимать боевой дух. Вот он и поднимает. Впрочем, если бы не лупили в хвост и в гриву, немец давно бы взял Ленинград. Так что и замполит, выходит, прав.

Старшина Титов сидит на чурбаке у буржуйки и прислушивается к ленивым разговорам бывших офицеров. Он не испытывает к ним ни неприязни, ни зависти, ни сочувствия. В этой землянке за полгода он повидал многих, и самых разных. И ко всем у него одинаковое отношение: люди чужие, случайно встретившиеся на его пути. Вот разве что стойкая неприязнь и недоверие рабочего человека ко всякому начальству, которое на то и создано, чтобы им, рабочим человеком, помыкать. А солдат — он рабочий, значит, подчиненный, и никакого между ним и начальством равенства быть не может, пусть даже начальство само недавно щи лаптем хлебало.

К примеру, рядового, если что совершит — струсит ли, запаникует или членовредительство, — без лишних слов ставят перед строем и... вечная память. А офицеры — офицеры совсем другое дело. Они и здесь, в штрафбате, не забывают своих званий, будто сняли кубари и треугольнички на время, и вид у них такой, что ли, обиженный, как будто они не преступление совершили, а так — чихнули в неполюженном месте...

Старшина Титов с бывшими офицерами на официальной ноге, ни с кем дружбы не заводит, никого не выделяет, ни перед кем не заискивает. Можно, со стороны глядя, подумать, что он имеет дело с офицерами запаса, взятыми на переподготовку: все разговоры у них о прошлом, всеми мыслями они там, в другой жизни, куда очень надеются вернуться.

* * *

— А вы, подполковник, женились бы на Ольге Николаевне? — спрашивает бывший капитан по фамилии Ксеник, из евреев.

Об этом Ксенике старшине известно, что он служил при штабе корпуса, имел дело с бумагами и, когда немцы неожиданно провались к штабу, драпанул одним из первых, не позаботившись об этих самых бумагах.

Ксеник знает немецкий, то есть знает идиш, а это почти одно и то же, поэтому его и направили к старшине Титову: авось пригодится, хотя еще не было случая, чтобы пленных немцев допрашивали прямо в окопах. Зато перед тем как Ксеника направить к разведчикам, с ним беседовали старший лейтенант из «Смерша» и замполит штрафбата, беседовали порознь, но потребовали одного и того же: быть их ушами и глазами в хозяйстве старшины, на что бывший капитан Ксеник легко и с пониманием согласился.

— Жениться? Зачем, дорогой, жениться? Война! — восклицает с искренним изумлением Какиашвили и вздергивает широкие покатые плечи.

— Но не вечна же эта война, — вкрадчиво гнет свою линию Ксеник, мерцая угольными глазами, почти такими же, как у самого Какиашвили.

— Так и я тоже не вечен. Завтра меня убьют, послезавтра ее. Одна смерть, одна грязь — и все? — будто спрашивает Какиашвили присутствующих, поводя глазами, но никто ему не отвечает, и он продолжает уверенно: — Нет, дорогой, не надо жениться. А жить все равно надо. Даже если смерть, грязь и все остальное. Даже наоборот — спешить надо. А ты говоришь — жениться. Зачем? Глупо. — И усмехается непонятливости Ксеника и всех остальных.

— Между прочим, — вставляет Иловайский, — женились даже смертники... перед казнью. И не считали это глупым.

— Зачем — смертники? Надо верить, что жить будешь, — потухает Какиашвили и шумно вздыхает.

— Ну а если бы не война и вы встречаете эту самую Ольгу Николаевну? Что тогда? — не унимается Ксеник.

— О-о, тогда! Тогда совсем другое дело! Тогда жизнь совсем другая! Можно все не спеша делать. Удовольствие — как это по-русски? — в предвкушении. Да... А вот в таком сапоге — как ходить можно? — увिलивает Какиашвили от прямого ответа.

* * *

Да, пожалуй, подполковника он завтра возьмет: осмотрителен, жизнь любит, силенка имеется. В случае чего — вытащит, рассуждает сам с собой старшина Титов. А вот с этим, из бывших, с этим повременить надо, присмотреться: слишком нервный. Вон скулы как у него ходят. То ли не нравится, что говорит грузин, то ли свое что переживает... Нет, ему, старшине Титову, на дело нужны люди спокойные и хладнокровные.

Есть еще молоденький младший лейтенант по фамилии Кривулин. Этот Кривулин, недавно лишь закончивший пехотное училище и поставленный на должность взводного, в первом же бою растерялся и дал увлечь себя паникером. Ну, его и...

Кривулина Титову жалко — совсем еще мальчишка, и он взял бы его с собой за «языком», но опыта у парнишки маловато, может все дело испортить. Надо поддержать его около себя, поднатаскать, а там видно будет.

Младший лейтенант Кривулин спит на нарах, свернувшись калачиком, и тихонько посапывает. А то вдруг всхлипнет обиженно, забормочет невнятно. Дитя, да и только. Небось мамку свою во сне видит. Или все никак не может смириться с выпавшим на его долю испытанием.

Есть еще двое. Тоже спят. Один — майор по фамилии Рамешко, другой — старший лейтенант Носов. Оба из пехоты. Оба за невыполнение приказа номер 227, прозванного «Ни шагу назад».

Майор из резервистов, обстоятельный, домовитый, с хитрецей — истинный хохол. А старший лейтенант — кадровый, в Финскую успел поехать. Вот старлея Титов, пожалуй, и возьмет. Остальные подождут до следующего раза. Если он будет.

Впрочем, старшина верит, что будет. А вот что все два года он такую жизнь выдержит, про это он даже и не думает: на войне слишком далеко заглядывать не принято. А погибать вроде бы все равно кем. Тем более что похоронок на всех — и на штрафников тоже — посылают одинаковые. Но это старшина утешает себя таким образом, потому что утешиться больше нечем. Все-таки штрафбат есть штрафбат. Вроде тюрьмы. А кому ж охота жить в тюрьме? Даже вот в такой? Даже при оружии? То-то и оно...

* * *

Старшина Титов вместе с Какиашвили час назад вернулся с переднего края. Тоже промок, промерз и теперь, после ужина, разомлев от тепла буржуйки и полстакана водки, настроен вполне благодушно. Главное, он отыскал хорошую лазейку к передней линии немецких окопов, где и надеется завтра взять «языка». А найти такую лазейку — это, считай, полдела.

Еще много значит погода. Пока погода — лучше не придумаешь: ветер, дождь то и дело срывается, иногда со снегом, темнотица. Немцы, правда, осветительных ракет не жалеют, но резкая смена тьмы и света имеет столько же преимуществ, сколько и недостатков. Пуская ракеты, немец полагает, что этим может обезопасить себя от всяких неожиданностей, и потому внимание его притупляется. Особенно в конце дежурства, когда остается минут пятнадцать—двадцать. Тогда немец вообще ни о чем не думает, кроме как о теплой землянке и горячем эрзац-кофе.

Старшина Титов не раз видел собственными глазами, как немец одной рукой пускает ракеты, сидя на дне окопа, в затишке, а другой посылает очереди из пулемета, лишь бы шуму побольше было, не глядя, в божий свет как в копеечку. Немец, как солдат, куда дисциплинированнее русского, но и он человек, а не машина бесчувственная. Так что если с умом все разнюхать, то шансов на успех не так уж и мало.

Конечно, случайности всякие предусмотреть невозможно и исключить нельзя, но тут уж не зевай. Пока старшину Титова бог миловал, и на его счету уже девять «языков». Будь он не в штрафбате, увешали бы орденами. Ну да что об этом! Зато он считается главным специалистом по добыванию «языков» на своем участке фронта. Когда командованию требуется информация из первых рук, вызывают старшину Титова. Вернее сказать, не вызывают, а приходит в его землянку командир взвода — тоже, между прочим, из штрафников — и переводит желание командования на окопный язык, в выборе слов особо не церемонясь.

Старшина в штрафбате на привилегированном положении. У него даже землянка отдельная в шестистах метрах от передней линии наших окопов. Вот если бы ему постоянных напарников, чтобы спеться, будто одно целое, тогда бы вообще никаких забот. А то всякий раз присылают новых, с которыми он и ходит по одному всего разу, потому что либо они остаются на нейтральной полосе, продырявленные пулями, либо, если повезет вернуться в свои окопы живыми, получают вольную и уходят дослуживать в обычные части с возвращением звания, должности и орденов. Зато идут к нему только добровольцы — из тех, кто поскорее хочет «искупить вину» и если погибнуть, то не замаранным судимостью человеком.

Да только не каждому добровольцу удастся попасть к старшине Титову, хотя сам старшина далеко не всегда понимает, по каким таким соображениям их отбирает замполит штрафбата. Иногда такого подsunут, что с ним не то что за «языком» — в собственный тыл за кашей ходить рискованно.

Поначалу Титов пытался возражать, так в ответ одно и то же: «Не обсуждать! Выполнять приказание!» И выполнял, пока не догадался, что таких людей — чаще всего из интендантов и штабистов — вовсе не обязательно тащить за собой к немцам, а достаточно включить в группу прикрытия, которая остается в своих же окопах. Потом замполит напишет в рапорте, что такой-то принимал участие, проявил и тому подобное, а старшина Титов, не читая, этот рапорт подмахнет. И возвращается человек, иногда даже не понюхав штрафбата, в привычную свою жизнь, покровительственно похлопав старшину по плечу и пообещав похлопотать о нем перед командованием. Да, видать, не выгодно командованию отпускать старшину из штрафбата.

* * *

Бывшие офицеры лениво болтают о своем, но ушки у них на макушке: о старшине Титове наслышаны все и все знают, что пойдет с ним за «языком» тот, на кого старшина глаз положит. А из каких соображений выбирает старшина, можно только гадать. В этом деле командование над ним воли не имеет.

Старшина Титов раздевается до пояса, вешает на веревочку нижнюю рубашу и гимнастерку. Тело у старшины слеplено из бугров и жгутов, и каждый живет отдельной жизнью, вспухая и опадая при малейшем движении. На это мускулистое тело и смотреть даже как-то страшновато: кажется, будто это и не мускулы вовсе, а змеи и еще какие-то неведомые животные поселились под кожей и вот-вот разорвут ее и начнут отскакивать от тела и расплзаться в разные стороны.

Старшина вытирается серым вафельным полотенцем, уходит в свой закуток. Спина у него посечена поперечными шрамами, скорее всего, осколками близко разорвавшейся гранаты или мины.

Бывшие офицеры молча провожают его глазами. Разговоры прекращаются сами собой. Штрафники расплзаются по нарам.

* * *

Когда все стихает, из своего темного угла выбирается майор Иловайский и садится возле буржуйки — он сегодня дневальный. Коли старшина это дневальство не отменил и не заменил майора кем-то другим, значит, за «языком» ему завтра не идти. Ну да ничего, успеется.

Иловайский подкладывает в печурку сырые осиновые полешки, гасит керосиновую лампу, устраивается поудобнее и не мигая смотрит на огонь. Сырые дрова потрескивают, шипят, поскуливают, испуская с торцов тоненькие струйки пара — словно жалуются на свою судьбу. Огонь облизывает их красным языком, пробует на вкус, отрывает щепки и кору, вонзает в них острые белые зубы, изжевывает в прах. Сама реальность сгорает в огне, белесым дымом улетает в железную трубу, и вместо нее душу и тело обволакивает нечто, сотканное из полузабытых видений и звуков, как эта сонная тишина, насквозь пропитанная храпом, сопением, бормотанием усталых людей. Колеблющаяся в спертom воздухе тишина стекает из черных углов к центру землянки, окружает Иловайского вместе с буржуйкой, мерцает в бликах огня. Иногда земля вздрагивает от близкого одиночного разрыва снаряда или мины, тогда тишина шуршит сыплющимся с потолка песком. Но это не мешает ни Иловайскому, ни спящим. Привыкли.

Майор вскидывает голову, трет лицо шершавыми ладонями, берет полевую сумку, достает из нее тетрадку в клеенчатой обложке, огрызок химического карандаша и, придвинувшись поближе к огню, записывает:

11 ноября 1942 года. Интересный человек старшина Т. О нем ходят легенды. Поразительно: не охотник, даже не рыбак, всю жизнь проработал в литейке — в чаду, грохоте, — должен, казалось бы, утратить и слух, и обоняние, и зрение, а они у него, по рассказам, просто феноменальные. Вероятно, и поэтому он так удачлив. Физически силен необычайно. Это, вообще говоря, талант, который, к сожалению, раскрылся в столь диких условиях. А не случись война, зачах бы человек в своей литейке, сгорел бы от туберкулеза или силикоза, так и не узнав, на что способен.

Бедная Россия — вся она в этом человеке! Кстати, говорят, что немцы сбрасывали листовки, в которых предлагали Т. перейти на их сторону, сулили ему всякие блага. А уйти к немцам у него возможностей больше, чем у кого-либо. Но я знаю: не уйдет. Потому что русский человек. И на этом у нас все держится. Только на этом.

Несколько дней назад немцы уволокли из наших окопов зазевавшегося красноармейца. Теперь посылают старшину в их окопы, скорее, в отместку, чем из потребности иметь свежие данные: положение на нашем участке фронта уже длительное время не меняется. И они, и мы ждем, чем закончится дело под Сталинградом. Ясно, что сил на все ни им, ни нам не хватает. Очень хочу, чтобы старшина завтра вернулся с добычей.

Иловайский еще какое-то время раздумывает над написанным, потом решительно закрывает тетрадку и прячет ее в полевую сумку, достает оттуда тоненькую книжицу стихов Фета и в который уж раз начинает ее перелистывать, скользя невидящим взором по строчкам — стихи он давно знает наизусть.

Читая, майор Иловайский в то же время думает о другом. Вот вспомнилась жена и расставание с ней. Жена жила в Воркуте и работала вольнонаемной, а он там в последние два года лагерей строил шахты. Им перед его отъездом на фронт удалось побыть вместе всего несколько часов... В мысли о жене вплелось воспоминание о бывшем сослуживце генерале Рокоссовском — он вытянул его из Воркутинского лагеря, об их короткой встрече, о тягостном разговоре о войне. Сюда же приплелось воспоминание совсем из другого времени: будто все они из этой землянки шагнули в осень шестнадцатого года, когда Иловайский, в чине прапорщика командуя ротой, тоже хаживал за «языком» — исключительно для того, чтобы проверить себя, и был у него в роте

солдат из донецких шахтеров, человек отчаянной храбрости, рожденной, по-видимому, самой профессией, чем-то напоминающий старшину Титова, но значительно моложе старшины. Титову лет за тридцать, пожалуй, а Синеву — так звали шахтера — едва исполнилось тогда двадцать два. В Гражданскую Синева был комиссаром батальона, которым командовал Иловайский, и погиб под Ростовом, зарубленный казаком...

Вдруг все исчезло как будто в испуге, едва вспомнился лейтенант из «Смерша», по глупости или из куража принявший Иловайского за немецкого парашютиста. Смершевец измывался над ним, как, бывало, в лагере измывались над зэками такие же сопляки с оловянными глазами. Иловайский тогда, в конце августа сорок второго, после неудавшегося наступления под Лугой, вышел из окружения вместе с остатками своего батальона, был взвинчен до крайности — не выдержал, вырвал пистолет и...

И всякий раз, когда в его памяти возникает эта картина, внутри что-то сжимается от обиды и унижения.

Стиснув зубы, так что десны заныли от боли, майор Иловайский некоторое время смотрит на огонь, победно плещущийся в чреве буржуйки над поверженными поленьями. Огонь его успокаивает, отвлекает от тяжелых и ненужных мыслей, от реальности. Вздохнув, Иловайский возвращается к Фету:

О, долго буду я, в молчаньи ночи тайной,
Коварный лепет твой, улыбку, взор случайный,
Перстам послушную волос густую прядь
Из мыслей изгонять и снова призывать;
Дыша порывисто, один, никем не зримый,
Досады и стыда румянами палимый,
Искать хотя одной загадочной черты
В словах, которые произносила ты;
Шептать и поправлять былые выраженья
Речей моих с тобой, исполненных смущенья,
И в опьянении, наперекор уму,
Заветным именем будить ночную тьму.

И вновь чудятся ему давно минувшие, будто и не бывшие времена: из глубины землянки появляется тоненькая девушка в синей матроске и соломенной шляпке, какое-то время стоит в раздумье, склонив на плечо белокурую головку, смотрит на Иловайского, шевеля губами. Похоже, она что-то говорит ему. Но что?..

И тут в тишину ночи врывается гул огромной толпы, запрудившей перрон Брестского вокзала в Москве, прощальные вопли паровозов, звонки вокзального колокола. Он, только неделю назад нацепивший на плечи офицерские погоны, стоит на подножке вагона, держась за поручень, тянется к ней. Вокруг страшный

гвалт, поезд уже тронулся, колеса стучат все громче, все чаще, тоненькая девушка в синей матроске отчаянно машет рукой, рот ее распахнут в крике, как сотни других женских и мужских ртов...

Ах, как важно ему знать, что же такое она тогда ему говорила?

Быть может, знал бы он, — они встретились бы вновь. Но война, революция, снова война навсегда разлучили его с девушкой в синей матроске. Он даже лица ее не может вспомнить теперь.

О, долго буду я, в молчаньи ночи тайной...

Поблизости разорвался немецкий снаряд, с потолка посыпалась сухая земля — на голову, на руки, на страницы раскрытой книги...

* * *

Утром, после завтрака, который принес майор Иловайский с батальонной кухни, посидели вокруг буржуйки, покурили. Старшина Титов поднялся и, не называя фамилий, бросил:

— Вот вы, вы и вы пойдете со мной. Остальные тут... — И сделал неопределенный жест рукой. Потом все-таки досказал: — Дневальный — за старшего.

Поднялись подполковник Какиашвили, старший лейтенант Носов и младший лейтенант Кривулин. Быстро собрались, взяли автоматы, встали у двери, поджидая старшину.

Старшина Титов, невысокого роста, квадратный, с короткой шеей и сухим, без жиринки, бледным лицом, на котором резко выделялись маленькие черные глазки, критически осмотрел временно подчиненных ему людей, подергал за ремни, заставил подтянуть, попрыгать на месте, велел выложить из карманов все лишнее, выдал всем бинокли, каски, по четыре сухаря и по банке свиной тушенки, подождал, пока люди рассуют все это по карманам, и первым вышел из землянки, шурша пятнистой плащ-накидкой.

* * *

Еще нет семи утра. Немцы в это время завтракают, и на передовой стоит тишина. Только где-то далеко-далеко на северо-западе погромыхивает артиллерия. Темнота, наполненная сыростью, плотно окутывает землю, и свет редких в этот час ракет слабо пульсирует, почти ничего не освещая, будто свеча за плотной занавеской.

Со всех сторон раздаются чавкающие звуки шагов, негромкие голоса — это с передовой и на передовую ходят люди. Каждый по

своему делу. Через полчаса немцы начнут минометный обстрел, будут методично бить по квадратам, и всякое движение прекратится.

Старшина Титов идет впереди, идет быстро, легко ориентируясь в предутренней темноте. Его спутники едва успевают за ним, стараясь ступать след в след, как должно ходить разведчику по вражеской территории.

Через несколько минут спрыгнули в ход сообщения, добрались по нему до окопов, пошли по окопу влево. Их то и дело негромко окликают — повышенная бдительность после пропажи красноармейца, — старшина называет пароль, слушает отзыв и идет дальше.

Наконец остановились возле какой-то землянки, спустились вниз, в духоту и тесноту, в полумрак — коптит фитиль в снарядной гильзе. Люди молча потеснились, давая место пришедшим. Кашель, хрипы, густой махорочный дым, плевки на хлюпающий под ногами пол, сосредоточенное молчание. Старшина тут же пропал куда-то, вернулся не скоро, вывел своих наверх.

Серый рассвет прояснил контуры убегающих в обе стороны окопов, повторяющих причудливые изгибы лежащей перед ними узкой речушки с черной водой, берега заросли ивняком, ольшаником и смородиной. Старшина расставил людей по местам, показал, как маскироваться, чтобы не попасть на мушку снайперу, указал секторы наблюдения, подробно каждому разъяснил, на что надо обращать внимание, напутствовал всех одними словами:

— Здесь пойдем. Чтоб знали каждый бугорок, чтоб с закрытыми глазами...

Весь день Титов ходил от одного наблюдателя к другому, подолгу задерживался возле младшего лейтенанта Кривулина, объясняя ему все тонкости предстоящей операции, но не сказал, что брать его за речку в эту ночь не собирается.

Только дважды старшина разрешил своим людям спуститься в знакомую уже землянку, слегка обсушиться, пожевать и попить кипятку. И то по очереди.

* * *

Подполковник Какиашвили ведет наблюдение за немецкими окопами и нейтральной полосой так, как это делают все артиллеристы: замечает ориентиры, определяет расстояния, засекает огневые точки, но не вникает в мелкие детали, словно ему предстоит корректировать огонь орудий своего полка, а не идти за «языком». Скоро ему и это надоедает.

И вообще, вся эта затея с «языком» кажется Какиашвили чем-то вроде розыгрыша, ловушки, чьего-то настойчивого желания избавиться от него, подполковника Какиашвили. К тому же

он считает, что все эти кочки-воронки, которые должен запомнить, — дело старшины, а не его, подполковника.

Да и как тут сосредоточиться, когда в сапоге хлюпает, портянки пропитались грязью —противно пальцами пошевелить. И что за мерзкие порядки — отбирать хорошие сапоги и взамен совать всякую рвань?! До чего все это унижительно...

Возникает воющий звук падающей мины. Какиашвили приседает и вжимается в дно окопа. Мина плюхается в речушку у противоположного берега, вздымая белый столб воды, вода шумно опадает, волны мечутся от берега к берегу, заталкивая в бороды корневищ полудохлых рыбешек.

Подполковник отряхивается. Лучше бы, конечно, небольшой осколок в плечо, тогда... — госпиталь, белые простыни, ласковые руки медсестер, эвакуация...

А какие большие, какие бездонные глаза у этой Ольги Николаевны! Правда, ума там не так уж, но это неважно. Зачем женщине ум? Красивое лицо, стройное тело — вот все, что надо.

С кем-то теперь Ольга Николаевна? Крутит, поди, роман с его начальником штаба, если полк все еще стоит на месте. Совсем недавно стоял: несколько раз подполковник слышал свои орудия — он не спутает их ни с какими другими. И никто из полка не навестил его в штрафбате, хотя это совсем рядом. Других навещают, а его нет. Обидно.

Разве он был плохим командиром? Кого-нибудь обидел? Почему люди так быстро забывают добро?.. А не дай бог, в Батуми узнают, что его разжаловали в рядовые — всю эту мерзкую историю с врачихой. Какой позор на голову отца, на всех родных-близких!

Нет, надо поскорее вырваться из этого дерьма, вернуться туда, где его уважали, где он имел вес и власть и что-то значил в этом мире. И тогда к черту всех женщин! У него всегда с ними одни неприятности.

Но Ольга Николаевна — это, конечно, совершенно особый случай. Он влюблен в нее, как мальчишка. До сих пор помнит запах ее волос, шелковистость кожи, мягкую припухлость губ, пульсирующую на шее жилку, твердость розовых сосков... А потом — треск разрываемой материи, молчаливая борьба, отчаянный вскрик, откуда-то набежавшие люди...

И это все потому, что война. В мирное время он не торопил события, давал женщине созреть, не позволял себе подобных вольностей.

Подполковник поджимает ногу в худом сапоге, прикрывает глаза. Совсем рядом, оборвав полет на высокой ноте, плюхается немецкая мина. Подполковник лишь втягивает голову в плечи и ждет разрыва. Разрыва нет. Он выглядывает через бруствер око-

па, видит торчащий из земли стабилизатор. Мина рядом не разорвалась — это к счастью. Все хорошо будет.

По углу наклона стабилизатора мины Какиашвили определяет примерную траекторию ее полета и вычисляет место нахождения немецкого миномета. Это где-то вон там, за серой стеной ольшаника, в овраге. Туда поползут они сегодня ночью. Ему бы сейчас ротный миномет — он бы тремя выстрелами разделался с немецкими минометчиками.

Возле самого уха вжикнула пуля, клюнула противоположную стенку окопа — снайпер. Какиашвили присел и сместился в сторону. И чего увлекся этими минами? Чуть на тот свет не отправился...

По окопу зачавкали знакомые шаги — и подполковник приложил к глазам бинокль. Смешно сказать, старшину он почему-то побаивается.

* * *

Старший лейтенант Носов, командовавший до штрафбата пулеметной ротой, обморозивший пальцы ног в финских снегах, ведет наблюдение более квалифицированно и добросовестно. Он понимает, что именно сегодня и именно ему придется сопровождать старшину Титова в поиске «языка», а это накладывает определенную ответственность — подводить старшину ему не хочется. Поэтому Носов тщательно отмечает все неровности местности, воронки от снарядов и мин, расстояния между ними, разрывы в проволочных заграждениях и многое другое, что, может быть, не пригодится, но иметь в виду надо обязательно.

Время от времени Носов закрывает глаза и мысленно ползет к немецким окопам, передвигаясь от воронки к воронке. Он не торопит время и не проявляет нетерпения. Его поставили наблюдать — значит, он должен наблюдать и делать выводы. Совсем недавно он сам приказывал делать это другим. Правда, с несколькими иными целями.

В армии всегда кто-то приказывает, а кто-то подчиняется. Старший лейтенант Носов и трибунал, и разжалование, и штрафбат воспринял как приказ и считает, что осудили его вполне справедливо, хотя и были смягчающие обстоятельства: тогда, под пьяным напором немецких танков и пехоты, драпанул весь полк, вернее, то, что от полка осталось, и многие офицеры полка предстали перед трибуналом, но к штрафбату присудили только четверых, а остальных понизили в званиях и должностях. И правильно, потому что кому-то надо было командовать остатками полка, а кому-то принять на себя всю меру ответственности. Выпало ему — что ж тут поделаешь? Лучше бы, конечно, ему тогда погиб-

нуть, но стреляться, как это сделал командир полка, Носов почитал глупым.

Впрочем, комполка могли шлепнуть и свои. Вполне могли. А так... мертвые сраму не имут.

Ну и что, что он в штрафбате? Какая разница, в каком звании и в каком качестве убивать немцев? Никакой. Убивать немцев — это все, что осталось старшему лейтенанту Носову на этом свете после того, как под бомбежкой погибла его семья.

Если бы у его пулеметов тогда, в том злополучном бою, было вдоволь патронов! Ведь немцы перли на окопы, как саранча, и на-косили они их прорву. Носов впервые за всю войну видел столько убитых немцев. До сих пор столько — и даже больше — он видел убитыми только своих. И всегда чего-то не хватало, чтобы убивать немцев: то патронов, то вовремя отданной команды, то пущек, то самолетов.

А в Финскую? Это же вообще не война была, а самоистребление! И почему, как только доходит до дела, так все теории по-боку, и кто во что горазд?..

Нет, когда идет такая война, то не имеет значения, кем воевать. Никакого значения.

* * *

Младшему лейтенанту Кривулину всего девятнадцать. Сам он, правда, говорит: двадцать, и обязательно поправляется при этом: через два месяца. В своем полку он повоюет практически не успел. И даже со взводом своим познакомиться не хватило времени.

Все случилось так стремительно, что Кривулин до сих пор не может опомниться и разобраться в тех событиях, точно был под гипнозом или в дымину пьяный. Он прибыл в полк, представился (это было поздним вечером), а утром батальон послали в разведку боем. Они добежали до проволочных заграждений, и здесь их немцы прижали к земле плотным пулеметным и минометным огнем. Ни назад, ни вперед.

Временами Кривулину казалось, что из всего батальона в живых остался лишь он один, хотя точно знал, что в соседних воронках лежат солдаты его взвода, а слева и справа — солдаты других взводов и рот. Но едва он высовывал голову из воронки, как совсем рядом начинали строчить немецкие автоматы и пулемет и пули впились в землю прямо возле лица, одна даже чиркнула по каске. Немцы даже попытались достать его гранатами, но те рвались, не достигая его убежища.

Судя по всему, он все же оторвался от своего взвода, может, метров на десять—двадцать, потому немцы так охотились за ним, младшим лейтенантом Кривулиным.

Но не это было самое страшное. Ужасно было то, что рядом, в этой же воронке, лежал труп нашего солдата, убитого давно, может, неделю назад. От трупа воняло. Кривулина мутило, и он все думал, как бы ему перебраться в другую воронку. Когда становилось совсем невмоготу, он собирался с духом, напряжинивал тело, но никак не мог решить, в какую сторону ему перекачываться, где же та самая спасительная для него воронка. Ему уже стало казаться, что в каждой воронке лежат разлагающиеся трупы и что теперь ему вечно пребывать в этом ужасном соседстве.

Тут немцы сами начали атаку, но не в лоб, а несколько правее, обходя залегший батальон с фланга. По-видимому, наше начальство не предвидело такого поворота событий и не организовало поддержки своему попавшему в беду батальону.

Люди не выдержали — побежали. И он, младший лейтенант Кривулин, вместе со всеми, боясь только, чтобы не остаться одному и не попасть в плен. И он единственный из всех офицеров батальона невредимым вернулся в свои окопы.

А потом трибунал. И вот он здесь. Только в штрафбате Кривулин понял, что такое война. Он уже несколько раз ходил в атаку, ходил, как и все, не пригибаясь, во весь рост: убьют так убьют, а ранят — конец штрафбату. Но на нем пока ни царапины. И это несмотря на то, что штрафников бросали в такое пекло, откуда, казалось, невозможно вернуться живым, не то что невредимым.

За два штрафбатовских месяца Кривулин многое повидал и уже не был таким зеленым и неопытным, каким считал его старшина Титов. Правда, в разведку он еще не хаживал, а в этом деле, как догадывался Кривулин, одной бесшабашной смелости мало. И он жадно впитывал все, чему учил его старшина Титов. Сам Кривулин, ведя наблюдение, на многое не обратил бы внимание, но старшина терпеливо объяснял ему даже такие вещи, которые известны каждому солдату, не то что офицеру — все-таки его чему-то да учили в училище, хотя и ускоренным курсом.

— Между ракетами надо успеть переползти из одной воронки в другую, — наставлял старшина Кривулина. — В это время фриц после света ничего не видит. Но не все воронки годятся, чтобы в них не заметили, а только те, что имеют высокий валик выброшенной земли. Большие воронки, которые от бомб, тоже не годятся: в них немец мины ставит. Когда пойдем, двигаться будем по гребню оврага: там наверняка мин нет. Немец вырубил там весь кустарник, но оставил заостренные комли. Тоже не дурак, однако. А вон там, где кусты остались, там мин понатыкано дай боже. Да и пристрелян каждый клочок земли...

В свою землянку вернулись в сумерки. Плотно поели, потом каждый доложил старшине, что видел. Титов выслушал молча, коротко объяснил, как пойдут и что каждый будет делать. И велел всем спать до одиннадцати часов.

* * *

Перед выходом старшина выдал подполковнику Какиашвили сапоги — не новые, но целые, и грузин обрадовался им так, словно ему вернули подполковниче звание. Рассматривая сапоги, ощупывая их снаружи и изнутри, он удовлетворенно цокал языком.

— Кончится война, дорогой, — говорил он при этом старшине Титову, широко улыбаясь и посверкивая маслянистыми глазами, которые так нравятся женщинам, — приезжай ко мне в Батум, встретим, как родного. Шашлык, вино, море... Вах! Ты был на Черном море, старшина? Не-е бы-ыл? Вах! Считаю, что ты вообще моря не видел! Разве сравнишь Черное море с Балтийским? Это же... Это же, как вот... как вот эти сапоги и вот эти. Понимаешь?

Старшина лишь усмехается: много чего ему здесь уже наобещали. Да только все это слова. До того времени, когда можно будет куда-то поехать, надо еще дожить.

Потом все получили ножи, по две гранаты-лимонки. У младшего лейтенанта Кривулина особая задача: он должен прийти на помощь, если с группой захвата что-то случится на нейтральной полосе. Задачу эту для него Титов придумал днем, чтобы мальчишка не обиделся и не подумал, что ему не доверяют, полагая все же, что помощь такая не потребует.

Остальные, кроме дневального майора Иловайского, то есть майор Рамешко и капитан Ксеник, будут ждать их вместе с Кривулиным в наших окопах и в случае чего прикроют огнем — будут действовать по обстоятельствам.

Ну вот, кажется, и все. Присели перед дорогой, покурили в последний раз. Да, действительно все. С богом!

* * *

Передовая жила обычной ночной жизнью: то там, то здесь такakai пулеметы, взлетали ракеты, и черные тени бежали по земле, удлинняясь и растворяясь в туманной мути. Когда ракета гасла, хотелось закрыть глаза, потому что, как ни напрягай зрение, все равно ничего не видно, даже спину идущего впереди.

Каких-нибудь полкилометра до передней линии окопов преодолевали не меньше получаса: немцы не должны были заметить

на нашей стороне ничего такого, что могло бы вызвать у них настороженность. Потом еще с час наблюдали, тараща глаза в темноту, сквозь узкую щель огневой точки.

Сыпал дождь, временами довольно сильный. Подполковник Какиашвили представил, что сейчас придется лезть в ледяную воду речушки, потом ползти по грязи, рискуя каждую минуту подорваться на mine или быть изрешеченным пулями, и запоздало пожалел, что согласился быть под началом старшины Титова. Правда, и в атаки ходить — не подарок, но это все-таки как-то проще и понятнее.

А хорошо бы, старшина почему-либо отложил сегодняшний поиск. Вернулись бы в землянку, к теплой печке. Вытянуться на дощатых нарах, укрыться с головой шинелью, вдыхать запах старого сена, вспоминать Ольгу Николаевну — как мало он ценил все это! Как мало он ценил вообще то, что называется жизнью. И как мало думал о своих солдатах — не больше, чем сейчас думают о нем самом. Когда он вернется в полк, он там все изменит. Все! Он придет совсем другим человеком. Может быть, судьба дала ему шанс посмотреть на себя и на других со стороны, увидеть, как все-таки мерзко мы делаем свое дело. И чем выше начальник, тем большим барином смотрит. И это в Рабоче-Крестьянской Красной Армии! И это в рабоче-крестьянском государстве! Вах!

Порыв ветра бросил в щель пригоршню дождевых капель, подполковник вытер лицо, прикрыл глаза. Скорей бы уж...

В Батуми сейчас тепло, вполне можно купаться в море. Странно, он так редко позволял себе это удовольствие, бывая в отпуске, как будто звание и положение мешали ему быть просто человеком, как все. А Ольга Николаевна? Женщина как женщина. Ничего особенного. До войны он встречал и красивее. И не терял головы. К тому же у него жена — прелестная и милая. Чего ему еще надо?

Да что Ольга Николаевна?! А эта война, а немцы, а сами они, стремящиеся уволочь какого-нибудь фельдфебеля? А что потом? Потом — ничего. Потом, через полсотни лет, — даже раньше! — у людей будут другие заботы... И что им будет до его жизни, до его страданий?

Нет, он не боится, он никогда ничего не боялся. То есть почти ничего. Глупо все как-то: учился в училище, служил, потом академия и снова служба — к чему-то стремился, куда-то лез... Зачем? Вот этому старшине и раньше жилось просто, и сейчас в его жизни ничего не изменилось: что штрафбат, что не штрафбат. Или вот этому старлею... А он, подполковник Какиашвили, со своим полком прошел от самой границы, счастливо избежал котлов и окружений, сохранил почти все пушки и личный состав. И на тебе!..

Нет, тут не обошлось без «дружеской» заботы — люди завистливы к чужому успеху.

* * *

Старший лейтенант Носов всегда перед боем думает о том, как погибли его жена и шестилетний сынишка. Это как наваждение. Перед его мысленным взором возникают поезд, подвергшийся бомбежке, искореженные вагоны и где-то среди этого хаоса — они, беспомощные и беззащитные...

В свои двадцать семь лет, перевидевший столько смертей, старший лейтенант Носов с трудом верил, что живую плоть самых дорогих для него людей может так же безжалостно кромсать и рвать, и жечь адским огнем тупая и жестокая сила, как и тех, кого она кромсала и рвала, и жгла на его глазах. И потому, что он слишком хорошо знал, как это происходит с другими, он начинал видеть, как это происходило с ними, с его женой и сыном.

Он видит, слышит, как от самолета отделяется бомба, как она настигает тот самый вагон и как внутри вагона... — и все это как в замедленном кино. Иногда Носов своим настойчивым погружением в детали трагедии доходил до обморочного состояния, после чего возвращался к реальности медленно и трудно и знал, что через какое-то время все это повторится вновь.

Жена и сын — это было единственное, ради чего он жил, поэтому сама жизнь потеряла для него всякий смысл. Он боялся, что проживет слишком долго и забудет их лица, забудет их голоса, запахи... Даже такие священные понятия, как Родина, патриотизм, социализм, партия и Сталин, меркли в сознании старшего лейтенанта Носова перед его личной трагедией. И странное дело, ему не становилось от этого стыдно, как было бы стыдно года два-три назад.

Всякий раз, приходя в себя после душевного самоистязания, старший лейтенант Носов твердил, словно заклинание, одно и то же: «Только бы смерть у них была мгновенной! Только бы не мучились!», будто жена и сын его еще были живы и им только предстояло испить свою смертную чашу.

* * *

А старшина Титов в последние перед выходом минуты не думал ни о чем таком, что не имеет отношения к предстоящему делу. Он весь превратился в зрение и слух, а зрение и слух у него как бы двойные: он слышит и видит то, что он действительно слышит и видит, и в то же время то, что происходит сейчас в не-

мецких окопах и землянках, дотах и блиндажах. Он будто бы идет по их ходам сообщения, заглядывает во все закутки, где немцы едят, курят, укладываются спать.

Мысленно очутившись за спиной пулеметного расчета, он прикидывает, как половчее с ним управиться, нет ли там каких-нибудь сюрпризов вроде рогатин с колючей проволокой, которыми немцы иногда огораживают себя с тылу, или натянутой в ходе сообщения проволоки с подвешенными к ней консервными банками. Старшина сталкивался однажды с этим и едва унес ноги на свою сторону.

Старшина Титов еще в своих окопах, но всеми мыслями и всем своим существом уже там, у немцев, и, быть может, поэтому он никогда не чувствует той грани, которая разделяет два взаимоисключающих мира. И тот мир, заполненный врагами, не чужой для старшины, он просто иной мир, требующий от Титова иного состояния души и тела. Это так просто, что Титов не знает, да и не задумывался никогда о том, как это называется и имеет ли вообще какое-то название.

* * *

Старшина Титов рассчитывал только на себя. И главным образом потому, что еще ни в ком до сих пор не встречал такого азарта в игре со смертью, какой узнал с некоторых пор за собой. Разве что в младшем лейтенанте Кривулине есть что-то похожее, но еще неразвитое, не доведенное до высшей точки. А все остальные только отбывают повинность.

Они не знают, что чувствует человек в тот момент, когда он ящерницей скользнул за бруствер своего окопа и остался один на один с неизвестностью.

Они не знают, как замирает сердце и холодеет в груди, как напрягаются мышцы, готовые послать его хоть к черту на рога, если понадобится. И не для кого-нибудь — для себя самого.

Они не знают, что чувствует человек, когда слышит в двух шагах дыхание врага, шорох его одежды.

Они не знают, как входит нож в шею над ключицей и как обмякает в твоих тисках еще живое тело.

Они не знают того противоборства со слепой случайностью, которая шарит пулями и осколками среди развороченной земли нейтральной полосы, и все только затем, чтобы отыскать тебя — тебя одного.

Они многого не знают! А старшина Титов не собирается делиться ни с кем теми не всегда понятными и ему самому переживаниями — не поймут. Это его, и только его. Этого не отнимут ни штрафбат, ни тюрьма, ни начальство.

Если бы даже его не посылали за «языком», он ходил бы сам, никого не спрашивая. Однако ему вполне достаточно одного-двух таких выходов в месяц. И не потому, что они отнимают слишком много физических и душевных сил, а просто потому, что к каждому выходу надо тщательно готовиться, продумывать каждое свое движение, чтобы не повторяться в деталях, иначе немцам ничего не будет стоить сцапать самого старшину.

Титова никто не учил искусству проникать на территорию противника, искать и захватывать «языка», возвращаться к своим. Все эти три ипостаси поиска не походят одна на другую и требуют разных навыков и приемов. Правда, старшина Титов кое-что почерпнул, проходя срочную службу на границе еще в середине тридцатых, но до всего остального он дошел сам.

* * *

Впереди, перед окопами, захлюпало, послышалось сиплое дыхание, двое перевалили через бруствер, оскальзываясь в темноте на ступеньках, спустились в дот.

— Ну что?

— Порядок, — хрипло ответил один из пришедших. — Четыре мины сняли. Дальше, значит, как договорились: по самой бровке до проволоки. Проход мы сделали. Там уж сами. Да, вот еще что: у того берега — вроде как канава. Так что имейте в виду. — И сапер жадно заплямкал губами, втягивая в себя махорочный дым протянутой кем-то самокрутки.

— Ну, с богом! — Это уже командир роты, на участке которого разведка идет за «языком». — Случ чего — прикроем.

— Пошли. — Старшина Титов первым вышел из дота. В окопе он задержался на секунду, поджидая товарищей, положил руки на бруствер и — словно его сила какая-то подбросила — бесшумно пропал в темноте.

Вслед за ним выбрался подполковник Какиашвили, потом старший лейтенант Носов.

* * *

Возле воды пришлось переждать ракету. Высоко над ними проплыла прерывистая нить пулеметной трассы. С нашей стороны, но значительно правее и левее этого места, ответили короткими очередями.

Старшина вошел в воду. Остальные — за ним. Шли, крепко держась за руки, медленно переставляя ноги, чтобы вода не слишком журчала. Только что этим путем прошли саперы. Прошли туда и обратно. Значит, и они тоже пройдут.

Канавы под противоположным, более высоким берегом оказалась неглубокой: до этого вода держалась чуть выше колен, а потом сразу по пояс. Цепляясь за кусты, выбрались на берег.

Опять ракета. Уткнулись в землю. Перележали, поползли, сохраняя дистанцию, какую определяли воронки от снарядов и мин.

* * *

Метров через тридцать дыхание у подполковника Какиашвили сделалось тяжелым, словно ему приходилось прогонять воздух через плотный фильтр противогаса. Он и не подозревал за своими легкими такой особенности, может быть, потому, что давно не приходилось ползать. Да еще в таких условиях. Временами ему казалось, что немцы не могут не слышать его сипящего и свистящего дыхания, и он испытывал неловкость перед старшиной и Носовым: напросился, выходит, чтобы и себя погубить, и других.

Да еще эта грязь, к которой он никак не может привыкнуть. Она налипала не только на руки, но и на лицо. Поначалу подполковник при каждой возможности брезгливо вытирал о траву руки, а потом руками лицо, но скоро понял всю бесполезность и даже вредность этого занятия.

Продираясь среди острых комлей вырубленного кустарника, Какиашвили весь изранился. Холод, правда, сделал его тело почти нечувствительным к боли, вот только ладони немного саднило.

Подполковнику казалось, что они ползут ужасно долго, что сам он уклонился в сторону — на минное поле, и только странный, ни на что не похожий звук, издаваемый время от времени старшиной, вел его за собой.

Во время щелчка и шипения взлетающей ракеты подполковник успевал вжаться в чашеобразное углубление ближайшей воронки, но воронки все такие мелкие, а тело его такое большое. Скорее бы уж все кончилось!

* * *

У старшины Титова поразительно острый слух. Лежа в полсотне метров от немецких окопов, сквозь шорох дождя и вздох ветра он хорошо слышит, как впереди немец перезаряжает ракетницу. Вот переломил ствол, вот выдернул стреляющую гильзу, и она упала на дно окопа, звякнув там о другие гильзы; вот сунул в ствол новую ракету — щелчок! — готово, можно стрелять. Дальше нетрудно представить все остальное, тем более что видел это не раз собственными глазами, затаившись сзади, в воронке, в ожидании удобного момента для броска.

* * *

Рядовой Карл Шмуцке делает все медленно, спешить ему некуда. В темноте он все равно ни черта не видит, кроме смутного силуэта своего товарища, пулеметчика ефрейтора Ганса Рюккена, и ничего не слышит, кроме шума дождя и ветра. Капли барабанят по каске, вода стекает за воротник шинели. Шмуцке ежится, стягивает одной рукой воротник на шее, выдерживает паузу, поднимает другую руку с ракетницей, закрывает глаза, чтобы не ослепила вспышка выстрела, нажимает курок.

Ракета уходит вверх, вспыхивая там бело-голубым огнем, огонь плывет куда-то в сторону, его свет скользит по стенкам и дну окопа. Шмуцке открывает глаза, шарит взглядом перед собой, но не слишком внимательно: вести наблюдение за сектором дело, скорее, пулеметчика, чем его, ракетчика. Поэтому, едва горящая ракета начинает скользить вниз, Шмуцке вновь опускается на дно окопа и, прикрывая телом ракетницу, чтобы не намокла, производит перезарядку. Свет ему не нужен, он все делает на ощупь.

Прямо перед ним стенка окопа, по ней сверху течет мутная струйка воды, вода уже прорыла неглубокую ложбинку. Иногда, светясь, будто мотыльки, наискось пролетают капли дождя. Ракета гаснет, наступает темнота — как у негра в заднице.

Шелестит дождь. Вздыхает ветер. Скучно. Надоело все это до чертиков. Как и сама война, которой что-то не видать ни конца, ни краю. О эти русские! Будь они прокляты трижды по тридцать три раза! И создал же Всевышний народы, которые ни на что не пригодны, зато здорово мешают жить великой германской нации!

* * *

Второй немец, ефрейтор Ганс Рюккен, торчит у пулемета. Когда над головой горит осветительная ракета, он видит все ту же, до отвращения знакомую картину: изрытая воронками земля, колючая проволока, кусты, речка, безжизненные русские окопы на противоположном низинном берегу. Эти русские — варвары и тупицы: рыть окопы возле берега, значит, сидеть по шею в воде и грязи. Дикари. Но чем хуже русским, тем лучше немцам и ефрейтору Гансу Рюккену.

Свет ракеты неровен, каждый бугорок начинает жить своей особой жизнью, и ефрейтор постреливает то туда, то сюда — для очистки совести.

Ганс Рюккен, конечно, знает, что русские проникают в расположение немецких войск, в основном в первую линию окопов, и утаскивают зазевавшихся солдат или — чаще всего почему-то —

унтер-офицеров, но в их батальоне подобных случаев не было, и Гансу Рюккену не очень-то верится, что подобные случаи вообще бывают. Просто ротный командир, обер-лейтенант Надлер, с помощью таких вот баек пытается внушить своим солдатам чувство бдительности и ответственности при несении дежурств. Особенно ночью. Но он, Ганс Рюккен, и так достаточно бдителен, делает все по инструкции, и если Иваны вздумают сыграть с ним такую шутку, он превратит их в решето. Недаром он считается одним из лучших пулеметчиков не только в роте, но и в полку.

На левом фланге батальона взлетела очередная ракета. Протакал пулемет. Стала различима сплошная сетка дождя. Ничего подозрительного. Через пару минут взлетела ракета поближе. Это в расположении второй роты. Свет ярче, и видно лучше, но тени причудливо разбегаются веером — кажется, что там и сям кто-то копошится.

Рюккен посылает короткую очередь вдоль оврага. Трасса проходит над самой землей, срезая жухлую траву, и гаснет в черноте русских окопов.

Большое искусство — стрелять таким образом. Не многие владеют этим искусством. Когда Иваны в бессмысленной атаке, не добрав даже до колючей проволоки, падают на землю, стараясь размазаться по ней, как коровье говно, он все равно двумя-тремя пулями превращает их в покойников. Так что пусть только сунутся.

Вот, в свою очередь, выпускает ракету Карл Шмудке. Хотя выстрела ждешь, он всегда неожидан. Своя ракета отбрасывает тени вперед. Тени отчетливо черны, какое-то время они неподвижны, затем начинают удлиняться — сперва медленно, затем все быстрее и быстрее. Ничего подозрительного, но дежурная очередь необходима. И Ганс Рюккен посылает ее в уже пристрелянную цель — амбразуру русского дота.

Дот не отвечает уже с полчаса, зато слева и справа от него сразу два пулемета пытаются дотянуться до Ганса Рюккена длинными светящимися нитями. Пули звучно шлепаются в землю спереди и сзади, взвизгивают над головой. Ганс даже не пригибается — настолько уверен в бездарности русских пулеметчиков.

По русским пулеметам ударили с флангов и заткнули им глотку. Хорошая работа. Ганс поворачивается к Карлу и просит прикурить для него сигарету. Можно немного расслабиться.

* * *

Если для подполковника Какиашвили немцы — это что-то многоглазое и многорукое, которое следит за ним, подполковником Какиашвили, ну прямо-таки со всех сторон, и он это чувству-

ет каждой клеточкой своего тела, то для старшины Титова немец вполне конкретен и никакими сверхъестественными качествами не обладает: он так же боится, мерзнет и мокнет, ему так же хочется спать и есть, и он так же хочет жить.

Старшина знает, что впереди немцев всего двое и это как раз те немцы, которые могут их засечь и расстрелять. Но это случится лишь в том случае, если кто-то — подполковник, старлей или сам старшина — оплошает и позволит немцам это сделать. А другие немцы опасности практически не представляют, потому что у каждого свой сектор наблюдения и обстрела и каждый отвечает за свое. Поэтому сразу же за колючей проволокой надо будет смениться несколько правее, чтобы оказаться на стыке двух секторов и как бы выпасть из поля зрения и тех и этих.

Однако прежде чем это сделать, нужно поменять местами подполковника и старшего лейтенанта: подполковник останется у проволоки, а они с Носовым пойдут дальше.

Титов переждал очередную ракету и, едва она погасла, перекатился назад, к подполковнику. Накрыв его и себя плащ-накидкой, прошептал в ухо:

— Останешься здесь.

Подполковник энергично тряхнул головой. Даже, пожалуй, слишком энергично: старшина может подумать, что он обрадовался. Впрочем, пусть думает. Главное, дальше ползти не надо.

Подполковник Какиашвили, пропуская мимо себя старшего лейтенанта Носова, слегка похлопал его по спине. Тот не ответил, быстро заелозил сапогами и пропал вслед за старшиной.

Воронка, в которой оказался Какиашвили, от семидесятишестимиллиметрового снаряда. Советского. Она глубокая и просторная. Жаль только, что на дне скопилось слишком много воды, а так — совсем неплохо. Подполковник вытер руки о ватник на спине, где грязи вроде бы поменьше, потом полой накидки автомат, проверил, все ли у него на месте. Вспоминая подробную инструкцию старшины, осмотрелся, пока горела дальняя ракета, наметил ориентиры и определил расстояния до них, после чего уместился поплотнее и поудобнее и приготовился к долгому ожиданию. Ничего, можно и потерпеть. Зато потом он свободен.

* * *

Старшина Титов затаился в десяти метрах от немецкого окопа. Ему слышно, как фрицы слева негромко переговариваются. До конца их дежурства еще около часа, и они добросовестно борются со сном. Вот один присел на дно окопа, чиркнул зажигалкой, закурил. Ветер доносит запах бензина, вонь плохого табака. Немец жадно сосет сигарету, плямкает губами — совсем как наш сапер полчаса назад.

Левее, метрах в трехстах, от того места, где затаился старшина Титов, взлетает ракета, долго шипит, пронзая плотный мрак, загорается, но горит неровно, лениво потрескивая, гаснет. Едва наступает темнота, старшина поднимается и в несколько прыжков, сильно косолапя, чтобы не чавкала под сапогами грязь, достигает окопа, перепрыгивает через него и снова ложится в воронку, раскинув по сторонам плащ-накидку, так что, даже зная, что здесь лежит человек, не сразу его разглядишь. Немец же назад не оглядывается. Да эти двое у пулемета старшину пока мало интересуют. Титов почему-то уверен, что случай предоставит ему кого-нибудь посущественнее, чем просто солдаты.

Старшина Титов лежит на дне воронки, не замечая ни воды, скопившейся на дне, ни грязи, ни дождя. Он медленно поводит головой из стороны в сторону, принимает и прислушивается. Его чуткий нос давно уловил запахи подземного жилья, и старшине остается лишь поточнее определить направление. Но ветер, как назло, мечется из стороны в сторону, и запахи то возникают, то пропадают. Это значит, что немецкая землянка от него метрах в ста—ста пятидесяти. Да они ближе и не бывают.

Ракету выпускают из ближайшей пулеметной ячейки, из той, что слева, над оврагом. Пока ракета горит, старшина не шевелится, он даже дышит едва-едва. Перед его глазами глинистый скат воронки, желтые комья, пучок жухлой травы, брошенной соседним взрывом. Поникшие стебельки и длинные листочки вздрагивают от падающих на них дождевых капель. От травы, названия которой старшина не знает, пахнет сеном, от глины — формовочной землей и могилой. Но вот тень от травинки побежала по скату воронки, стала таять и пропала в кромешной темноте. Темнота эта будет длиться минуту-другую. Не больше.

Старшина делает губы трубочкой и втягивает в себя воздух — над землей еле слышно проплывает мышиный писк.

Мышей в окопах всегда хватает. И не только в наших, но и в немецких. Да и крыс тоже. Если оборона долгая, обжитая человеком земля полнится отходами его существования, на которых плодится всякая тварь.

Тут Титов как-то даже хоряка приметил. Надо же, война, а они живут, приспособились.

Старшина подождал немного, пискнул еще раз. В темноте зачавкало, но не так чтобы очень, и старший лейтенант приткнулся рядом.

Щелчок, ракета — теперь справа, пулеметная очередь, тишина, темнота, ветер, дождь... Становится холоднее.

Титов приподнялся, прикосновением руки поманил Носова за собой. В несколько бросков переместились ко второй линии окопов. Потом еще короткий бросок, и уже даже Носов догадался,

что они рядом с землянкой: из вентиляционной дыры идет тяжелый дух, но чем-то все-таки отличающийся от духа наших землянок. В эту дыру пару гранат бы сунуть — милое дело.

Старшина осторожно подобрался к самой отдушине, приложил ухо и услышал разнокалиберный храп спящих людей. Немного погодя раздались еще какие-то неясные звуки: похоже, кто-то передвигается там, под землей. Скорее всего, дневальный. А может, унтер-офицер собирается проверять дежурных. Да, так оно и есть: слышались голоса, негромкие, бубнящие, топание сапог.

Для смены рановато. Неужто они теперь и проверять ходят скопом?

Вот скрипнула дверь, слабый свет вырвался в ход сообщения. Зацокали кованые каблуки по деревянным ступеням. У одного из немцев подковка слегка болтается — непорядок. Бряцает оружие.

Немцы, видно, не проснулись окончательно — шаги неуверенные, спотыкающиеся. У выхода из землянки остановились, под навесом закурили. Старшине, хотя он и некурящий, тоже захотелось затянуться — даже не закурить, а чего-то такого, что можно сейчас всем, а ему нельзя, и он проглотил слюну. Немцев всего двое — значит, не смена, значит, действительно проверяющие. Или еще кто. Подождем, посмотрим...

Немцы курят молча, вздыхают, зевают, кашляют, сморкаются, плюются. Все как у нас. Даже удивительно. И хотя старшина слышит эти звуки не впервой, ему всегда кажется странным, что у немцев все так же, как у русских. Однако эта похожесть вызывает у него холодную ненависть — и больше ничего.

Старшина Титов никогда не думает о немцах, что они тоже люди, хотя понимает: так оно и есть. Но внутри у него что-то упорно сопротивляется такому пониманию. Будто немцы выказывают перед старшиной человеческие качества, которых на самом деле у них нет, чтобы размягчить его душу. Напрасно стараются.

Немцы покурили и пошли по ходу сообщения к передней линии окопов. Один в каске, другой в кепи. Вот этого, который в кепи, и надо будет прихватить с собой, когда фрицы пойдут назад. Наверняка это унтер-офицер. Хотя он и знает не больше рядового, но все же не рядовой. В глазах начальства, которое стоит над старшиной Титовым, это имеет несомненное преимущество. Тогда и старшина в тех же глазах получает некоторое преимущество.

Старшина откатывается от отдушины к старшему лейтенанту. Они перемещаются по ходу сообщения в ту же сторону, куда ушли немцы: если брать, то поближе к своим окопам. Но и не слишком близко, чтобы случайный шум не насторожил ни пулеметный расчет, ни дневальных в землянках.

* * *

Обычно при пересменке и во время проверок в пуске осветительных ракет и пулеметных очередей наступает пауза: одни закончили дежурство, другие еще не вошли в ритм. Да и присутствие рядом еще одного-двух человек придает большую уверенность, нарушает однообразное течение времени. По этим же причинам и бдительность ослабевает весьма значительно.

Все это старшина Титов знает слишком хорошо, все это проверено им не раз. Но это вовсе не означает, что он должен расслабиться, отпустить вожжи. Нет, тут как раз смотри в оба, тут-то всякие неожиданности и подстерегают, потому что именно в это время для тебя наступает самый ответственный и решительный момент.

Титов и Носов продвинулись вперед еще метров на десять и ждут. При этом старшина все вертит головой по сторонам, прислушивается, принюхивается. Давно пора им разделиться, но старшина не отдает команды, чего-то выжидает.

Вот по ходу сообщения зачавкало. Немцы возвращаются в землянку шагах в пяти друг за другом, светят под ноги фонариками.

Старший лейтенант нетерпеливо тронул старшину рукой, но старшина медлит, лежит будто мертвый. Чем-то не нравятся ему эти фрицы, что-то удерживает его от решительных действий — руки марасть не хочется, что ли?

Немцы между тем поравнялись с ними, прошли мимо, дошлепали до своей землянки, потоптались около, стряхивая грязь с сапог, спустились вниз. Скрипнула и хлопнула дверь — все! И только дождь шебуршит по каске и накидке, только ветер бродит неприкаянно, шаря мокрыми лапами по мокрой земле.

Опять взлетели ракеты, татакнули там и сям пулеметы. И старшина решительно поворачивает, ползет куда-то в сторону.

Метров через тридцать замирает, прислушивается.

* * *

Старший лейтенант Носов совершенно не понимает этих метаний старшины. Еще днем все было оговорено, а точно такой вот случай, какой представлялся им минуту назад и который они уже упустили, сам же старшина рисовал как наиболее вероятный и почти единственный. Они его во всех мыслимых и немыслимых деталях обговорили, и кто как будет действовать — тоже. Так что же?

Но... Что это? Где-то впереди вдруг вырвалась на свободу тихая патефонная музыка — и заглохла. Еще через какое-то время послышались шаги: кто-то шел по ходу сообщения. Не по тому, где прошли проверяющие, — по другому. У немцев этих ходов накопано черт-те сколько!

Старший лейтенант вытянул шею, снова готовый слепо следовать за этим удивительным старшиной.

Да, кто-то шел по ходу сообщения. Шел неуверенно: несколько шагов — остановка, еще несколько шагов — опять остановка. Немец словно что-то искал в кромешной темноте.

Старшина трижды нажал пальцами на плечо старшего лейтенанта: внимание! Он давно уловил звуки музыки, а теперь вот запах хорошего табака. Значит, где-то рядом офицерская землянка, и то, что там не спят в такую поздноту, говорит о пирушке или о чем-то выходящем из рамок обыденной жизни. А где пьянка, там глупость, там надо ждать везения. Теперь только не упустить свой шанс, не спугнуть удачу.

Они быстро перекатываются в следующую воронку. До хода сообщения всего несколько метров. Немец совсем рядом. Это не солдат, это явно офицер. Слышно, как он споткнулся и что-то пробормотал по-своему, вроде как выругался. Потом зажурчало.

Старшина пополз на звук, отметил про себя, что старший лейтенант ползет за ним как привязанный. Это хорошо. Давно у него не было такого понятливого и надежного напарника.

Добравшись до хода сообщения, старшина уперся руками в противоположные края и тихо опустился на дно. Немец стоял в нескольких шагах от него и мочился. Видно, долго терпел: не хотелось выходить под дождь, а теперь потихоньку облегчался, кряхтя от усердия. В зубах у него шевелилась горящая сигарета, и когда немец затягивался дымом, разгорающийся огонек освещал его лицо — лицо как лицо, ничего особенного.

* * *

У старшины к ватнику на спине, за левым плечом, пришиты две петельки, а в них вставлен немецкий кинжал в ножнах. На лезвии кинжала надпись: «Аллес фюр Дойчланд» — «Все для Германии», значит. Старшина пластмассу коричневую на ручке спилил и заменил ее свинцом, а поверх натянул кожу с немецкой краги. Получилось, может, не шибко красиво, зато, когда берешь в руку, чувствуешь солидную тяжесть.

Некоторые, правда, употребляют для этого дела лимонку, и сам старшина раза два пользовался ею, но потом придумал кинжал. Так удобнее. Да и то, что он всегда под рукой, имеет свои преимущества.

Старшина медленно вытянул кинжал из ножен и не спеша, совершенно беззвучно, словно не касаясь ногами земли, подошел к немцу. Тот как раз закончил процедуру и, слегка согнувшись, покачиваясь и что-то бормоча — был, видно, крепко навеселе, — шарил у себя в штанах.

Старшина поднял руку, немного даже удивляясь тому, что ничего не говорит немцу — какое-нибудь шестое или седьмое чувство — о приближающейся опасности, и рукояткой кинжала не очень сильно ударил немца по голове. Тот, как будто удивляясь, охнул и сполз на дно хода сообщения. Старшина выдернул из-за пояса специальный кляп (маленькую такую подушечку с веревочками — собственное изобретение, побывавшее во рту уже не одного фрица), отработанным движением, надавив куда надо, разжал немцу рот и воткнул в него подушечку, после чего накрепко завязал на затылке веревочки. Пискнув мышью, он подозвал к себе старшего лейтенанта, и они вдвоем натянули на немца накинутую на плечи шинель, застегнули все крючки и пуговицы, связали руки и ноги, поволокли его по ходу сообщения к первой линии окопов, туда, где находился дежурный пулемет.

* * *

Подполковник Какиашвили лежал на дне воронки, свернувшись калачиком и засунув руки в рукава ватника. От холода его била крупная дрожь, а когда он забывался, из груди вырывался прерывистый полустон-полухрип. Это отрезвляло его на какое-то время, подполковник замирал, сдерживая дыхание и прислушиваясь. Но во всем мире он был один, да еще разве монотонный шум дождя. Даже ракеты и пулеметные очереди представлялись ему порождением стихии, равнодушной к его страданиям.

Подполковнику казалось, что старшина уже никогда не вернется, что, скорее всего, их там схватили, сейчас они расскажут, что возле проволоки лежит еще один человек, и тогда придут немцы...

Впрочем, нет. Это слишком. Надо взять себя в руки. В конце концов перетерпеть всего одну ночь. Даже меньше. И он свободен. Он вернется в свой полк, велит истопить баню, будет париться час, два... Только выпьет горячего чаю — и снова на полок. А можно чай пить прямо на полке. Не надо спускаться, подниматься — лежи и пей. Тем более что он промерз насквозь, а в груди — так просто кусок льда.

А хорошо бы сейчас очутиться в Батуми. Отец давно закончил давить вино. Молодое вино из «изабеллы» густо-красного цвета, от него по телу разливается блаженное тепло...

Взлетела ракета и повисла над самой головой подполковника. Он зажмурился и сильнее прижался щекой к холодной и липкой земле.

В Грузии, конечно, тоже сейчас дожди, но совсем другие, не такие, как в России. Под южный дождь хочется подставить ладони и даже голову.

Жена... Какиашвили не может представить себе, что в эту минуту делает его жена. В последних письмах она писала, что в Батуми много госпиталей и она часто по ночам дежурит в госпитале как сиделка. И все женщины из их школы тоже дежурят.

Удивительно: его жена — и раненые, которых надо... Нет, представить это он не способен. Другое дело — Ольга Николаевна. Возможно, в эти самые минуты она дежурит в госпитале, кого-то перевязывает или даже ассистирует при операции.

Почему-то Ольга Николаевна для подполковника более реальна, чем жена. Может, потому, что он давно уже не представляет себе другой жизни, кроме фронтовой, давно, с мая сорок первого, не видел жену.

Да, Ольга Николаевна... Подполковник Какиашвили видит, как сидит она за столиком, перед ней керосиновая лампа, на ней белый халат, перетянутый пояском, белая шапочка, из-под которой выбилась светлая прядь пушистых волос, большие голубые глаза смотрят на подполковника с любопытством и ожиданием.

Интересно, что думает она о нем после всей этой истории? А может, и не думает ничего, может, для нее это не первая и не последняя история.

Говорили, что в соседней дивизии два офицера стрелялись из-за какой-то медички, и один был тяжело ранен. Но им это сошло с рук.

Вспомнился капитан Камарин из штаба дивизии, певун и гитарист, его бесцветные наглые глаза. Он тоже увивался вокруг Ольги Николаевны. Не исключено, что в штрафбат подполковник Какиашвили загремел по милости этого капитана: у того большие связи.

Впрочем, если быть честным хотя бы перед самим собой, все дело в том, что он, подполковник Какиашвили, уже давно считал себя неуязвимым только потому, что он, как и Сталин, грузин, и его, подполковника Какиашвили, тронуть не посмеют ни в каком случае. Он часто этим пользовался.

Ну и вдобавок, это долгое сидение в обороне изматывает людей хуже, чем бои. Уж лучше бы его послали в Сталинград: там он сумел бы себя показать с самой лучшей стороны.

Вообще, после войны жить надо как-то не так. После всей этой грязи, нелепых смертей, нелепых поступков и нелепых отношений надо все устроить по-другому. Должен же человек получить вознаграждение за свои страдания, за тот ужас, что пришлось ему пережить. За тот ужас, который...

Белое пятно... Белые лица с белыми глазами... О, Господи!

Он, кажется, опять забылся, и хриплый стон, исторгнутый из груди, ослабленной непрекращающимся ознобом, был слишком громким. И на тебе: взлетела ракета, за ней сразу же вторая, тре-

тя... Застучал пулемет. Пули с истерическим визгом распарывали воздух над самой головой. В этом визге подполковнику Какиашвили чудилось что-то злорадно-торжествующее: вви-жжжу! вви-жжжу!

Пулемет выпустил еще пару очередей и захлебнулся.

Можно было бы выставить руку — тогда госпиталь. А он уж выбрался бы как-нибудь отсюда, даже раненным.

* * *

До дежурных пулеметчиков оставалось метров двадцать. Титов и Носов притаились сразу же у поворота из хода сообщения в окоп. Старшина тронул старшего лейтенанта за плечо, слегка придавливая к земле: подожди здесь, я сейчас. Но Носов перехватил руку старшины и ответил ему тем же движением: эти немцы были его немцами.

Взлетела ракета, они глянули друг другу в глаза, и старшина Титов увидел в серых глазах старшего лейтенанта ту холодную решимость, противиться которой не имело смысла. Он кивнул и тронул себя за шею. Носов ответил кивком же и, как только наступила темнота, шагнул за поворот.

Он шел так, как учил его старшина — по-медвежьи косолапя. Правда, в немецких окопах значительно суше, чем в наших, и не только потому, что немцы всегда устраивают оборону на возвышенных местах, сообразуясь с условиями местности, а еще и потому, что вода в их окопах не скапливается, стекает в отводные каналы. Так что при ходьбе по немецким окопам не так чавкает под ногами. Когда он вернется в свою роту, то непременно заставит солдат сделать то же самое. А то у нас даже в землянках грязь непролазная, не говоря уж об окопах. Только не всегда солдаты в этом виноваты, чаще начальство, которое выбирает, где эти окопы рыть. Русский солдат все стерпит, а начальству в окопах не сидеть, зато каких-нибудь сто метров болота — наши, а не под немцем. Глупо. Тем более глупо, что под немцем-то сотни и сотни километров русской земли. Это ведь не граница, где два государства не могут поделить какой-нибудь ручей или овраг, это поле боя.

Старший лейтенант Носов замер перед последним броском. Немцы копошились буквально в нескольких шагах от него. Он распластался по стенке окопа, сжимая в одной руке нож, в другой лимонку, выжидая подходящий момент.

И тут до слуха старшего лейтенанта долетел прерывистый стон. Стон шел откуда-то с нейтральной полосы. Кто может там стонать? Подполковник-грузин? Неужели его ранило?

Раздался хлопок — ракета с шипением пошла вверх. Застучал пулемет. За первой ракетой пошла вторая, за ней еще. Пулемет

бил короткими очередями, явно не вслепую, а по какой-то цели. Того и гляди, всполошатся немцы в землянках. Да и пропавшего с пирушки фрица вот-вот должны хватиться. И все-таки подполковник отвлек внимание пулеметчиков.

Носов оттолкнулся от стенки окопа, сделал два шага и в коротком аппендиксе, метра на полтора выступающем вперед, увидел немцев. Один припал к пулемету и посылал куда-то короткие очереди. Другой перезаряжал ракетницу.

* * *

В тот миг, когда старший лейтенант занес руку для удара, Карл Шмуцке оглянулся, оглянулся совершенно без видимой причины, и увидел нависшего над ним человека. Глаза у Карла широко распахнулись от ужаса, но он-таки успел инстинктивно выбросить вперед руку с зажатой ракетницей, ствол которой еще не был поставлен в боевое положение. Ему бы крикнуть, предупредить Ганса Рюккена, сделать хоть что-то, но русский появился так неожиданно, так жуток был его по-волчьему горящий взгляд, что вытянутая рука — это все, на что оказался способен Карл Шмуцке, пытаясь защитить свою жизнь.

Старший лейтенант Носов ударил немца по руке лимонкой и всадил ему нож в шею. Вернее, в поднятый воротник. Нож был острый как бритва, Носов сам подправлял его на кирпиче в доте в ожидании команды на выход, поэтому воротник не стал для него препятствием.

Рывок вниз и на себя. Немец захрапел и повалился на бок. И в тот же миг старший лейтенант полетел головой вперед. Он даже не почувствовал удара, не понял, кто нанес ему удар, сбил с ног.

* * *

Ганс Рюккен готов побиться об заклад, что там, в воронке, сразу же за колючей проволокой, шагах в тридцати влево по фронту от пулеметного гнезда и шагах в пятидесяти от оврага, кто-то шевелился. Сперва, правда, оттуда донесся стон, но стон мог и почудиться, потому что ветер иногда выделяет такие штучки, что начинает казаться, будто из самой преисподней вырываются вдруг голоса поджариваемых грешников, так что мороз пробирает до самых костей. Но когда второй номер Шмуцке пустил ракету, Рюккен своими глазами увидел, как в воронке кто-то зашевелился. И он стал стрелять в эту воронку.

Жаль, далековато, а то можно было бы кинуть туда гранату. Но Рюккен старался стрелять так, чтобы пули ударились в землю

перед самой воронкой: земля сейчас рыхлая, пуля вполне может пробить ее и достать того, кто в этой воронке прячется. Скорее всего, это кто-то из Иванов, которые воруют по ночам немецких солдат. А он, Рюккен, видать, случайно подранил одного, когда Иваны ползли к окопам. Значит, там должно быть несколько человек. Уж он-то их живыми оттуда не выпустит. И тогда ему дадут отпуск. Вот если бы пулемет поднять немного повыше...

Какого черта Шмуцке мешкает с очередной ракетой! Ему же надо видеть, куда стрелять.

Рюккен оглянулся, решив взбодрить своего напарника парой крепких словечек, и при свете догорающей ракеты увидел падающего Шмуцке и страшное, искаженное злобой лицо русского, уже готового броситься на него, Ганса Рюккена.

Нисколько не раздумывая, Рюккен перехватил свой тяжелый пулемет за ствол и вскинул его над головой, как дубинку, которой когда-то Самсон поразил какого-то там великана. Рюккен даже не испугался. Впрочем, он всегда отличался решительностью и готовностью к действию прежде, чем мозг его успевал осмыслить происходящее.

Пулемет еще только описывал дугу в руках Рюккена, а русский с ужасным лицом вдруг куда-то пропал. Рюккен постарался удержать падение пулемета, но тут вслед за яркой вспышкой острая боль пронзила его сердце, он уронил пулемет на себя и упал, так и не успев ни о чем подумать.

Зашарил лучик фонарика.

— Ты как, старшой? — услышал Носов голос старшины и вскочил на ноги.

— Нормально.

— Бери пулемет, прикроешь.

— Понял.

* * *

Частая трескотня пулемета, необычный шум, пистолетный выстрел подняли в воздух осветительные ракеты слева и справа. Вот-вот закопошатся немцы и здесь.

Наступая на лежащих фрицев, старший лейтенант Носов добрался до пулемета, выдернул ленту из-под убитого, проверил ее. Он увидел, как чуть левее через бруствер окопа перевалилось тело взятого ими «языка», а за ним — старшина.

В воздухе непрерывно висели ракеты. Через пару минут по ходам сообщения задвигались немецкие каски, зазвучали отрывистые команды. Старший лейтенант зубами вырвал чеку гранаты, швырнул ее в ближайший ход сообщения. Взрыв гранаты послужит сигналом для наших минометчиков. Теперь не попасть бы под свои мины.

Нейтральная полоса лежала перед старшим лейтенантом Носовым как на ладони. Там, куда сейчас полз старшина, волоча за собой пленного, там, где притаился подполковник-грузин, скрещивались трассы немецких фланговых пулеметов.

Носов выпустил длинную очередь по левому, затем по правому пулемету. Над его головой завывло, и шагах в двадцати разорвалась мина — наши начали отсекающий огонь.

Старший лейтенант бросил еще одну гранату в ход сообщения, подхватил пулемет и, перекатившись через бруствер, вскочил на ноги. Пригибаясь, он побежал к колючей проволоке, но значительно правее того места, где находился проход и куда полз сейчас старшина.

Носов упал в воронку, выставил пулемет в сторону немецких окопов, за которыми уже рвались наши мины. Еще раз оглянувшись, еще раз увидел старшину, подивился, как быстро тот ползет, словно тащит за собой не человека, а мешок с соломой. И больше уже не оглядывался.

От взлетающих то там, то здесь ракет было светло, и тени от всяких неровностей метались из стороны в сторону.

Из наших окопов огонь вели два «максима» и один «дегтярь». Немецкие и наши трассы схлестывались и расходились, исчезали во мраке.

Над бруствером немецких окопов показались каски. Старший лейтенант Носов прижал приклад пулемета к плечу, привычно совместил прицельную планку с мушкой, нажал на спусковой крючок.

Он успел выпустить всего несколько коротких очередей. Брошенные из окопов гранаты превратили его тело в бесформенную кучу окровавленного тряпья...

* * *

Старшина Титов втащил немца в воронку, подобрал ему ноги. Воронка вполне вместительна для двоих, и пули идут поверху. Но если найдется фриц, хорошо бросающий гранаты, если к тому же их успели засесть, то им тут каюк.

Думая о себе, старшина уже не отделял от себя немца, который лежал рядом. Более того, без этого немца он многое терял не только и не столько в глазах начальства, сколько в глазах собственных в первую очередь. Немец был частью его самого, вернуться к своим без него представлялось совершенно невозможным, и на всем свете в эти минуты не было для старшины никого ближе и дороже этого немца.

Титов лежал, прижавшись к своему пленнику, и по стрельбе, все сильнее разгорающейся с обеих сторон, пытался определить,

что делать дальше. Конечно, немцы уже разобрались, что у них произошло, и теперь постараются, чтобы старшина не добрался до своих окопов. Много, если не все, будет зависеть от точности огня с нашей стороны, но немцы довольно быстро достигнут такой же, но уже по нашим минометам. И тогда старшина останется один на один с теми немцами, которые сейчас заполнили первую линию своих окопов. И все будет зависеть от рассудительности их ротного или батальонного офицера.

Помощь же пока старшина может получить лишь от подполковника-грузина, потому что старший лейтенант Носов, судя по всему, отвоевался. Но дело свое сделал: отвлек немцев на себя и дал старшине возможность миновать первые два ряда проволоки.

Однако подполковник-грузин внушал старшине опасения: стон, прицельная стрельба дежурного расчета — что-то здесь не так. Не пришлось бы ему вытаскивать на себе и грузина...

Еще бы метров двадцать и стало бы полегче, но сейчас и думать нечего высовываться из воронки: их засекут при первом же шевелении. Опять же, если этот фриц — важная птица, то бить из минометов немцы не станут, разве что будут прижимать к земле пулеметами и автоматами. Ну и, конечно, надо опасаться их вылазки. Но для этого немцы хотя бы ориентировочно должны знать, где находится старшина со своим пленником.

Короче говоря, пока у него есть время. Не много, правда, но есть. Вот только бы фриц не дал дуба на такой холодрыге: одет легко, не рассчитывал на путешествие.

* * *

Старшина посмотрел на голову пленника, покрытую редкими светлыми волосами, на морщинистый затылок. Немцу, пожалуй, лет пятьдесят. Что у него на погонах? Майор. Значит, не меньше командира батальона. Сидел со своими камрадами, пил шнапс, трепался о своих немецких фрау, пошел до ветру — и на тебе. И теперь рискует получить свою, немецкую, пулю. Чего уж хорошего.

Немец дернулся и стал вытягивать ноги. Старшина рванул его за плечо, дохнул в ухо яростным шепотом:

— Нихт цурюк! Нихт шевелиться! Капут! Ферштее? Пся кровь немецкая!

Немец замер, прислушиваясь и соображая. Ничего, это ему полезно. Потом замычал, пытаясь повернуть к старшине голову.

Титов слегка посунулся в воронке и, положив автомат за спину, рывком повернул немца к себе лицом. Резкие, грубые движения, короткие, отрывистые слова должны внушить «языку» понимание безвыходности положения, бесполезности всякого сопротивления, покорность. Так, на всякий случай...

При неверном, меняющемся свете догорающей ракеты старшина Титов увидел глаза своего «языка».

Немец плакал. В этом не было ни малейшего сомнения. Слезы эти не походили на те слезы, которые застилают глаза от ветра или от холода. Это были слезы отчаяния, горя, тоски. Такими же слезами, быть может, плакал бы и сам старшина, окажись он на месте немца. Впрочем, нет, не плакал бы. Не смог бы, да еще перед врагом. Так ведь и немец заплакал, лежа к нему спиной.

И все равно: что угодно ожидал увидеть старшина Титов, но только не слезы. Попадались «языки», которые кусались, пытались вырваться, вытолкнуть изо рта кляп, чтобы закричать; был один, который уже в нашем расположении, когда ему развязали руки, кинулся на старшину с кулаками; а другой вдруг начал прыгать и хохотать, плевать и закатывать глаза, то ли разыгравая сумасшедшего, то ли на самом деле спятив от страха.

По-всякому вели себя «языки», точнее, фрицы, которые неожиданно-негаданно при помощи старшины Титова становились «языками». Но не попадались ему такие, чтобы плакали. Видать, для этого немца попасть в плен — дело совершенно невозможное.

И старшина Титов, сделав зверское лицо, поднес к немецкому носу свой небольшой, но словно отлитый из серого чугуна кулак.

— Во! Понял? Ферштее? Враз мозги вправлю, сука немецкая! — прорычал он.

Немец испуганно заморгал глазами, отряхивая с ресниц крупные мутноватые слезы.

Впрочем, все еще шел дождь. И довольно сильный. Догорела последняя ракета, а новых ни наши, ни немцы не пускали, продолжая вести огонь по вспышкам выстрелов противной стороны.

Ну, что наши ракеты не пускают, так тут все ясно: у нас их почти что и нет. Считается, что они вообще ни к чему, потому что русский солдат и без ракет все должен видеть, тем более что и немецких достаточно. А вот что немцы перестали светить — подозрительно. Не иначе как что-то задумали, фашисты проклятые. Ждать, когда их задумки прояснятся, не имело смысла. И старшина, подхватив немца под руку, выбрался с ним из воронки и пополз к следующему лазу в колючей проволоке.

Еще десяток метров — остановка в воронке. И еще рыбок, и снова остановка. Тяжелый фриц-то, чтоб ему! Да и земля мокрая, раскисшая, ноги осклизаются, не находя во что упереться.

И тут что-то подсказало старшине, что его пленник — не совсем обычный немец, и вести себя он тоже будет необычно — станет делать все, что ему прикажут. Титов быстренько обшарил немца, но не нашел при нем никакого оружия — надо же, дурак какой! — после чего перерезал веревки на ногах и руках и выдернул кляп.

Физически пленник значительно слабее старшины, но не это главное: надо побыстрее выбираться к своим, а то, не ровен час, настигнут фрицы у колючей проволоки — один-то не очень навоюешься. Грузина же, видать, убило или ранило: всего разок высунулся он из воронки, еще когда старшина только выбирался из немецкого окопа, и с тех пор не подает признаков жизни. А если его не убило, а ранило, тем более: двоих не утащишь, так что немцу придется двигаться самому. Другого выхода нет.

* * *

Немец понял свое освобождение от пут как желание русского отпустить его восвояси. Он что-то залопотал по-своему, показывая пальцем в сторону своих окопов, и даже одобрительно похлопал старшину по руке. Старшина только и разобрал, что немец хочет «цурюк». Тогда он снова поднес к его носу кулак:

— Вот тебе цурюк! Ферштее?

— Я! Я! Ферштее, ферштее! — поспешно согласился немец.

— Ну то-то же. — И старшина для большей убедительности вынул из ножен за плечом кинжал и покачал им перед глазами пленного.

— Я! Ферштее, ферштее! — еще раз подтвердил немец свое понимание намерений старшины.

— Пока вот — лиген хир, — продолжал развивать свою мысль старшина Титов, убрав кинжал. — А потом — ком-ком! Ферштее? Нах Москва! Быстро! Шнель! — И он показал ему гибким извивом ладони, как они должны «шнель нах Москва».

Немец понимающе кивал. Они лежали лицом друг к другу и смотрели глаза в глаза, словно боясь пропустить малейшее движение души. Расстояние между их лицами было столь мало, что они чувствовали дыхание друг друга. Над ними пролетали осколки и пули, некоторые ударялись в землю совсем близко, а разрывные пули падали с характерным чоканьем. Иногда пуля ударяла в проволоку, и та жалобно звенела: тиу-дзиу-чок!

Погибнуть мог любой из них. И оба сразу.

Близкие вспышки выстрелов, разрывы мин и снарядов, светящиеся трассы делали темноту зыбкой, плывущей, и лица их то прояслялись в темноте, то таяли.

Им оставалось ждать...

* * *

С некоторых пор — это началось тогда, на той злополучной переправе, когда старшина Титов, впрочем, тогда еще не старшина, а сержант, командир орудия калибра сто пятьдесят два милли-

метра, прибил интендантского майора, а по-тогдашнему интенданта третьего ранга, — он перестал жалеть о том, что сделал что-то не так или, наоборот, не сделал ничего, когда надо было что-то сделать. Впрочем, это пришло значительно раньше — после того, как от него ушла жена, а после интенданта укрепилось окончательно. Как бы там ни было, а приобрел Титов привычку спокойно-философского отношения к свершившемуся факту, изменить который уже не волен.

Он потом не раз спрашивал себя, мог ли не убить того интенданта, и всякий раз приходил к выводу, что нет, не мог, что, как ни крути, вся жизнь его шла к тому, чтобы в назначенный час встретиться с этой тыловой крысой и убить ее.

Точно так же и интенданту третьего ранга было назначено встретиться с командиром орудия сержантом Титовым и погибнуть от его руки. Ни тот, ни другой не знали об этой встрече заранее, не предполагали, чем она может кончиться, когда сходились на той переправе. Случись на месте Титова кто-то другой, как и на месте интенданта, и все повернулось бы по-другому. Но встретились именно они, и случилось то, что случилось.

Судьбой было определено, чтобы резервиста от пограничных войск, формовщика Ленинградского завода имени товарища Кирова в конце сорокового во второй раз призвали в армию и определили за его физическую силу теперь уже в артиллерию; чтобы в июне сорок первого, за два месяца до демобилизации, служил он недалеко от Пскова и чтобы немцы так стремительно вышли к стенам этого города; чтобы на реке Великой, примерно в двадцати четырех километрах южнее Пскова, на песчаном мелководье застряла трехтонка с барахлом какого-то большого начальника и чтобы при этой трехтонке находился тот самый интендант третьего ранга; чтобы, наконец, орудие сержанта Титова на тракторной тяге послали перекрыть дорогу, идущую от города Остров к Пскову, и чтобы на этой переправе они с тем интендантом и столкнулись.

Интендант потребовал от сержанта Титова бросить орудие и тащить его машину, при этом грозил пистолетом, а под конец, потеряв, видимо, голову от страха не то перед немцами, не то перед своим начальством, ударил сержанта Титова пистолетом по лицу.

Дальше все вышло само собой: Титов, разъярясь, своим железным кулаком сбил интенданта на землю, и тот грохнулся прямо под гусеницы тягача. И еще ничего непоправимо страшного не произошло, потому что Титов мог сесть на свой тягач и уехать, но он махнул водителю рукой, крикнул: «Давай!» — и водитель, ни секунды не замешкавшись, послал свою машину вперед.

Значит, суждено было тому интенданту третьего ранга погибнуть именно такой смертью.

А у сержанта Титова был приказ: выйти в такую-то точку, зарыться в землю и бить немецкие танки, если таковые окажутся, до полного их уничтожения или подхода подкреплений. И Титов вышел, куда было приказано, зарылся и разнес шесть немецких танков и две автомашины с пехотой, пока немцы не прислали самолеты, а те не уничтожили орудие.

* * *

Только в сорок втором году старшину Титова каким-то чудом разыскали и поставили перед трибуналом. Нельзя сказать, чтобы старшина за год позабыл того интенданта. Нет, он никогда о нем не забудет уже хотя бы потому, что это был первый человек, убитый им на войне, да к тому же не фашист, а свой. Останься он в живых, тоже мог бы убить хотя бы одного немца...

Впрочем, навряд. За полтора без малого года войны Титов не раз встречал таких интендантов и даже пехотных майоров, которые чуть что хватались за пистолет и готовы были гнать солдата на пулеметы, лишь бы выслужиться перед начальством.

И Титов не мог не свершить свой суд над тем тыловиком, ибо шел в бой, а интендант драпал. Не зря же существует присловье: «Таких гадов давить надо как бешеных собак». Вот он и...

* * *

Старшина не считал себя виноватым, не жалел о случившемся. И трибунал это отметил. А один из членов трибунала потребовал для старшины Титова высшей меры. Другие не согласились. Так вот все получилось. И ничего другого получиться не могло. У других — да, у него — нет. Потому что судьба. И никто не знает, что она каждому готовит.

* * *

Взять того же старшего лейтенанта Носова. Вызвался человек идти за «языком», чтобы получить волю, а судьба распорядилась по-своему. Конечно, сам бы старшина пристукнул тех немцев так аккуратно, что потом можно было бы пешком идти до своих окопов. А у старлея не получилось, потому что злости у него много, а это не самое главное, надо еще и кое-что уметь.

Если бы Титов не последовал за ним, шуму было бы еще больше, случилась бы заминка, они потеряли бы слишком много времени в немецких окопах и вряд ли выбрались оттуда живыми.

Можно, конечно, понять желание старлея собственными руками прибить еще одного фрица, но в таком деле нужен точный расчет и холодная голова.

Хитрость не в том, чтобы убить двоих немцев, а в том, чтобы убить их тихо. Тут надо действовать по счету «раз-два», потому что «три» сказать тебе не дадут. И что он пошел за старлеем — это он правильно сделал. И сбил его с ног, потому что тот закрывал дорогу к пулеметчику, — тоже правильно. А не выстрели старшина в немца из своего вальтера, тот наверняка долбанул бы старлея по голове, тогда бы этого ефрейтора можно было взять только гранатой. И сам черт не знает, что из этого могло бы выйти.

Но не только зла, даже досады не возникло у Титова на старлея: что сделано, то сделано. Досадно было не это, а то, что старлей сам выбрал для себя смерть. Зачем? Старшина поступил бы по-другому, то есть постарался бы и немцев отвлечь на себя, и в живых остаться.

Пошел снег.

* * *

Бывший подполковник Какиашвили лежал на спине и смотрел в темноту, которую тревожили вспышки выстрелов. На лицо падали снежинки, но подполковник не чувствовал холода, зато хорошо чувствовал, как жизнь из тела уходит.

Как все, однако, глупо вышло: он услышал вскрик, потом выстрел из пистолета, приподнялся, чтобы посмотреть, что там случилось, — и тут удар в левое плечо, который отбросил его на противоположный скат воронки. И этот ужасный звук разорвавшейся в собственном теле пули. И нестерпимый жар, словно его проткнули шампуром и подвесили над горячей жаровней.

Подполковник лежал, боясь пошевелиться, потому что знал: стоит пошевелиться — придет боль. Так было, когда его ранили в первый раз. Правда, ранение было пустяковым, но болезненным. И боль приходила именно тогда, когда он начинал шевелиться. Теперь он этого делать не станет. Хотя лежать неудобно: одна рука и обе ноги подвернуты и уже начинают неметь. Но это терпимо. И жар тоже терпим. А снег так приятно холодит лицо. Только бы не пришла боль. Только бы умереть не мучаясь.

«Да, что-то я хотел сказать... — думал подполковник Какиашвили, удивляясь, насколько ясна его голова, насколько значительны мысли. — Что-то ведь говорят перед смертью... — мысли его текли спокойно и торжественно. — Правда, при этом обязательно кто-то должен присутствовать. Иначе какой смысл?.. И старшины нет, и этого... Носова. И пусть. Это даже лучше. А то начнут ворочать, куда-то тащить...»

Нестерпимым жаром обдало тело подполковника, мысли сбились, голову будто погрузили в горячий источник, перед глазами замелькали огненные мухи. Он облизал шершавым языком влаж-

ные губы, сглотнул. Попытался вернуть себе умные и торжественные мысли. Сбился, зашпешил, обшаривая темноту широко раскрытыми глазами, мучительно пытаюсь вспомнить что-то важное.

«А-а... Ольга Николаевна. Вы-то как здесь очутились? Все равно вы мне ничем не поможете. Разрывная пуля в грудь. Видите, какая дыра у меня на спине? Через нее уходит кровь... Жизнь уходит. Но вы не уходите. Я виноват перед вами, но теперь уж ничего не поправишь. А этот капитан... Как его? Он еще к вам подходил... Помните? Стихи читал, на гитаре тренькал. Только не пишите отцу, что я в штрафбате. Пал смертью храб... хра... Жена-сиделка — утки, судна... А она такая... такая... После войны жить надо не так... Жить надо...»

Перед тускнеющим взором подполковника Какиашвили возникла изумрудная волна с весело трепещущим белым гребнем. Волна окатила его с ног до головы, подняла и понесла в открытое море. Пальмы качали растрепанными верхушками, что-то кричали чайки, опускаясь к самой воде и касаясь крылом его лица.

Вот из солнечного света вышла жена в белом халате с большим красным крестом на груди. Она шла по волнам, но шла не к нему, а мимо. И солнечный свет просвечивал ее насквозь. Потом она начала таять, таять, таять... И это все, что видел подполковник Какиашвили в своей жизни.

* * *

Снег повалил так сильно, что, если бы не стрельба, не вжиканье осколков и пуль над головой, можно было бы встать в полный рост — никто бы не заметил.

Старшина дернул немца за шинель, подтолкнул к краю воронки, пополз за ним следом, упиравшись носом в подошвы его сапог.

— Шнель! Шнель! — торопил он немца, хотя в этом не было необходимости: немец и так старался изо всех сил.

Они благополучно миновали колючую проволоку. Дальше начиналось минное поле, и надо бы старшине ползти первым, а то, не ровен час, нарвется фриц на мину — и все труды насмарку. Но держать пленного у себя за спиной — тоже не лучший способ передвижения.

Тут с немецкой стороны опять стали пускать ракеты, и старшине оставалось только командовать:

— Рехтс! Линке! Еще линке! Форверст!

Фриц исправно выполнял его команды.

Проползая мимо воронки, в которой лежал подполковник-грозин, старшина быстро ощупал его холодеющее лицо, прикрыл ему глаза и пополз дальше.

Почему-то этого жизнелюбивого грузина ему было жаль больше, чем угрюмого и ожесточенного старшего лейтенанта, хотя причина, по которой подполковник попал в штрафбат, не внушала к нему ни малейшего уважения. Но у каждого своя судьба, а осуждать других было не в правилах старшины Титова.

* * *

До речки оставалось метров сто, когда немцы спохватились и открыли такой огонь из минометов, что нечего было и думать, чтобы двигаться дальше. Было ясно, что они все еще надеются отсечь старшину и его пленника от русских окопов. Или убить обоих. Тоже у них контора не сразу раскачивается. Пока доложили по инстанциям, пока раскинули мозгами, пока то да се. Зато теперь раскручивают на всю катушку.

Через несколько минут к минометам подключилась артиллерия, наши стали отвечать — и пошло-поехало.

Земля вздрагивала, как живая. Сверху летели комья, грязь, какие-то ошметки. Старшина и немец прижимались друг к другу все плотнее, будто в этом было их спасение.

И вдруг среди визга и воя снарядов и мин, среди грохота и треска разрывов старшина различил еще какие-то звуки, которые шли со стороны немцев. Он слегка повернул голову, прислушался: то один, то несколько голосов время от времени повторяли одно и то же слово: «Илли! Илли!»

Похоже, немцы звали кого-то, но не слишком громко, с опаской. А главное, они находились совсем рядом, метрах в тридцати пяти, не больше. И кличут они, судя по всему, вот этого немца, что приткнулся рядом с Титовым. Значит, его «язык» — действительно важная птица. А раньше все какая-то мелкая сошка попала — фельдфебели да унтер-офицеры.

* * *

Нет, первый его «язык» был тоже ничего — обер-лейтенант. Но тогда все получилось совершенно случайно: штрафников бросили в атаку на какую-то высотку, они ворвались в окопы, дрались чем придется, тут рядом с Титовым разорвалась граната — и он отключился.

Очнулся в кромешной темноте, в какой-то яме, полузасыпанный землей. Не сразу сообразил, что немцы приняли его за мертвого и бросили вместе с другими погибшими штрафниками в эту яму: то ли поленились закапывать, то ли оставили на потом. Жгло спину, кружилась голова, донимали приступы тошноты.

Передний край находился рядом, там взлетали ракеты, лениво постукивали пулеметы. Титов пошел на свет и звуки, прислушиваясь и принюхиваясь, тараща глаза на каждый пенек и каждый куст.

Напрасно майор Иловайский думал, что старшина Титов не знал о своих способностях. Нет, он осознавал их вполне. Только, работая в литейке, не придавал им никакого значения. Разве фокус иногда какой покажет. Особенно по части распознавания запахов. Одно время он знал все духи и одеколоны, папиросы и вина, какие только продавались до войны в Ленинграде. Ему даже советовали сменить профессию, пойти дегустатором или кем-то, кто по запаху и вкусу определяет сорт всякой всячины. Но Титов не пошел, не поддался на уговоры. Он не стал менять свою профессию не от великой любви к ней, а потому что было ему чудно как-то зарабатывать на жизнь таким странным способом. При его-то силе и здоровье. Был бы он каким-нибудь интеллигентным дохликом, тогда другое дело. А так... Чтобы на тебя пальцем показывали и смеялись?

В полной мере способности Титова проявились во время службы на границе — они там ему здорово помогали. Особенно зрение и слух. Что же касается обоняния, так оно в нормальной жизни даже вредило: кому ж приятно постоянно чувствовать, чем от кого пахнет. Конечно, это не собачье чутье, но все же.

Короче говоря, темнота и одиночество не пугали Титова. И даже то, что он, судя по всему, оказался в немецком тылу. Зато сказывалась полученная от взрыва контузия: перед глазами то и дело вспыхивали огненные точки, в голове шумело. Тогда он садился или ложился и переживал, пока способность слышать и видеть вернется к нему снова.

По дороге Титов подобрал продолговатый камень килограмма на три — с ним и шел. О «языке» он даже не помышлял: выбрать-ся бы самому. Но когда добрался до немецких окопов, когда мимо него по ходу сообщения протопал какой-то фриц, что-то мурлыча себе под нос, Титова вдруг обожгло: а сколько же времени он провалялся в той яме и как он докажет смершевцу, что с ним приключилось то, что с ним приключилось?

Вот тогда-то ему и пришло на ум, что к своим он должен вернуться не с пустыми руками. И как только он об этом подумал, все тело его напряжилось и изготовилось, а хворости поутихли. Он, правда, немного нервничал, но не слишком, то есть не настолько, чтобы отказаться от своей затеи. А через пару минут на него вышел немецкий солдат.

То что это солдат, а не офицер, Титов распознал по запаху: солдаты — как немецкие, так и наши — пахнут совсем не так, как офицеры. Чем в более высоких чинах человек, тем меньше у него

собственного запаха, тем больше от него несет одеколоном, хорошим мылом, коньяком и табаком.

От трибунальцев, например, практически совсем не пахло: видно, моются каждый день и белье меняют часто. Только у того, что потребовал расстрела, изо рта воняло ужасно — то ли зубы гнилые, то ли с желудком что.

Так вот, от немца, что шел по ходу сообщения, пахло солдатом. Он шел и цыкал слюной сквозь зубы, как какой-нибудь из наших блатных. Титов пропустил его мимо себя, а потом прыгнул сверху и ударил по голове камнем. И проломил немцу голову. А все потому, что казался себе более слабым, чем это было на самом деле.

Несколько секунд он в растерянности прижимал фрица к себе, не зная, как с ним поступить, но в конце концов догадался вытолкнуть его из хода сообщения и уложить в воронке.

Завладев автоматом немца, Титов почувствовал себя увереннее. Однако надо было спешить, потому что немца могли хватиться. Продвинувшись еще немного к передней линии, на этот раз уже по ходу сообщения, Титов вдруг услышал, что сзади его кто-то догоняет.

«Вдруг» получилось потому, что невдалеке затарахтел пулемет и поглотил все другие звуки. Прятаться было негде, вылезать из хода сообщения — поздно, а тут, как назло, в небе повисла ракета и стало светло — хоть волоски на руке пересчитывай.

А шаги все ближе, и Титов, ничего лучше не придумав, упал на дно хода сообщения, упал лицом вниз, затем поспешно перевернулся на спину и замер, изобразив то ли мертвеца, то ли загнувшегося по пьянке человека. Но с открытыми глазами.

Немец вышел из-за поворота. Это и был тот самый обер-лейтенант. В фуражке с высокой тульей и в очках. Он не смотрел под ноги, а пялился куда-то вверх. И едва не наступил Титову на голову. Ногу уже занес, охнул от неожиданности и наклонился, пытаясь разобраться, кто тут лежит у него на дороге. Но разобраться не успел: Титов для начала ткнул его стволом автомата под дых, а потом слегка «погладил» по голове. На этот раз он не перестарался.

Ну а дальше все получилось даже проще, чем он мог себе вообразить: пулеметчиков он оглушил автоматом, после чего для верности проткнул ножом, подхватил пулемет, своего немца и поволок к своим.

Правда, свои чуть его не прибили, приняв за немца: шибко напуганы были. И смершевец потом все-таки помуружил. Но все обошлось. С тех пор профессией Титова стало ходить за «языками». Ему даже вернули звание старшины, чтобы присылаемые под его начало бывшие офицеры не чувствовали себя слишком униженными. А вальтер того обер-лейтенанта всегда со старшиной, он бережет его как талисман, приносящий удачу.

— Илли! Илли! — опять долетело до слуха старшины Титова. Он слегка отстранился от своего пленника, отцепил от пояса две гранаты-лимонки, заляпанные грязью, вырвал у одной кольцо, приподнялся, прислушался, метнул на голос.

Одинокий хлопок гранаты потонул в грохоте артиллерийской дуэли.

Показалось, что кто-то там вскрикнул. Старшина помедлил немного и метнул туда же вторую гранату. После хлопка там закричали в голос:

— Геер майор! Во зинд зи? Вилли!

Зашевелился немец, приподнялся, что-то залопотал. Старшина придавил его к земле:

— Лиген, мать твою!

— Вилли! Вилли! — неслоь оттуда.

— Я вам покажу сейчас Вилли! — прорычал старшина и лапнул автомат.

Но автомат был настолько заляпан грязью, что затвор, хотя и сдвинулся с места, застрял тут же. И стало ясно, что надежды на автомат никакой. Оставались пистолет и кинжал.

Старшина проверил, на месте ли вальтер — он лежал у него в кармане за пазухой, — и ткнул немца в бок:

— Форверст! Шнель!

Но немец, вместо того чтобы ползти вперед, начал пятиться в обратную сторону.

— Ах ты гнида фашистская! — взорвался старшина и с такой силой рванул на себя немца, что тот вякнул как-то по-щенячьи, а затем, заверещав, вдруг вцепился старшине в горло своими грязными руками.

И не такой уж он оказался слабак, каким представлялся старшине поначалу. Пальцы его, липкие от грязи, будто проволоочная удавка оплели горло старшины Титова, больно придавив кадык.

Но не зря же когда-то, давным-давно, то есть еще до войны, когда старшина не был старшиной и не думал ни о каких «языках», а работал себе формовщиком на заводе имени товарища Кирова в литейном цехе, не зря же он считался одним из сильнейших людей у себя в литейке: запросто ворочал двухсоткилограммовые опоки, а это вам не штанга, приспособленная, чтобы ее поднимать, а чугунный ящик с формовочной землей, который и ухватить-то не так просто.

Взрывной силой обладал бывший формовщик Титов. Он не стал отдирать руки немца от своего горла, а просто ткнул его в сердцах в бок кулаком — и немец сразу же ослабил хватку и отвалился.

Стянув в пятерне все воротники, какие нашлись на немце, старшина поволок его к реке, туда, где бесновались разрывы мин и снарядов.

Однако прополз он всего ничего, как из белой мути снегопада возникла огромная согбенная фигура с автоматом в руках. За ней вторая. Осветительная ракета висела за спинами фигур, и они, словно сказочные великаны или злые духи, лишенные плоти, медленно выплывали из снежной круговерти, нависая над старшиной.

Старшина выхватил пистолет и выстрелил сначала в одного великана, потом в другого. И великаны пропали из глаз.

— Вилли! Вилли! — донеслось до старшины.

В крике этом было столько отчаяния и мольбы, что, будь у старшины время на раздумье и удивление, он бы задумался и удивился.

Немного погодя там, откуда кричали, щелкнул одинокий пистолетный выстрел. Стреляли тоже из вальтера.

Старшина послушал несколько секунд, спрятал пистолет и пополз дальше, волоча за собой немца.

Возле самой реки, в кустах на гребне оврага, он ощупал майора: тот был жив и, похоже, даже не ранен, но какой-то квелый. Придерживая немца, старшина сполз вниз по крутому скату: здесь меньше свистело осколков и вообще было поспокойнее, если можно говорить о спокойствии в грохочущем аду. Там, в своих окопах, знают, что именно здесь они будут переправляться через речку, именно здесь узкий проход очищен от мин и именно это место почти не простреливается со стороны немцев.

* * *

На этой речке, если верить майору Иловайскому, когда-то давным-давно, еще при каком-то там царе, застрелили поэта Пушкина.

Титов Пушкина читал. Особенно хорошо у этого Пушкина получались сказки. Складно так написаны, а главное, со смыслом. Вот, скажем, сказка про старика и старуху, как она, старуха эта, то корыто, то избу, то еще что-то просила. Очень это даже верно, если иметь в виду женщин. Или взять сказку про Балду. Тоже занятная. Сынишка, еще когда Титов жил со своей женой, то есть пока она не спуталась с военоторговским шофером, очень любил слушать, когда Титов их ему читал, так что старшина выучил все сказки Пушкина наизусть.

«А вообще говоря, чудное это дело: ты, значит, в литейке пупок надрываешь да газами всякими трависься и наживаешь себе чахотку, а кто-то сидит себе дома и пописывает сказки. А ты потом читаешь. И даже когда человека этого давно нет на белом свете. Чудно...

Да сколько они, мать их в дышло, будут еще стрелять?! Кончатся же у них когда-нибудь мины и снаряды! Ведь один хрен не по-ихнему будет!»

Совсем близко взметнулась земля — старшина навалился на немца, вдавливая его в зыбкую болотистую почву. Немец замычал. «Что, фриц, хреново? Ничего, зато потом все воюют, а ты в плену. Ешь баланду и жди, когда война кончится. Можно сказать, тебе повезло. А вот грузину не повезло. А он, между прочим, повыше тебя звание имел. Да бабы подвели его под монастырь. Бабы — это такие, брат, подлчие существа...»

Рядом один за другим поднялись два высоких столба воды — старшина обмяк и, если бы не кусты тальника, сполз бы с немца в черную воду.

* * *

Майор Вилли Хайнер, начальник оперативного отдела штаба дивизии, некоторое время лежал неподвижно, боясь поверить, что страшный русский Иван уже не представляет для него опасности. Нелепость, нелепость, нелепость! В кошмарном сне не снилось ему ничего подобного. Снилось, правда, и не раз, что его догоняют, а он с трудом переставляет непослушные ноги, но он всегда просыпался в тот миг, когда его вот-вот должны схватить. Может, и это всего лишь сон, в котором переплелись реальность и чертовщина?

Он вчера вечером... Вчера? Когда это было?.. Ну, не важно. Он слишком много выпил трофейного коньяка. Слишком много. Но ведь ничто не предвещало такой ужасной развязки. И вообще, все шло хорошо. Он не первый раз в этом полку. Не первый раз навдыхается к своему племяннику обер-лейтенанту Надлеру, сыну своей старшей сестры Хильды, который командует ротой. А тут случай представился: племяннику исполнилось двадцать шесть лет, и начальник штаба дивизии отпустил майора Хайнера по этому случаю до полудня следующего дня, не преминув при этом дать ему поручение собрать в полку кое-какие данные.

Можно было бы, конечно, вытащить Надлера с передовой на день-другой в тыл, но майор Хайнер не хотел, чтобы его племянник нарушал традицию своего батальона, по которой дни рождения офицеров отмечались в тесном товарищеском кругу. Да и, надо признаться, в пятистах метрах от русских окопов люди ведут себя раскованнее и естественнее, чем в дивизионном тылу, хоть он и расположен от тех же окопов ненамного дальше. Так иногда хочется сбросить казенную личину и побыть какое-то время просто добрым дядюшкой Вилли Хайнером.

Наконец, приятно быть вестником хороших новостей и хотя бы намеком дать понять уставшим людям, что очень скоро — первого декабря, хотя точную дату называть не обязательно, — их дивизию отведут на отдых во второй эшелон, а часть офицеров получит отпуска в Германию. Провести в кругу семьи сочельник или даже Рождество — что может быть лучше такой перспективы!

Майор Хайнер явился к своему племяннику не с пустыми руками — принес несколько бутылок русского коньяка; что оказалось совсем не лишним. А в качестве подарка преподнес Надлеру кавказский кинжал в серебряных ножнах из какого-то музея, которых здесь, под Петербургом, великое множество. Всякое диковинное оружие было слабостью его племянника.

Да, все шло хорошо. И все на какое-то время смогли... ну, если не забыться, то хотя бы отвлечься от опостылевшей действительности. А потом он вышел — и полный провал. И этот кошмарный сон, который никак не кончится.

Бедный Надлер. Ему может здорово влететь, если его дядя окажется в плену у русских: ведь все это произошло в расположении его роты. И для Хильды — такой удар.

Странно, но майор Хайнер почему-то сейчас не думал о себе и своей семье, хотя его пленение будет еще большим ударом для его жены Марты и может отразиться на карьере его сыновей, которые служат в рейхе. Наверное, потому, что Марта и сыновья далеко, а Надлер всего в каких-нибудь ста метрах.

И еще, наверное, потому, что он никак не может смириться с мыслью, что все происходящее есть самая настоящая реальность. Ведь всего три дня назад он сам допрашивал русского солдата, выкраденного спецкомандой из русских окопов. Правда, солдат этот почти ничего не знал, хотя его подвергли хорошей обработке. И вот теперь он сам, майор Хайнер, который знает слишком много, может очутиться в роли того русского солдата. Уж его-то русские разрежут на кусочки. За что же Господу так его наказывать?

Майор Хайнер не знал, что его племяннику уже влетело, что командир батальона приказал ему хоть из-под земли, но достать своего дядю, а командиру батальона то же самое приказал командир полка, что о случившемся уже известно не только в дивизии, но и выше.

Майор Хайнер не знал деталей, но был уверен, что свои предпримут все возможное, чтобы вытащить его из беды. И уже что-то предпринимают, о чем свидетельствует вся эта канонада. Но это только начало, а там в атаку могут бросить и роту, и батальон — смотря по обстоятельствам.

* * *

Обстоятельства же сложились так, что сам обер-лейтенант Надлер, так до конца и не протрезвевший, несмотря на холод, дождь и снег, вызвал троих добровольцев из солдат своей роты и, пообещав им Железные кресты и отпуск в Германию, пошел вместе с ними на ничейную землю выручать своего дядю.

Они довольно быстро обнаружили двоих убитых русских, а свежий след, который не успел присыпать снег, подсказывал, что другие русские уйти далеко с пленником не могли. Но взрывом двух гранат ранило самого Надлера и убило одного из солдат, а потом pistolетные выстрелы лишили Надлера всякой надежды. И он сделал то, что положено делать каждому германскому офицеру, попавшему в безвыходное положение.

Этот выстрел, оборвавший жизнь племянника майора Хайнера, слышал старшина Титов, но не слышал сам майор Хайнер.

* * *

Выбираться из-под Ивана, однако, рискованно: кругом непрерывно рвутся мины и снаряды, а Иван все-таки прикрывает майора своим телом от осколков. К тому же надо обдумать, что делать дальше, в какую сторону двигаться.

Майор Хайнер смутно представлял, где находится. Уже хотя бы потому, что часть пути его волокли, как мешок, в бессознательном состоянии. Но и тогда, когда он полз сам, подгоняемый Иваном, он все равно ни черта не видел и только удивлялся: как этот русский ориентируется в кромешной темноте? Да еще в такой снегопад.

Впрочем, и при свете ракет все равно ничего не разглядишь. А ведь здесь должны быть мины, очень много мин, поставленных и своими, и русскими.

Одно майор Хайнер знал точно, что они, продвигаясь к русским окопам, не могут миновать речку, которая по-русски называется...

О черт! Как же она называется? Ведь он хорошо помнил ее название еще совсем недавно. У него же профессиональная память на всякие названия.

Однако это сейчас неважно. Но не лежать же под этим русским до бесконечности! Того и гляди, наступит утро, и тогда русские либо пристрелят его, либо возьмут в плен голыми руками. А в плену...

Нет, лучше не думать. Иван ранен или даже убит, и ничто его, майора Хайнера, здесь не удерживает. Русские, хотя их окопы наверняка совсем близко, не могут знать, где сейчас находится Иван. Тем более они не могут знать о майоре Хайнере.

Майор шевельнулся, пытаясь стряхнуть с себя русского. Иван застонал. Хайнер замер.

И тут наступила тишина. Не то чтобы полная, но стрельба вдруг резко пошла на спад. Там и сям еще шлепнулось несколько мин — и все. Тихо. Словно обе стороны, оглушенные канонадой, решили передохнуть и попытаться понять, что же они натворили, что из всего этого получилось.

Ни выстрела, ни ракеты. Падает снег, но слабый. Видна черная вода и крутые белые берега. Вода кажется бездонным провалом и притягивает взгляд.

И майор Хайнер вспомнил, как называется эта речка: Шварцфлуз — Черная речка. Действительно — черная. Но русские названия так длинны и невыразительны, как бесконечно длинна и невыразительна их страна.

* * *

И все-таки надо выбираться. Майор Хайнер решительно уперся руками в землю — Иван пополз с его спины, затрещали кусты, да так громко, что майор испугался, что его услышат русские или очнется страшный Иван. Может, это тот самый неуловимый Титоф, который уже полгода ворует немецких солдат и офицеров и которого в немецких окопах прозвали Черным Призраком?

А Иван опять застонал и даже вроде бы пошевелился. Чего доброго, очнется и пустится в погоню.

Майор Хайнер уперся ногами и попытался столкнуть русского в воду, но кусты пружинили и не пускали. Тогда он вспомнил, что у Ивана должно быть оружие, и принялся его обшаривать, пытаясь в складках плащ-накидки.

Тут со стороны русских окопов раздался негромкий свист и слышались приглушенные голоса, да так близко, что у майора Хайнера остановилось дыхание. Он замер, потом отпрянул от Ивана, двинул его ногой в бок и, цепляясь за кусты, полез наверх.

Почему-то под руку все время попадался сушняк, который ломался со звуком пистолетного выстрела. Но раздумывать, осторожничать, тем более медлить становилось опасным.

Майор Хайнер лез вверх по крутому склону оврага, приняв его за берег реки. Ноги его не находили опоры и оскальзывались, но он с отчаянным упорством, цепляясь за что попало, обламывая ногти и не чувствуя боли, лез и лез вверх по заснеженному склону. Главное — отползти от русских окопов хотя бы метров на сто. Насколько он помнит схему расположения минных полей, на этом пути мин он встретить не должен. Ведь прополз же Иван вместе с ним — и ничего. Надо только держаться следа, который остался на свежем снегу...

Увы, майор Хайнер отклонился от этого следа — всего на метр какой-нибудь, — потому что цепляться по следу было совершенно не за что. Только бы выбраться! Наверх, наверх! Не исключено, что там его еще ждет Надлер, хотя вряд ли: свои наверняка решили, что в таком огне уцелеть невозможно, и поставили на майоре Хайнере крест. А он выберется и вернется...

Где-то впереди лежит русский, а у него должен быть автомат, и если Иваны вздумают его преследовать, с оружием он им не дастся.

Еще усилие — и он наверху. И в тот момент, когда майор Хайнер вскарабкался на гребень оврага, из земли с оглушительным треском вырвалось красное пламя, оно полыхнуло прямо перед его глазами — майор Хайнер полетел вниз.

* * *

«Мина!» — обожгло его мозг. Застряв в кустах у самой воды, майор Хайнер медленно поднес к лицу левую руку. Хотя глаза его были закрыты, залеплены землей и он ничего не видел, он понял: это уже не рука, а всего лишь обрубок.

Никакой боли майор Хайнер еще не чувствовал, но она стояла где-то рядом и вот-вот должна разлиться по его телу.

— О майн гот! О майн гот! — выдыхал майор сквозь крепко стиснутые зубы, лихорадочно шаря здоровой рукой по карманам в поисках носового платка.

Наконец он нашел платок и принялся обматывать им то, что совсем недавно было его рукой. И еще подумал при этом: как хорошо, что у него оказался такой большой платок и что потерять левую руку лучше, чем правую.

Тут майор Хайнер почувствовал тошноту, испугался, что сознание покинет его и он истечет кровью. С минуту он чего-то ждал, потом сел, повернулся лицом туда, где, по его представлению, должны быть русские окопы, и позвал слабеющим голосом:

— Ива-ан! Русс Ива-ан! Ком хир! Бистро! — и, пересилив себя, добавил как пароль: — Хитлер капут...

И заплакал.

* * *

Когда старшина Титов пришел в себя, он увидел склонившееся над ним лицо солдата. Лицо было веселое, улыбающееся, курносое, щербатое, родное.

— Во, очухался! — воскликнуло лицо и тут же пропало в зыбком полумраке.

Титов, сделав над собой усилие, стал вглядываться в этот полумрак, выхватывая из него такие же улыбающиеся лица, он как будто кого-то отыскивал.

В землянке смеялись. От хохота колебался огонек в снарядной гильзе. Старшина не понимал, над чем можно смеяться, если на ничейной земле остались старший лейтенант Носов и подполковник-грузин.

— А где Вилли? — тихо спросил старшина и почти не услышал своего голоса.

— Какой Вилли? — снова распростерлось над ним щербатое веселое лицо. — Это немец-то твой? Майор, что ли? В порядке твой Вилли. Только что унесли. Ранен. Руку ему оторвало. По локоть. Миной. Мы тут чего и смеемся-то. Это ж он нас с той стороны позвал. Вилли этот. А потом все твердил: «Русс Иван — хорошо!» Это про тебя, значит. Вроде как ты ему доброе дело сделал. Умора, да и только. Чудной фриц тебе попался!..

— А лейтенант Кривулин? Молоденький такой...

— Это из штрафников, что ли? Так их всех в блиндаже прямым попаданием... И ротного нашего тоже.

— А со мной что?

— А ничего. Оглушило малость. Если б не каска, была бы тебе полная хана. А так ничего, оклемаешься. Ты лежи. Счас санитары за тобой придут. В госпиталь отправят. Тут сам командир нашего полка интересовался... фрицем твоим. Во как! Так что счас и за тобой придут.

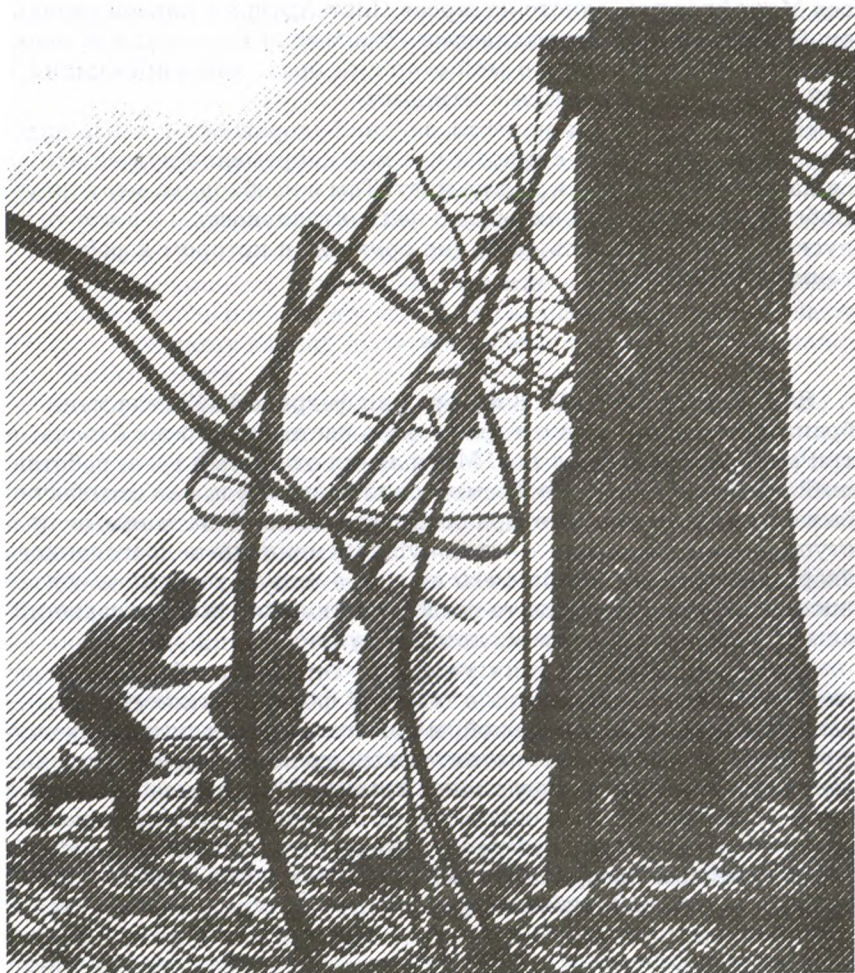
* * *

Старшина закрыл глаза. В голове стоял ровный неумолчный гул. Из этого гула вдруг выплыл его собственный голос, читающий сыну сказку Пушкина, которого когда-то, если верить майору Иловайскому, убили на этой самой Черной речке:

Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.

МИХАИЛ КОСИНСКИЙ

СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ





А мне хотелось сражаться за свою родину. Как глупо было сидеть в заключении, отбывать срок, когда мои соотечественники миллионами умирали за нее! Пример моего отца, отдавшего за нее жизнь, все время не давал мне покоя. Пример дяди Алексея Михайловича, одного из героев Порт-Артура и первой германской войны, стоял перед глазами. Эти мысли не оставляли меня. Я тогда еще не знал, что мой старший брат, эмигрировавший в 1928 году, уже сражается с немцами.

Но меня часто, очень часто, во сне будоражили и иные видения. Мне очень часто снилось, что мне непременно нужно явиться на работу в Эрмитаж, а я не могу. Там я необходим, меня ждут, Орбели досадует на меня за мою непунктуальность, — а что-то не пускает меня. Снилось собрание оружия, в котором я работал с таким увлечением...

* * *

Я заболел пеллагрой. В январе или феврале 1942 года меня забрали в больницу — в отгороженную часть нашего же барака, и три месяца я пролежал там. Меня лечил отличный врач, работавший прежде, кажется, в Кремлевской больнице и, как это обычно бывало с кремлевскими врачами, осужденный за мнимые преступления особого рода — за покушение на подрыв драгоценного здоровья вождей. Я забыл его имя — а между тем ему я обязан жизнью. Ему удалось где-то раздобыть тюлений жир, оказавшийся как раз тем лекарством, которое нужно.

А люди кругом все-таки умирали. Они были обречены заранее — у всех была пеллагра в тяжелой форме, легких случаев не было. Смерть была повальной, и то, что я выжил, выглядело чудом. Доктор говорил мне потом, что своим выздоровлением я обязан самому себе: ведь когда меня хотели перевести на «здоровый стол», состоявший в основном из тех продуктов, которые и вызывали заболевание, я отказался и больше недели оставался на пайке, состоявшем из сорока граммов сухарей (то есть одного сухаря) в день и куску тюленьего жира.

Мне оказал помощь и один из товарищей, с которым я подружился еще до болезни, — молодой, очень красивый моряк, поса-

женный «по указу». Его отец был офицером старого, а затем и советского флота. Этот юноша говорил мне во время наших бесед о войне, что его отец в дни наших самых тяжелых поражений верил в окончательную победу над гитлеровской Германией. Он и я рассуждали точно так же, и мнение его отца еще более увеличивало нашу веру в конечную победу. Во время моей болезни этот друг ухитрился где-то достать большой пакет клюквы (в те времена даже клюква, даже в Архангельской области, где ее всегда была уйма, сделалась вожаделенной редкостью!) и передать его мне... Доктор говорил, что эта передача немало помогла моему выздоровлению.

Помню такой случай, очень характерный для пеллагры. Я лежал на койке в больничном отделении барака. Санитар-заключенный привел нового больного и уложил его на койку. Больной был крепким на вид парнем, у которого далеко зашедшую пеллагру определили, как это постоянно делалось, по покраснению, рыхлости и болезненности слизистой оболочки рта. Как только санитар вышел, он налил в кружку воды из бачка, достал пайку хлеба и принялся закусывать. Я окликнул его:

— Что ты делаешь?! Ты губишь себя, тебе же нельзя есть хлеб!

Он посмотрел на меня с хитрым видом:

— Не беспокойся! Я сам знаю, что мне можно, а чего нельзя.

Проснувшись наутро, я увидел, что два санитара привязывают бирку к большому пальцу ноги этого парня и выносят его из палаты. Он был мертв.

Как бы то ни было, но я выздоровел. Правда, из больницы я вышел таким, какими обычно представляют узников фашистских лагерей: я исхудал до предела. Слабость была ужасная. Чтобы подняться на три ступеньки, ведущие в барак, я вынужден был опускаться на колени и медленно, помогая себе руками, всползать по этим ступенькам...

И опять доктор пришел мне на помощь. Через несколько дней после выписки он вызвал меня. У него находилась дочь начальника лагеря Филиппова, также служившая в лагере и приехавшая на наш участок в связи с угрожающим ростом заболеваний пеллагрой. Филиппова знала меня по предвоенным месяцам как режиссера, актера и художника, сохранявшего даже в лагере относительно элегантный вид. Она ужаснулась, увидев перед собой лагерного доходягу. На другой день, в возке, привозившем хлеб, меня доставили с участка в лагерь.

Заболев пеллагрой и будучи уверенным, что это уже конец, я переслал Нине Дмитриевне Румянцевой письмо, в котором попросился с нею и попросил, если она выйдет на волю, передать моей матери прощальный привет. В связи с этим письмом в лагере распространился слух о моей смерти. Когда я вновь появился там,

знавшие меня заключенные, а таких нашлось немало, были искренне удивлены. Как, я остался живым, да еще пережил пеллагру! Люди приветствовали меня, называли воскресшим из мертвых и сулили мне на этом основании, согласно народному поверью, долгую жизнь.

В основном лагере также свирепствовала эта болезнь. Половина лагерных построек была превращена в больницы, где отлеживались — и где многие навсегда отлежались от жизни — пеллагрики.

Вскоре после моего возвращения, относящегося к апрелю 1942 года, произошло временное улучшение питания заключенных. Оказалось, что резко ухудшилось питание из-за отсутствия транспорта: на пристани в Архангельске скопились груды продуктов для лагеря, но их нечем было перевезти. Причиной этого была война. Ведь в Архангельск прибывали целые караваны судов, доставлявших из Англии и США военное снаряжение. Его переброска из Архангельска шла день и ночь. Даже олени упряжки были мобилизованы на эту работу.

И вот администрация лагеря решилась на рискованный шаг. По льду, сковавшему Кузнечиху, почти без охраны потянулись сани-розвальни, с великим трудом влекомые кучками доходяг-заключенных. Дотащив сани до Архангельска, доходяги нагружали их продуктами. Эти продукты громоздились на пристани в мешках, ящиках под открытым небом и только кое-где были прикрыты брезентом. Еще медленнее совершался обратный путь. Десять километров, разделявшие город и лагерь, еще более удлинялись из-за проталин, уже появившихся там и сям во льду.

Но зато администрация добилась разрешения свыше использовать на питание заключенных продукты, полагавшиеся в свое время всему лагерному контингенту. Теперь он сильно поредел, и живым достался «задним числом» паек мертвых.

Понемногу я втянулся в работу мастерской, где все еще изготавливались мундштуки для армии.

* * *

Последний год в лагере тянулся мучительно долго. Как и многие мои товарищи, я считал дни, оставшиеся до окончания срока. Правда, этот счет мог оказаться неверным. Мы уже знали о распоряжении задерживать заключенных в лагерях «до особого распоряжения», то есть по крайней мере до окончания войны, конца которой не было видно.

События на фронте волновали очень многих, но вызывали разное отношение. Часть заключенных, к которым принадлежал и я, мечтала о том, чтобы принять непосредственное участие в за-

щите родины. Но немало было и рассуждавших иначе. Они, наоборот, надеялись, что их поостерегутся выпускать из заключения до конца войны, и надеялись также, что здесь все же больше будет шансов уцелеть, чем на фронте. Были и такие, кто уповал на крах советского государства и был готов погибнуть во имя этого краха.

В январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. Начали доходить скудные вести из родного города. Но от мамы писем не было. Я послал запрос в Бугуруслан, где находилось центральное бюро по эвакуации населения. Мне ответили: «В списках эвакуированных не числится». Тогда я написал в ленинградский адресный стол. Ответ я получил днем, во время работы в мастерской. Я сидел за резкой мундштуков рядом с Ниной Дмитриевной, когда мне передали извещение. Адресный стол сообщал, что Косинская Жозефина Ивановна умерла 12 апреля 1942 года...

Нам время от времени показывали кинофильмы. Среди них «Ленинград в борьбе» — после войны, как я слышал, запрещенный на долгие годы. Этот фильм был страшен. Но он заставлял гордиться мужеством населения Ленинграда. Смотря его, ужасаясь, я все время думал о моей дорогой маме...

* * *

15 июля 1943 года кончался срок моего заключения. По причинам, о которых я уже говорил, я не был уверен в своем освобождении. Но если бы оно состоялось, я должен был пройти через призывную комиссию в военном комиссариате, так как постановление (приговор) Особого Совецания не лишало гражданских прав после отбытия срока заключения, в том числе и права защищать свою страну в случае войны. Права эти, конечно, никто не принимал всерьез — высшее «право» принадлежало органам.

Товарищи по заключению заранее позаботились обо мне: в портняжной мастерской сшили костюм, правда, из старого материала, но я был тронут такой заботой.

14 или 15 июля произошел небольшой пожар в одной из мастерских. Начальству в связи с этим было не до меня и моего освобождения.

Но 16 июля я был вызван к начальнику лагеря. Он принял меня в новом помещении лагерного «штаба», находившегося в женской зоне. Кабинет был отделан Гордоном и его художниками с большим вкусом, но выглядел довольно мрачно. Филиппов усадил меня на стул и сказал, что я должен получить документы и продукты на несколько дней: меня «полностью оформляют» как выходящего на свободу. Но я должен поступить так: в Соломбале (район Архангельска) явиться в районный военный комиссариат

(военкомат), пройти там призывную комиссию, а затем возвратиться в лагерь. В лагере я буду работать вольнонаемным сотрудником до получения особого распоряжения о моем окончательном освобождении. Он меня назначает заведующим художественной мастерской, а жить я буду на частной квартире, вернее, снимать комнатуху в одной из талагских изб.

Взглянув на выданный мне новый лагерный костюм, в котором я предстал перед ним, — черное рабочее платье с желтыми почему-то нашивками на локтях и коленях, Филиппов сделал вид, что остался недоволен им:

— В таком костюме вам работать нельзя. Я отдам распоряжение сшить вам приличный костюм.

Я поблагодарил его за внимание и добавил, что сделаю все от меня зависящее, чтобы не возвращаться в лагерь. Он усмехнулся:

— Я вас понимаю, но вы не сможете ничего сделать. Вас вернут сюда!

Мы простились, и я прошел в свою зону. Прощаясь со мной, товарищи уговорили взять в дорогу сапожный нож. Они считали мой путь в одиночку в Архангельск небезопасным. Дорога шла лесом, а в лесу можно встретить и урок, бежавших из лагеря, и прочих бродяг.

* * *

На следующий день рано утром я взвалил на плечи довольно объемистый мешок с вещами и, пройдя через караульное помещение, вахту, вышел на дорогу. В караульном помещении очень небрежно осмотрели содержимое моего мешка.

Отойдя от лагеря метров на триста, я сел на большой камень при дороге. Отсюда мне хорошо были видны обе зоны лагеря, ба-раки, обнесенные колючей проволокой, вышки с часовыми и длинный ряд столбов с перекладинами и натянутой на них проволокой — телефонная линия, идущая вдоль дороги в Талаги.

Я хотел испытать то наслаждение свободой после пятилетнего заключения, о котором мне рассказывали в тюрьме бывшие заключенные царских тюрем. Но, увы, — я не знал, свободен я или нет. Я сидел один. Вокруг меня не было ни охраны, ни сторожевых собак, ни ограды из колючей проволоки. Все вроде бы оставалось там, позади. Передо мной лежал свободный путь в Архангельск. Но ведь меня предупредили, что из Архангельска мне придется вернуться сюда же, в лагерь, и ждать «особого распоряжения». Такая «свобода» мне не улыбалась. Наоборот, она была сопряжена с ранее неизвестными тяготами: придется работать среди моих товарищей-заключенных, которые будут невольно

смотреть на меня чужими глазами. Для них я обращаюсь в одного из надсмотрщиков.

Я поднялся с камня и зашагал по дороге, не сулившей ничего хорошего в будущем.

* * *

Путь мой лежал лесом. Утро было солнечное, пригожее. Мне пришлось переправиться через небольшую речку на лодке, стоявшей у берега. Речка была покрыта почти сплошь сплавным лесом, перебраться было нелегко. Пришлось лавировать между плывущими бревнами, отпихивать их веслом. Преодолев это препятствие, я увидел женщину с туесами и корзиной, ожидавшую лодку на другом берегу. Мы обменялись несколькими приветливыми словами, женщина вошла в лодку и бодро и умело стала переправляться через речку.

Когда я подошел к Архангельску и переправился через Кузнециху, день уже был в полном разгаре. Я оказался рядом с заводом имени Молотова, с которым у меня были связаны столь неприятные и тяжелые воспоминания. Здесь удалось остановить грузовую машину, и на ней я доехал до Соломбалы, где находился райвоенкомат, куда мне надлежало явиться.

Соломбальский райвоенкомат. Две комнаты, разделенные перегородкой с окошком. За ним сидит молодой военный с кубиками лейтенанта. Больше никого. Я достал из кармана направление и кое-какие документы. Он прочитал, задал мне несколько вопросов. День уже клонился к вечеру. В Архангельске был введен комендантский час. Лейтенант дал мне адрес поликлиники:

— Вам нужно пройти медицинскую комиссию. Только торопитесь, рабочий день кончается! Пройдете комиссию и возвращайтесь сюда!

Я попросил разрешения оставить в военкомате вещи и побегал. Поликлиника была недалеко, но, не зная как следует города, мне пришлось потерять время, чтобы ее найти. Нашел наконец. Двери одноэтажного дома закрыты. Я стал стучать в них. За дверьми послышался голос:

— Что стучите?! Поликлиника закрыта. Все ушли!

Я прошу, умоляю:

— Откройте, пожалуйста!

Дверь приоткрывает старушка. Я объясняю ей мое положение: пешком пришел из лагеря, знакомых в городе нет, военкомат послал меня на комиссию. Старушка смягчается:

— Милый, да ведь врачи ушли. Остался один только главный врач. Ну, да я спрошу...

Закрывает дверь и через несколько минут возвращается:

— Главный врач тебя примет, проходи, милый.

Я вхожу за ней. В комнате за столом сидит женщина в белом халате и что-то пишет. Объясняю ей. Она отвечает:

— Хорошо, хорошо, я вас приму. Только подождите немного.

Сажусь на стул за дверью и жду; минут через двадцать врач произносит:

— Войдите!

Не вставая из-за стола, она спрашивает, окинув меня взглядом:

— Как себя чувствуете? Болели чем-нибудь?

— Отлично. Не болел ничем, кроме насморка, — лгу я. — Да и то редко!

— Ну, руки-ноги в порядке. Прекрасно. Я напишу: «Годен к строевой службе».

— Благодарю вас.

Она берет мое направление из военкомата и пишет на нем: «Годен к строевой службе». Подписывается и ставит печать, так и не вставая из-за стола. Еще раз благодарю ее и бегу в военный комиссариат.

— Все в порядке, — говорит лейтенант. — Теперь возвращайтесь в лагерь и ждите особого распоряжения.

Я взмолился. Я долго убеждал его не посылать меня обратно в лагерь. Я говорил о своей любви к родине, о том, что именно сейчас, когда стране нужны защитники, я могу доказать ей свою преданность. Лейтенант посмотрел на меня смягчившимся взглядом:

— Поймите, ведь это не от меня зависит. Я выполняю распоряжение...

— Но от кого же это зависит?

— Изменить распоряжение может только военный комиссар города Архангельска. Но я вам не советую к нему обращаться. Если вам даже удастся добиться у него приема, он вам все равно не разрешит!

Лейтенант видел мое огорчение, граничившее с отчаянием, и вдруг произнес:

— Хорошо! Я пошлю вас в армейский пересыльный пункт. Но вы дайте мне честное слово, что не перейдете на сторону врагов!

Конечно, такое условие, поставленное мне, может показаться и странным, и неумным. Что стоило бы дать честное слово для человека, решившего изменить своей родине! И дело тут, конечно, не в честном слове. Я думаю, лейтенант просто понял человека, стоявшего перед ним, и поверил в мою искренность. А раз он поверил человеку, то он верил и его честному слову и хотел подчер-

кнуть это. Может быть, конечно, дело обстояло и проще: он действительно посочувствовал мне — едва ли часто приходилось военному видеть людей, рвущихся на фронт из тыла! — но, приняв решение, столь круто расходившееся с первоначальной позицией, не хотел показать этого и для виду обставил этот поворот добавочным условием.

К сожалению, я не знаю имени лейтенанта из Соломбальского райвоенкомата и только могу здесь еще раз высказать ему мою глубокую благодарность и подтвердить, что данное ему честное слово я сдержал*.

Итак, я дал ему честное слово. Тогда лейтенант заявил мне:

— Сегодня суббота. Скоро наступит комендантский час. Вам следует, пока не поздно, получить место в гостинице. И мне пора уходить. Завтра военкомат не работает. В понедельник приходите сюда, и я оформлю документы, с которыми направлю вас в армейский пересыльный пункт.

Я поблагодарил его, и мы попрощались до послезавтра.

* * *

Я вышел на улицу. Казалось бы, все шло хорошо. Но до понедельника все могло перемениться в обратном направлении...

Гостиница находилась тут же в Соломбале. Помещалась она в сравнительно новом здании, — по крайней мере, вестибюль произвел на меня хорошее впечатление. Но на вопрос об отдельном номере или хотя бы кровати в общем номере мне ответили, что свободных мест нет. В вестибюле висел телефонный аппарат. Я стал звонить в другие гостиницы. Один и тот же стереотипный ответ: мест нет нигде.

Выйдя на улицу, я стал думать, что же мне делать. Решил обратиться к частным гражданам. Вот айсор — чистильщик сапог, расположившийся на панели, собирает свои приспособления и хочет уходить: его рабочий день тоже кончился. Я подошел к нему и

* Прошло более четверти века с этого дня. Но здесь я впервые рассказываю о том, как все произошло в действительности. Не боясь за себя, но опасаясь подвести этого человека, который рискнул послушаться распоряжения свыше, и навлечь на него всякие беды, — ибо срока давности по политическим делам в СССР не существует, а органы вездесущи, — я все двадцать пять лет рассказывал друзьям и близким такую безопасную для него версию: этот лейтенант будто бы направил меня все же к военному Архангельска, тот кричал на меня, оскорблял: «Мерзавец, я тебя насквозь вижу, ты хочешь к немцам перебежать!», а я будто бы отвечал, что он волен оскорблять меня как угодно, но не вправе отказать в моем праве защищать родину. И, наконец, устав кричать, он выписал мне направление на армейский пересыльный пункт. Прошу здесь прощения у всех, кого я своим рассказом вводил в заблуждение, и у незнакомого мне архангельского военного комиссара, которого я поневоле очернил.

попросил пустить переночевать за плату. Он окинул взглядом мой лагерный костюм с роскошными желтыми нашивками и категорически заявил, что у него нет места. Тогда я подошел к какой-то старушке. Опять взгляд на костюм и отказ. Действительно, кто пустит к себе ночевать человека, вышедшего из лагеря, — может быть, закоренелого вора или бандита?

После ряда таких неудачных попыток я решил, что мне остается одно — обратиться в милицию. Увидев милиционера, я подошел к нему и объяснил свое положение. Он сказал, что я поступаю правильно:

— В милиции и переночуете. Я как раз иду в отделение.

Отделение милиции находилось неподалеку — небольшой деревянный домик. Мы вошли в комнату, разделенную аркой. За столом сидел другой милиционер и писал — составлял протокол на двух мальчишек, задержанных на базаре за кражу.

Мой спутник подошел к товарищу:

— Вот, — сказал он, — я задержал на улице человека из лагеря.

Я запротестовал, но милиционер, сидевший за столом, указал на деревянный диван за аркой:

— Сейчас разберемся. Вот только кончу с этими, — и продолжал составлять протокол.

Милиционер, приведший меня, остался в комнате.

Стемнело. Зажгли единственную электрическую лампочку, свисавшую с потолка над столом. За аркой, там, где я сидел, была полутьма. Мне нечего было бояться. Если меня задержат, то, наверное, только до наведения справки в военном комиссариате...

И тут я вспомнил про сапожный нож, лежащий у меня в мешке. Какую я сделал глупость, что, совершенно забыв о нем, не выбросил его, подходя к городу! Ведь его могли посчитать оружием, за ношение которого, узнав, что я не сапожник, мне могли присудить новых несколько лет заключения, особенно сейчас, «по законам военного времени».

Мысль работала быстро. Я сделал вид, что переобуваюсь. Полутьма способствовала моему замыслу. Я снял ботинок, развязал мешок, засунул туда руку, на ощупь нашел нож, наклонился и вложил это плоское лезвие в ботинок. Если меня захотят обыскать, то, вероятно, ограничатся мешком и карманами. Я немного успокоился: во всяком случае, я сделал все что мог.

Прошло много времени. Стало уже совсем темно за окном. Милиционер все еще составлял протокол, а мальчишки, хныча, давали ему показания. «Задержавший» меня сотрудник поклевывал носом, сидя на стуле.

Дверь отворилась, и вошел третий милиционер. Вероятно, он был начальником отделения, так как оба находившихся в комнате сотрудника встали. Один из них доложил о допросе воришек, а

другой — о задержанном им гражданине из лагеря. Начальник отделения повернулся ко мне:

— А вы что скажете? Почему вас задержали?

Я встал, вышел в освещенную часть комнаты и объяснил, как было дело. Начальник опять обратился к милиционеру:

— Это верно, что он сам подошел к тебе?

— Да, он подошел ко мне, а я его задержал.

— Но гражданин правильно обратился к тебе. Раз ему негде было ночевать, ему больше ничего не оставалось делать.

Он сказал мне, что позвонит в гостиницы сам, и подошел к телефону. Всюду ему отвечали, что свободных мест нет. Тогда начальник взял клочок бумаги, что-то написал на нем, сложил листок и подал мне.

— Вот, — произнес он, — пойдете по этому адресу. Это совсем рядом. Пройдете два квартала налево. Дом на углу. Там и переночуете. Записку передайте женщине, которая откроет вам дверь. Если встретите патруль, то покажите записку.

Я поблагодарил его. Дойдя по ночной улице до первого пустыря, я снял ботинок, вынул нож и забросил его в кусты. Только тогда я вздохнул спокойно.

* * *

Дом на углу, перед которым я остановился, был обыкновенным пятистенком довольно невзрачного вида. На стук вышла женщина средних лет. Прочитав записку, она ввела меня в кухню с русской печью, деревянными лавками, очень бедно обставленную, и, указав на пол, сказала:

— Устраивайтесь. Здесь и переночуете.

Оставив меня в темной кухне, она ушла в комнату.

В этот день я много ходил и много пережил самых противоположных терзаний. Естественно, я страшно устал. Хоть не ел с утра, но даже не вспомнил о еде. Спать, спать! Я достал из мешка зимнее пальто, постелил на пол и, не раздеваясь, сняв только ботинки, лег на него и заснул мертвым сном.

Но, по-видимому, я спал очень недолго. Меня разбудило неприятное ощущение во всем теле. Зажег спичку и с отвращением увидел клопов, которые двигались на меня тучами. Никогда в жизни я не видел их в таком количестве. Я был весь покрыт ими. Пришлось вступить в борьбу с этим новым врагом. Тщетно я уничтожал их до самого рассвета — появлялись все новые и новые. Когда забрезжил рассвет, я отказался от сопротивления и уснул, предоставив себя в их распоряжение. Уже засыпая, я увидел, как открылась наружная дверь. В кухню вошел начальник отделения и проследовал в комнату. Я понял, что ночевал в его доме.

Когда я проснулся, солнце уже заливало лучами кухню, и от этого она выглядела еще бедней. Мои ночные враги отступили и скрылись. Остались только трупы, свидетельствовавшие о жаркой ночной схватке...

Я составил себе план того, что должен сделать сегодня. С утра — в баню. Смыть с себя усталость вчерашнего дня, следы ночной битвы, смыть лагерь, смыть все неприятности и беды. Солнечное утро вливало бодрость и желание верить, что все самое худшее осталось позади. А если и случится тот зигзаг судьбы, возможность которого пугала меня вчера, то хоть сегодня я буду свободным.

Потом на базар. Загнать все свое барахло, освободиться от тяжелого мешка, также связанного с лагерным прошлым. Солдату ничего не нужно: в армии оденут и накормят. А вырученных грошей хватит на то, чтобы безбедно прожить сегодняшний день.

Третья задача на сегодня состояла в том, чтобы найти ночлег. Было бы очень неделикатно злоупотребить гостеприимством моего случайного хозяина. Тем более что у меня было письмо из лагеря. Очень славный юноша, сидевший за то, что его отец служил когда-то в царской полиции, просил меня зайти к его родным, жившим в Архангельске, и передать им письмо.

В кухне появилась хозяйка. Мы разговорились. Разглядев меня при свете дня, она прониклась ко мне доверием, поставила самовар, напоила меня чаем и с женской словоохотливостью выложила свои недуги.

Главная беда — муж. Хороший человек, добрый, но уж очень «принципиальный».

— Смотрите, как живем, — говорила она. — Начальник отделения, а живем хуже любого милиционера. Сыну нечего надеть в школу. Живем хуже нищих!

Я вспомнил его мужа. Высокий, стройный, с запоминающимся лицом, он, вероятно, был «белой вороной» среди своих сослуживцев. Своим вчерашним отношением ко мне он доказал свою доброту и справедливость. Такой человек достоин уважения, но понятно, что порядочность в условиях советской провинции военного времени мешает его благополучию.

Мне хотелось хоть как-то отблагодарить своих хозяев.

— Извините меня, но вот этот костюм, хотя и неважный, но совершенно новый. Я иду в армию, мне ничего не нужно. Если вы отпорете желтые заплаты, то он может пригодиться вашему мальчику. Позвольте мне отдать его вам.

— Ну что вы, зачем! Он вам самим еще пригодится...

Но долго уговаривать не пришлось, и она с благодарностью взяла костюм.

Вымывшись в бане, я пришел на базар. Он был очень оживленным. Среди шумящей, кричащей толпы бродили английские и американские матросы, продававшие сигареты и жевательную резинку. Я быстро опорожнил свой мешок. Я не торговался, продавал за первую предложенную мне цену, и все же выручил что-то. С наслаждением дымя отличной английской сигаретой, я вернулся в «дом на углу».

Хозяин был дома. Мы побеседовали, я сообщил ему, что ухажу, и поблагодарил за все, что он сделал для меня, совершенно незнакомого человека и к тому же вчерашнего заключенного. Он откровенно сказал, что действительно ему, в силу его положения, неудобно предоставлять мне дольше приют, и посоветовал проехать в «Дом колхозника», который, кстати, находится рядом с армейским пересыльным пунктом.

Простившись с хозяевами, я сел в трамвай и поехал в «Дом колхозника». Там, к моему удивлению, оказались свободные кровати. Я предъявил свой документ — справку из лагеря. Проходя по коридору в назначенную мне комнату, я увидел целый ряд комнат с незанятыми, аккуратно застеленными кроватями. Войдя в свой многоместный (общий) номер, я нашел там только незастеленные кровати с лежащими на них грязными матрацами и вернулся к кассе. Девушка, сидевшая там, совершенно спокойно заявила мне:

— А что вы хотите? Вы из лагеря, а ваш брат лагерник и кровать вынесет, не то что подушку и одеяло.

Побеседовав с ней, мне удалось завоевать ее доверие, и она переменила номер.

Успокоившись насчет кровати на ночь, я разыскал дом, в котором жили родные Сережи — того юноши, который просил меня передать письмо. В квартире, занимаемой его семьей, я застал только его старую няню. Передал письмо, рассказал о ее питомце и возвратился в «Дом колхозника». Было уже поздно; закусив бывшими у меня продуктами и напившись чаю, я лег спать. В номере стоял десяток кроватей, но, кроме меня, не было ни одного постояльца.

Наутро я сел в трамвай и поехал в военкомат. Сейчас я узнаю свою судьбу. Опасения на этот счет очень волновали меня. В военкомате я увидел худощавого, низенького подростка, выглядевшего совсем еще мальчиком. Где-то я видел уже его — вероятно, в лагере среди уроков. Сдерживая волнение, я подошел к окошку. За ним сидел лейтенант. Он ответил на мое приветствие и, протягивая запечатанный пакет, проговорил:

— Все готово. Эти документы сдадите на пересыльном пункте. Тут документы на вас и на... (он назвал незнакомую мне фамилию). Этот гражданин из вашего лагеря, и вам поручается доставить его и сдать. Желаю вам успеха!

Я взял пакет, расписался, еще раз поблагодарил — все заботы, все опасения, терзавшие меня, вроде бы окончились.

По дороге к остановке трамвая подросток сказал, что знает меня по лагерю. Оказалось, что ему уже более восемнадцати лет и после окончания срока заключения его как осужденного не по политической статье сразу призвали в армию. На вид я дал бы ему лет четырнадцать, не больше, — таким он казался хилым и слабым. По прибытии в запасной полк он заболел и умер. Говорили, что, наголодавшись в лагере, он сразу съел все продукты, выданные ему на дорогу в связи с освобождением...

День выдался жаркий. Сойдя с трамвая, мы увидели очередь у ларька, где продавали подкрашенную и подслащенную сахарином воду. Хотелось пить, и я встал в очередь, а парнишка вертелся около ларька. Предстояло долгое ожидание. Вдруг мой подопечный появился возле меня с двумя поллитровыми банками в руках (стаканов не было, и вместо них воду пили из стеклянных банок для овощных консервов). Я сразу заподозрил его в краже.

— Ловкость рук и никакого мошенства! — подмигивая мне, сказал этот воин.

Мне ничего больше не оставалось, как постараться поскорее сдать его на пересыльный пункт.

На территории пункта бродили толпы мобилизованных. Нас разместили в полуподвальном помещении. Когда я уходил из лагеря, товарищи посоветовали мне разыскать на пересыльном пункте Михаила Емельяновича Удалеева — художника, ранее работавшего в художественной мастерской лагеря, после освобождения призванного в армию и пристроившегося по своей специальности на пункте. Мне, по существу, ничего от него не было нужно, но, в безделье слоняясь по пункту, я набрел на него.

Он и еще несколько человек работали в большой комнате, писали лозунги, портреты и плакаты. По-видимому, эта работа была настолько важной, что надежно ограждала от фронта. Удалеев сразу же предложил похлопотать за меня перед начальством и очень удивился, когда я отказался от его протекции и сказал, что хочу поскорее попасть в действующую армию.

К вечеру из подвала, в котором нас разместили, стали вызывать желающих поработать на кухне. Уже узнав о трех заповедях солдата — торопись медленно, не попадайся на глаза начальству и не отставай от кухни, — я отправился помогать в кухонных работах в тот самый «Дом колхозника», в котором провел предыдущую ночь. Работу мне дали самую неквалифицированную — чис-

тить картофель, но на большее я и не мог претендовать. Зато накормили ужином.

Часа через три, когда начало темнеть, на кухню пришел сержант. Он вызвал нескольких человек, в том числе и меня:

— Быстро строиться — и на отправку!

Прибежали на пересыльный пункт, откуда по уже темным улицам Архангельска большую группу солдат повели на пристань, посадили на маленькие пароходики и переправили через Двину. Затем строем же отвели на станцию и рассадили по вагонам пассажирского поезда. Вскоре поезд тронулся. Я был доволен. Прощай, Архангельск, прощайте, лагерь!

* * *

В вагоне были и гражданские пассажиры — и среди них один ленинградец, возвращавшийся из командировки. Я разговорился с ним. Это был человек еще молодой, упитанный, так что не верилось, что он пережил блокаду, как он сам рассказывал. Правда, он говорил, что после прорыва блокады Ленинград ожил и питание населения значительно улучшилось. В армии наш спутник не служил, а работал в каком-то гражданском учреждении.

Дорогой, на станциях, продавали кое-какие продукты. Я купил свежей лесной земляники и ел ее — в первый раз за пять лет.

Но вдоль железнодорожного пути часто попадались бараки, колючая проволока, вышки с часowymi. Они напоминали о призрачности свободы, напоминали о сталинском режиме...

На следующий день, к вечеру, поезд подошел к вологодскому вокзалу. Нас построили и провели через город в 34-й запасной стрелковый полк 29-й стрелковой бригады. Полк был размещен на обширной территории какой-то недостроенной фабрики на окраине города, где стояло несколько больших кирпичных зданий, барачков и палаток. Наутро все новоприбывшие предстали перед распределительной комиссией, которая направила меня в роту 50-мм минометов. Выдали чистое, но старое и разношерстное обмундирование. Так 21 июля 1943 года начался новый период моей жизни: служба в армии.

* * *

Подготовку мы проходили весьма ускоренную: почти не было строевой подготовки, уставы не изучались вовсе. Учебная стрельба из винтовки и штыковой бой проводились только один раз. Но зато ежедневно мы выходили в рощу за пределы полка и там занимались материальной частью 50-мм миномета и обращением с ним. После нескольких первых занятий наши командиры, лейтенанты и сержанты, по приходе в рощу ложились вздремнуть, а

занятия с личным составом поручали грамотным товарищам из нашего числа. Меня лично от этих занятий часто отвлекал парторг роты, чтобы сочинять и иллюстрировать ротную стенную газету.

Среди моих товарищей по роте, очень разных по возрасту, были такие, кто старался всячески увильнуть от отправки на фронт. Были также урки и бытовики, только что окончившие срок заключения в лагере. Именно из них в роте образовалась целая шайка, занимавшаяся кражами у своих же товарищей и у гражданского населения.

Как-то меня угораздило здесь простудиться, так что с неделю я пролежал в полковой больнице. К концу этой недели в палату пришел один из товарищей по роте. Он рассказал, что сегодня большая отправка на фронт и, поскольку отправляют и нашу роту, он пришел проститься со мной. Меня это взволновало — я ведь надеялся поскорее попасть в действующую армию. В тот же день при обходе врача я начал настаивать на выписке. Я уже чувствовал себя здоровым, несмотря на несколько повышенную температуру, и рассказал врачу, что сегодня моих товарищей отправляют на фронт. Старик врач ответил на это смехом.

— Вот чудак, — произнес он, — другой бы радовался, оставшись в запасном полку еще на месяц! — И добавил тоном приказа: — Лежите, пока я вас не выпишу! Убить вас еще успеют.

Доктор вышел, а я, не говоря ни слова товарищам по палате, вскочил и в больничном халате прошел в отдельный домик, где хранилась наша одежда. Там работали две милостивые девушки, с которыми я успел пофлиртовать при поступлении в госпиталь. Через пять минут я уже бежал в казарму роты.

В казарме я не искал начальства. Поздно было к нему обращаться. Я понимал, что единственный человек, могущий все устроить, это ротный писарь. Найдя его, я изложил свою просьбу. Он сначала, так сказать, для приличия заявил, что уже, дескать, поздно, что был смотр и принятие присяги (!) и что в данный момент отправляемые переодеваются на плацу в новую форму. Потом он выразил удивление моему желанию присоединиться к ним, ибо многие стараются задержаться в запасном полку, и под конец сказал, что если я уж так настаиваю, то должен скорее идти на плац, найти там такого-то из нашей роты, сказать ему, чтобы он немедленно явился к писарю. А я, надев на себя выданное ему обмундирование и сдав старое, должен стать в строй для отправки. Но ничего не докладывать начальству — он сам доложит все, что надо.

Указанный мне человек уже переодевался на плацу, заполненном солдатами. Не пытаясь скрыть свою радость, он тут же отдал мне новую шинель и прочее обмундирование, надел снова старое и, забыв даже попрощаться, заспешил в канцелярию роты. Об-

мундирование, состоявшее из американской шинели и американских же ботинок желтого цвета, а также прочей одежды отечественного производства оказалось мне впору.

Нас построили в длинную колонну поротно и повели на вокзал. Много народу вышло провожать нас на улицы города. Вероятно, были и те, кто провожал своих родных или знакомых. Но большая часть горожан просто провожала бойцов на фронт. Женщины плакали. Даже теперь при воспоминании слезы навертываются на глаза. Люди провожали своих защитников, как близких родных. Все знали, что многие из нас больше не вернутся.

* * *

Приходится признаться, что мне очень не хотелось воевать на северных фронтах. Этот север с его болотами и холодами осточертел мне в лагере. И как ни приятно было бы защищать, скажем, родной город, я все же предпочел бы какой-либо из южных фронтов.

Маршрут эшелона сохранялся в тайне. Мы ехали долго, останавливаясь на путях, довольно-таки удаленных от вокзалов. Но как-то, проезжая мимо крупного города, я прочел на фронте его вокзала надпись: «Ярославль». Отсюда я сделал вывод, что попаду, наверное, на Центральный фронт.

И вот эшелон остановился в лесу. Был теплый день. Всех высадили, поезд ушел. Вокруг не было никакого жилья — только красивый лес и железнодорожный путь. Нас проверили по спискам, разожгли огонь в походных кухнях и накормили всех горячей едой, потом построили, приказали скатать шинели и походным маршем повели в глубину леса.

Стоустая молва уже успела оповестить, что нас высадили в Воронежской области и ведут в лес потому, что в нем расположилась для пополнения часть 28-й армии Южного фронта.

И вот обширная поляна с несколькими палатками. Перед ними группы офицеров и солдат. Нас построили на поляне и после приветствия, произнесенного кем-то из командования, стали вызывать артиллеристов, минометчиков, саперов. Я попал в роту 120-мм минометов. Уже в значительно меньшем числе нас, минометчиков, повели в полк той же лесной дорогой.

* * *

Службу в действующей армии я начал подносчиком мин в 990-м стрелковом полку 230-й стрелковой дивизии. Помню, что нас обильно кормили, и я после лагерных голодных лет никак не мог удовлетворить свой аппетит. Первое время мне неоднократно удавалось съесть почти по два котелка каши за один присест.

Спустя дней десять полк снялся с места и по железной дороге мимо сильно разрушенного Воронежа передислоцировался в какой-то город на Северском Донце. Проведя в нем одну ночь, мы переправились через реку и двинулись в наступление на Донбасс. Пехота передвигалась своим ходом, то есть пешим порядком, полковая артиллерия использовала лошадиные упряжки. На минометные расчеты полагалось по одной повозке, запряженной парой лошадей. Расчет следовал за повозкой пешком, и только в исключительных случаях все шесть человек расчета вскакивали на повозку, где лежали миномет, плита, двуногий лафет, несколько ящиков с минами. Пехотинцы были вооружены трехлинейными винтовками, минометчики — карабинами.

Наше соединение формировалось в Астрахани, и его гужевая рота состояла из пароконных повозок, в которые впрягались кони и верблюды. Верблюдов не стало, только когда мы уже наступали в Западной Белоруссии. Они подорвались на минах или были убиты немцами при обстрелах, и лишь один из них дошел до самого Берлина.

От всего пребывания на войне у меня сохранилось впечатление о быстром наступлении или, во всяком случае, постоянном продвижении наших войск. Задержки, остановки почти не запечатлелись в памяти. Вот чем я это объясняю. Всякое перемещение, да еще при тех несовершенных транспортных средствах, какие мы имели, требовало от солдат большого напряжения сил. Отсюда и постоянная усталость, еще более увеличиваемая вечным недосыпанием.

Лето было сухое и жаркое, на листьях деревьев лежала густая пыль. Особенно в дневное время двигаться было тяжело. К счастью, немецкие самолеты редко появлялись в воздухе. Над нами часто кружил только разведывательный самолет немцев, прозванный бойцами «рамой». Мы проходили города и села Донбасса, все еще не вступая в бой — передовые части очищали от врага лежавшую впереди местность.

Первые месяцы в действующей армии были для меня очень тяжелыми. На счастье, до заключения я всегда много ходил пешком, пронес эту привычку через лагеря и теперь сравнительно легко переносил длительные пешие переходы. Но странное дело, когда в редких случаях подавалась команда сесть на повозку, у меня это просто не получалось, тем более что, принимая во внимание боевые условия, садиться приходилось на ходу. Даже во время особенно утомительных переходов, когда разрешалось по очереди прилечь рядом с минометом, в то время как лошади шли шагом, я старался принять по возможности бодрый, молодецкватый вид и отказывался от этой роскоши, чтобы не показать товарищам свою слабость. Вскочить на повозку даже на тихом ходу было для меня много трудней, чем продолжать путь пешком.

Но особенно тяжело мне было копать землю — опять-таки сказывалось недавнее тюремное и лагерное прошлое. Напряжение ослабевшего тела в согбенном положении причиняло страшную боль, особенно в пояснице. А между тем минометчикам придется копать очень много: при каждой перемене позиции нужно отрыть профиль для миномета и ячейку для себя. Сплошь и рядом, едва расчет выроет профиль, по связи приходит команда перенести позицию на 100 или 50 метров левее или правее. Приходится покидать отрытый профиль и готовить новый...

По уставу полагалось рыть щели для расчета раньше, чем профиль. Но у нас это не соблюдалось никогда. Сначала рыли профиль и устанавливали в нем миномет, а затем уже принимались за щели. Да это и понятно: огонь по врагу нельзя было задерживать.

А я использовал такое неизбежное нарушение устава в личных целях. Ведь, окончив с товарищами рытье профиля, я уже был не в состоянии рыть щель для себя. Если дело было к ночи и не требовалось сразу же открывать огонь, я заворачивался в шинель и ложился под какой-нибудь куст, не обращая внимания на обстрел со стороны противника.

Сначала товарищи считали мое поведение проявлением бестрашия, не зная истинной его причины. Потом, постепенно привязавшись ко мне, стали бранить меня за неразумное пренебрежение опасностью. Но должен сказать не хвастаясь: страху у меня действительно не было. Слабость — результат пятилетнего пребывания в тюрьмах и лагерях, перенесенных истязаний и болезней, страшного голода — делала меня неполноценным солдатом. Но, может быть, отчасти именно по этим причинам, повидав страшного очень много, перенеся многое, но не согнувшись под этими муками и испытаниями, я не чувствовал страха перед открытым врагом и его средствами подавления.

Ни разу не охватило меня и стадное чувство паники. Только позднее, когда я перешел в пехоту, я один раз испытал неприятное ощущение. Меня вызвали в штаб полка, чтобы объявить о включении в список солдат, бывших в заключении и теперь подлежащих снятию судимости за участие в боевых действиях. Возвращаясь в окопы по открытому полю, я услышал визг пуль, которые все плотнее ложились вокруг меня. Я понял, что фигура одинокого солдата сделалась мишенью для немецких снайперов. Это происходило в декабре 1943 года. Поле было покрыто чередующимися квадратами скошенной пшеницы и полеглого подсолнечника. Неприятное ощущение кружащей рядом смерти заставило меня изменить способ движения, делать перебежку через квадраты сжатой пшеницы с остановками в полегшем подсолнечнике...

В октябре Южный фронт был переименован в 4-й Украинский. В октябре же я был контужен при взрыве противотанковой мины, на которую наехала повозка нашего расчета. Лошади были убиты и далеко отброшены, ездовой тяжело ранен. Меня хотели отправить в госпиталь, но я остался в расчете.

В начале ноября армия вышла к низовьям Днепра. К Днепру мы подходили сплошным потоком. На грейдере перемешались пехота, артиллерия и повозки с минометами. От реки слышался гул орудийных залпов. На берегу мы вошли в большое село, установили в нем минометы и били из них по немцам, занимавшим противоположный берег.

Село, повторю, было большое, с садами и многочисленными улицами. Населения в нем осталось много. Я обратил внимание на некоторые хаты, стоявшие полуразрушенными, без кровель, с оплывшими стенами, и спросил у старика, местного жителя, неужели за два года войны эти хаты, явно не разрушенные снарядами, могли прийти в такой вид. «Та ни», — ответил он и объяснил, что хаты разрушены временем. Хозяев их забрали задолго до войны, и с тех пор хаты стали необитаемыми. Я вспомнил лагерь. Сколько в нем находилось украинцев! И бараки на неприветливой северной земле, построенные высланными с Украины, «раскулаченными» семьями...

После форсирования Днепра армию или, может быть, ее часть перебросили на никопольский плацдарм, чтобы ликвидировать клин на левом берегу реки, удерживаемый немцами для обеспечения вывода войск из Крыма.

Как раз в это время в пехоте ощущался острый недостаток людей; у меня же сложились скверные отношения с командиром расчета — старшим сержантом (молодой еще парень, он не отличался порядочностью, злоупотреблял своей властью над расчетом, да и к населению освобожденных нами мест относился вымогательски), но мне удалось «отпроситься» в пехоту, и я был назначен в нашем же полку командиром отделения.

В нашем взводе насчитывалось всего около двадцати штыков, то есть меньше половины штатного состава. Постоянно поступало пополнение — каждый раз несколько человек — за счет внутренних ресурсов полка: поваров, писарей и прочих. Но фактически количество штыков не увеличивалось из-за почти ежедневных потерь в людях.

Для ликвидации никопольского плацдарма немцев командование явно не имело достаточных сил. Наше положение осложнялось тем, что распутица не допускала какого-либо передвижения артиллерии и транспорта вообще. Даже стрелковые части были

вынуждены сами подносить из тыла ящики с патронами. Пища также доставлялась нам в наплечных термосах пешим ходом. Но самым неприятным для нас, солдат, было то, что мы не мылись в бане и не раздевались, так как враг мог в любое время атаковать нас. И его союзники, вши, развелись и досаждали нам не меньше немцев.

У немцев было то преимущество перед нами, что их части, расположенные в окопах на передовой позиции, периодически сменялись. Но все же это им не помогло. Когда я уже лежал в госпитале, поступавшие туда с передовой рассказывали о наступлении наших частей и ликвидации никопольского плацдарма. Получив пополнение людьми, наши войска двинулись без артиллерийской подготовки, смяли немцев и отбросили их за Днепр.

* * *

Я пробыл на плацдарме немногим меньше месяца. За этот месяц мы время от времени разными ротами, на разных участках вели ложное наступление, чтобы, поддерживая нажим на противника, не дать ему почувствовать нашу слабость. Во время одной из таких ложных атак в декабре 1943 года я был ранен осколком мины в правое колено. С поля боя меня доставили в полевой передвижной госпиталь, где я пробыл до 15 апреля следующего года. Госпиталь стоял в большом украинском селе к востоку от Днепра. Около полутора месяцев я лежал в палате, устроенной в большом сарае, а затем пребывал в команде выздоравливающих.

Начальником госпиталя был пожилой здоровенный мужчина, бывший военный фельдшер царского флота, — один из тех типов, про которых ходила поговорка: «Нет больше сволочей, чем генералы из врачей». Начальник госпиталя с неприязнью относился к людям интеллигентным, да, впрочем, и ко всем окружающим. В палаты он ни разу не зашел — по крайней мере, за время моего пребывания там, — зато много времени уделял преферансу. При нем состояли девушка-ленинградка и собственный сын призывного возраста, — считалось, что они занимают какие-то должности в госпитале.

Здесь произошло событие, воспринятое обитателями нашего госпиталя по-разному, — я говорю о появлении нового государственного гимна. Личный состав госпиталя и выздоравливающих обучали его исполнению. Многие высказывались в таком духе, что, дескать, новый гимн чем-то напоминает «Боже, царя храни». Действительно, его тягучая мелодия не шла в сравнение с энергичным ритмом «Интернационала», бывшего советским государственным гимном более двадцати лет и для всех привычного.

Пришло время, когда фронт ушел вперед и госпиталь также передислоцировался — в какую-то усадьбу с каменными домами, к западу от Херсона. Отсюда меня выписали в армейский запасной полк. Мне придали еще пять человек из команды выздоравливающих, выдали необходимые бумаги и продуктовый аттестат на всю группу. Запасной полк стоял в нескольких километрах, и мы пешком по полям направились туда. Проблуждав часа три, мы разыскали полк, но нас не приняли, поскольку он как раз передислоцировался и было не до нас. Отправили обратно в госпиталь... Но, вернувшись, мы нашли знакомые дома пустыми. Их собиралась занять другая часть. Какой-то офицер сказал, что 28-ю армию перебрасывают срочно на север, так что госпиталь надо искать на ближайшей железнодорожной станции.

Поплелись туда. Время близилось к вечеру, а когда мы добрались до станции, уже начало темнеть. Там стояло несколько эшелонов, в которые грузились части нашей армии — пехота, пушки, танки. Госпиталя нашего не было. Мои спутники держались совершенно пассивно: я старший, мне и отвечать за них.

Я обратился за помощью к военному коменданту станции — разыскал его и доложил положение, в котором мы оказались. Он посоветовал мне догонять госпиталь и сказал, что не имеет права сообщить, куда перебрасывается армия, но может дать мне «аннушку», то есть указать название одной из промежуточных станций в направлении пути эшелонов. Я впервые услышал этот термин (кстати, по сей день не знаю, откуда он происходит). Нам следовало добираться до Полтавы, а там спросить «аннушку» уже у полтавского станционного коменданта.

Так мы и сделали. Сели на платформу, груженную каким-то интендантским имуществом, и довольно долго ехали по только что восстановленной железной дороге.

Прибыли в Полтаву, получили продукты по аттестату и на другой день явились к коменданту станции. Он сообщил нам «аннушку» — Бахмач, и с одним из воинских эшелонов мы добрались туда.

В нашей компании, состоявшей из сравнительно молодых ребят, находился пожилой солдат, в котором не было ровно ничего военного. До армии он был портным. Теперь он стал приставать ко мне с просьбами отпустить его домой: он, мол, доберется без всяких документов. Я понимал, что толку от такого солдата нет, но все же боялся, что он дезертирует независимо от того, отпущу я его или нет. Однако просто сбежать без моего, так сказать, позволения он не решался, хотя легко мог это сделать. Так и путе-

шествовал с нами этот убеленный сединами портной, досаждая мне слезливыми просьбами.

В Бахмаче «аннушка» была дана нам до города Новозыбкова, находившегося уже в Брянской области. Туда мы доехали в пассажирском поезде, составленном из жестких вагонов, битком набитых мирными жителями.

Поезд пришел в Новозыбков ночью. Мои подопечные улеглись на полу переполненного народом вокзала и заснули мертвым сном. Вдруг я увидел наряд железнодорожных войск, относящихся к системе НКВД. Наряд был занят проверкой документов у скопившихся на вокзале людей. Подойдя ближе, они потребовали документы и у нас. Не будя товарищей, я предъявил направление в запасной полк, другие бумаги и аттестат. Они требовали командировочное предписание, которого не было, и я объяснил причину его отсутствия. Тогда старший наряда объявил, что мы задержаны, и велел будить товарищей.

Я сообразил, что мы влипли в историю. Но мне было известно, что между армией и частями НКВД существовал антагонизм, и глупо было бы не попытаться им воспользоваться. Я отказался будить ребят и потребовал, чтобы меня сначала отвели к военному коменданту станции, который помещался тут же, рядом с залом ожидания.

Расчет оказался правильным. Выслушав мой доклад и проверив документы, военный комендант приказал старшему наряда оставить нас в покое. Когда тот вышел, комендант сказал, что мы прибыли на место. Госпиталь находится в Новозыбкове, и утром мы должны его разыскать.

Наутро, когда моя команда проснулась, я объявил о конце нашего путешествия, и мы пошли по незнакомому городу разыскивать госпиталь.

Новозыбков был типичным для России районным городком. Несколько его церквей и каменных домов возвышались среди деревянных домиков с садами и палисадниками. Кое-где попадались разрушения, причиненные войной. Пройдя немного, мы двинулись вдоль длинного побеленного кирпичного забора. В одном месте в нем зияло отверстие, по-видимому, пробитое снарядом. Проходя мимо, мы увидели в отверстии улыбающееся лицо госпитальной поварихи. Так кончились наши скитания.

* * *

В запасном полку, куда я попал из госпиталя, меня хотели отправить на курсы по подготовке младших лейтенантов, но я воздержался. 18 мая меня «продали» в 13-й трофейный батальон 28-й армии, в котором я пробыл до конца войны. Батальон не то-

лько собирал трофеи, для чего с передовыми частями наших войск входил в оставленные немцами населенные пункты, но и принимал порой непосредственное участие в боевых операциях, а также занимался разминированием захватываемых местностей. Командовал батальоном майор Борис Гаврилович Костенко, а когда под Берлином в самом конце войны он был ранен, его поочередно заменяли начальник штаба капитан Скоморохов, замполит майор Задов и майор Мореплавцев.

Вместе со мной среди нового пополнения батальона находился молодой красноармеец Николай Васильевич Шмелев, с которым мы стали потом друзьями. Меня с самого начала назначили командиром отделения — самого мелкого из существующих в нашей армии подразделений. Ближайшим моим начальником был лейтенант Михаил Егоров, командир взвода — парень неплохой, но малокультурный. В этом же взводе числился техник-лейтенант Николай Васильевич Антонов, ленинградец, умный и деликатный офицер, с которым у меня установились дружеские отношения.

Батальон покинул живописное село под Новозыбковым, где располагался в день нашего прибытия, и в составе армии выступил на запад. Не доходя до Гомеля, я заболел малярией, которой страдал в детстве. Температура у меня поднималась до сорока градусов, но я держался и не покидал свое отделение. Перед нашими глазами проходили города и села Белоруссии, только что освобожденные от врага.

В одном селе, куда мы вошли вместе с передовыми частями, на земле лежали многочисленные трупы немецких солдат вперемежку с тяжелоранеными. Внезапно распространился слух, что немцы нас окружают. Тогда находившийся рядом замполит Егоров отдал распоряжение добить раненых немцев. Лейтенант Егоров приказал взводу исполнять это жестокое и противоречащее законам войны повеление. Лежавшие на земле тяжелораненые — те из них, что находились в сознании, — умоляли знаками наших солдат стрелять в самое сердце, чтобы прикончить быстрее.

Я заявил лейтенанту, что не хочу быть палачом, и отказался от этой чудовищной работы. Отказ от выполнения приказа командира, да еще в боевой обстановке, чуть ли не на поле боя, грозил расстрелом. До сих пор не понимаю, как это сошло мне с рук?..

Вспоминаю один любопытный случай, относящийся к тому же периоду. Однажды мы остановились на хуторе и простояли там два дня. Пришел один из моих товарищей и стал рассказывать, что около хутора отдыхают пленные немцы и среди них «красивая баба». Я не поверил, зная, что немцы стараются не держать женщин на передовой позиции. Пошел посмотреть.

На окраине хутора сидели конвоир и трое пленных, вокруг которых собралась кучка наших солдат. Двое пленных, обыкновенные немецкие деревенские парни, совсем юные, с тупым безразличием смотрели вокруг. Третий — юноша лет шестнадцати-семнадцати, одетый в форму младшего командира, но босой, с нервным, тонким лицом и длинными волосами, которые и заставили наших бойцов принять его за женщину. В то время на Западе молодые щеголи уже начинали носить длинные волосы, но у нас эта мода, получившая теперь широкое распространение, тогда еще не существовала. Я стал свидетелем спора между зрителями. Одни уверяли, что это женщина, другие — что это парень, но только очень «смахивающий на бабу».

Так как в нашей роте, а скорее всего и в батальоне, я был единственным, кто знал в известной степени европейские языки и начальство прибегало к моей помощи, когда требовалось что-либо перевести, то меня и попросили выяснить вопрос о поле пленного.

Я спросил по-немецки. Юноша, по-видимому не желая вступать в разговор, ответил по-французски:

— Я француз!

Тогда я перешел на лучше знакомый мне французский язык. Выяснилось, что пленный — эльзасец, но служил тем не менее в немецкой армии. Мои товарищи попросили сказать ему, что союзники только что высадились во Франции, началось ее освобождение от оккупантов, и этому юноше еще не поздно понять, на чьей стороне он должен сражаться. Однако мой собеседник устало вздохнул и произнес:

— Мне это теперь безразлично. — Он, видимо, уже привык к мысли, что для него война, слава Богу, окончена.

Конвоир и пленные поплелись своей дорогой. А нас ожидали новые бои, многих — ранения и смерть.

* * *

В лесах под Бобруйском мне впервые довелось увидеть зловещую картину разгрома немецких частей. Здесь перемешались автомашины, тягачи, пушки, повозки, люди и кони. Все это было мертво, исковеркано, разбито снарядами нашей артиллерии и бомбами с наших самолетов. Такая картина в дальнейшем еще не раз повторялась на нашем пути.

Во время марша вперед мы как-то остановились на обочине шоссе. Подъехали на машинах и вышли командир батальона и замполит. Между ними завязался спор, вероятно, о том, двигать ли нас дальше. Мы сидели в кузовах грузовиков и не слышали слов. Но вдруг майор Задов выхватил из кобуры пистолет и, потрясая им в воздухе, закричал, что он поведет нас в бой. Майор был великолепен в эту минуту.

Этот человек среднего роста, довольно тучный, с бритым лицом, походил, вообще говоря, на заслуженного артиста еврейско-го театра в Москве. Говорили об его прошлом по-разному: одни — что до войны он был начальником лагеря для заключенных, другие — что хозяйственным работником. Человек недалекий, он очень любил позу. На плохого актера он походил и сейчас, драматически потрясая пистолетом, когда враг был еще далеко впереди.

По-видимому, он переубедил командира батальона и, влезши в грузовик с бойцами, «повел нас в бой». Мы помчались по шоссе, обгоняя вяло тянущуюся пехоту. Перед нами открылось поле ржи и за ним большое село, как выяснилось позже, Ляховичи. Пехотинцы передовых частей перебежками двигались по сторонам шоссе, а мы, оставляя их позади, быстро приближались к залитому солнцем селу.

Должно быть, майор считал, что оно уже оставлено немцами, иначе было бы абсурдом въезжать в него на машине с кучкой слабооруженных людей. Но вдруг из села началась ружейная стрельба по нашему грузовику.

Водитель развернул его и вырвался в поле. Заехав в густую рожь, он остановил машину. Люди выскочили и залегли во ржи. Майор Задов, перепуганный, побледневший, старался втиснуться в межу. Паника усугублялась тем, что в эти мгновения над полем проскочил немецкий самолет, с которого, разумеется, все было видно как на ладони.

Пехота заняла село, выбив из него остатки немецкой части. Водитель вывел машину обратно на шоссе, мы опять забрались в нее и поехали назад. По счастью, никто из нас не был даже ранен. Остановились на хуторе недалеко от села, и майор Задов сел писать политдонесение. Это был первый раз, когда мне пришлось, согласно его распоряжению, писать под его диктовку. Я слушал текст, произносимый очень веско и с пафосом, но совершенно неграмотный, и писал, отыскивая более приемлемую форму.

С этого дня замполит обратил на меня свое благосклонное внимание. Когда в батальон приезжало какое-нибудь начальство, он, увидев меня, подзывал к себе:

— Вот ленинградец, прекрасный солдат, герой. Он мне жизнь спас! — И рассказывал о нашем участии во взятии Ляховичей, которые мы, как ясно из моего рассказа, не брали...

Мне приходилось молчать — замполиту очень уж хотелось изображать себя героем, чудом избежавшим смертельной опасности. А между тем почти любой солдат попадал в переделки, подобные той, в какую Задов втравил всех нас по глупости, не один раз: война есть война. И очень мало кому приходило в голову считать себя и окружающих на этом основании героями.

Недалеко от Барановичей, на небольшой железнодорожной станции, где прошел довольно сильный бой, мы захватили два эшелона с зерном. Отсюда батальон двинулся на Брест. На беду, я не вовремя попался на глаза начальству, и меня с одним солдатом оставили на этой станции. Я должен был охранять эшелоны и сдать их, когда подойдет тылы.

Мы с напарником по имени Иван устроились в одном из вагонов. Иван был глух, но отлично играл на баяне и по движению губ собеседника понимал все, что тот говорит. Мы пробыли на станции около недели. Завели дружеские отношения с населением поселка, особенно с молодежью. К нам относились хорошо, но и молодые и старые в этих местах очень боялись советской власти, а именно колхозов. До войны эта область принадлежала Польше; дурная слава колхозов, как известно, уже тогда распространилась далеко за пределы нашей страны.

Вдоль железной дороги стоял густой лес. На его опушке, километрах в трех от станции, лежали сотни расстрелянных — мужчины, женщины и дети. Это были обитатели барановичского гетто, которых пригнали отсюда на расстрел, когда немцам пришлось отступить и оставить Барановичи.

Земля возле станции была изрыта воронками от снарядов. В этих воронках жители пристанционного поселка погребли трупы немцев, убитых в бою за станцию. Среди убитых был офицер вермахта, владелец овчарки. И во все время нашего пребывания на станции она лежала на могиле своего хозяина, отлучаясь только для того, чтобы раздобыть себе где-нибудь пищу. Когда кто-нибудь приближался к могиле, она свирепо рычала, оцетинив шерсть. Иван хотел пристрелить ее, но я его отговорил. Такая преданность пса хозяину тронула меня.

Сдав трофейное зерно, мы отправились на поиски нашей части. В Бресте удалось узнать, что батальон находится уже в Седлеце, на территории Польши. Седлец оказался красивым городом, на улицах встречалось много народу, среди прохожих часто попадались поразившие нас монахини в черных одеждах и высоких головных уборах.

Однако наша рота стояла еще дальше — в Минске-Мазовецком. Когда я добирался туда из Седлеца, мне поручили доставить в роту одного солдата — пожилого, тощего и бородатого азербайджанца Тамирова, по какой-то причине отставшего. Мне всегда было обидно за этого почти старика, из которого товарищи и начальство сделали ротного шута.

Начальство неумно оправдывало это тем, что у солдат следует поднимать настроение. Жалкого пожилого человека заставляли

танцевать и смеялись, когда он делал вид, что танцует лихой азербайджанский танец, кое-как шевеля худыми ногами и взмахивая кулаками. Он, конечно, понимал, что играет роль шута, но считал, видимо, что в армии так легче прожить. Очень плохо говоря по-русски, он часто обращался к замполиту с дурацкими вопросами под дружный хохот товарищей:

— Товарищ майор, а баришня можно?

— Ни-ни, Тамиров, ни в коем случае нельзя!

— Ай-яй-яй. А немецкий баришня можно?

— Вот дойдем до Берлина, тогда можно.

На родине у него осталась семья — жена и дети. И если кто-нибудь из товарищей начинал прохаживаться насчет их нравственности, Тамиров набрасывался на шутника с кулаками. В Минске-Мазовецком он неоднократно просил меня писать письмо домой под его диктовку. Эти очень длинные письма состояли только из стереотипных фраз: «Фатма поклон, Хасан поклон...» и т.д. Приходилось от себя приписывать о его здоровье и солдатском быте.

* * *

К минско-мазовецкому периоду относится мое столкновение с ближайшим начальством.

Уже раньше у меня сложились плохие отношения со старшиной роты, ведавшим вопросами питания солдат. Следует сказать, что с хозяйственной деятельностью на фронте не все и не всегда обстояло благополучно. Частенько люди, ведавшие питанием солдат, допускали злоупотребления. Боевая обстановка и уставы не позволяли нам поднимать этот вопрос.

Еще когда я служил в 990-м полку, солдаты постоянно были недовольны и жаловались друг другу на старшин, ведающих продуктами. Те особенно не утруждали себя соблюдением установленных норм довольствия. Помню, например, что при выдаче табака мерой была горсть старшины. В госпитале, в команде выздоравливающих, были обнаружены злоупотребления в снабжении сухим пайком при передислокациях.

А теперь, в нашем 13-м батальоне, произошел такой случай. Как-то еще в Белоруссии бойцы батальона были направлены в лес, где находился склад снарядов, и занимались погрузкой их в машины автороты для доставки на передовую. Я со своим отделением тоже грузил снаряды. При погрузке находился тот же старшина, с которым я теперь встретился в Минске-Мазовецком. Три дня мы работали в лесу и ни разу не получали за это время не только горячей пищи, но даже хлеба. Пришлось питаться кто как мог — главным образом за счет населения ближайшей деревни, в

которой мы ночевали. В той же деревне расположились старшина и кое-кто из офицеров батальона.

Голодные солдаты видели, что начальство кормится, как говорится, «от пуза», но когда кто-нибудь рисковал задать старшине вопрос насчет питания, тот разводил руками и уверял, что продукты вот-вот подвезут. Надо сказать, что таких спрашивающих было очень мало. Считали, что «на войне как на войне», понимали, что снаряды необходимы фронту, боялись вызвать недовольство начальства. По уставу жалобы можно было подавать только по инстанциям, причем коллективные жалобы при Сталине вообще не полагались и могли вызвать совсем противоположный результат, то есть расследование, кто является «зачинщиком» жалобы, вместо расследования злоупотреблений, о которых в ней говорится.

Я поступил в том случае так: в жалком рукописном «Боевом листке» нашего взвода появилась заметка, где в приподнятом тоне сообщалось о погрузке снарядов, о лучших отделениях, назывались фамилии бойцов, особенно отличившихся на этой работе, — словом, стандартная заметка из категории тех, которые, по мнению начальства, должны были поднимать дух бойца. И только в самом конце ее было сказано, как бы между прочим, что бойцы самоотверженно работали, несмотря на то что по независящим от начальства причинам оно не смогло обеспечить их питанием. Разразился в некотором роде скандал, старшине влетело, а он, понятно, озлобился на меня.

В Минске-Мазовецком этому же старшине было поручено проводить с бойцами политзанятия. Но что это были за политзанятия! Член партии, но безграмотный человек, он порол такую чушь, что сами слушатели, которых он должен был просвещать, смеялись над ним. Оставаясь с ним вдвоем, я пытался помочь ему. Но он принимал мое вмешательство как личную обиду.

Как-то в роту приехал парторг батальона старший лейтенант Анцибор и с ним другой офицер — политработник от командования армии. Собрали офицеров и сержантов и провели инструктаж, темой которого было отношение наших воинов к братьям-полкакам, освобождаемым от нашего общего врага.

Говорилось о том, что совершенно недопустимо обижать их, посягать на их собственность, что они — наши братья и союзники. Всякие акты несправедливости в отношении польского населения только на руку польским реакционерам, которые хотят посорить наши народы и вызвать вражду к нашей армии-освободительнице.

Проведя такую беседу, офицеры уехали. В ту же ночь мы были разбужены дежурным. Предстояла очередная вылазка в польские огороды.

Это походило на скверный анекдот. Я спросил дежурного, по чьему приказанию он нас поднимает?

— По приказанию старшины, — ответил дежурный.

Я сказал, что хотел бы видеть самого старшину.

— Он сейчас придет.

Явился старшина. Я заявил ему, что его приказание противоречит инструктажу, на котором мы сегодня оба присутствовали, и спросил, согласовано ли оно с парторгом батальона. Старшина ничего мне не ответил, а только со злобой в голосе скомандовал:

— Отставить!

Мы снова улеглись.

На другой же день меня вызвал командир роты и напустился на меня за то, что я посмел не выполнить приказание, которое, как всякому понятно, исходило не от старшины, а от него. Он распорядился отправить меня из Минска-Мазовецкого — с глаз долой! — в расположение нашего взвода, который разместился в селении Духнов, недалеко от Праги (предместья Варшавы).

* * *

И вот к дому, где я находился, подъехала телега. В ней сидел командир нашего взвода лейтенант Егоров. Когда мы с ним отъехали от расположения роты, он пояснил:

— Приказано забрать вас для исправления! — и рассмеялся.

В Духнове я встретился со знакомыми бойцами и техником-лейтенантом Антоновым. Офицеры — Егоров и Антонов — квартировали в большом одноэтажном доме с садом и двором, окруженным хозяйственными постройками, в которых помещался взвод. Среди товарищей я почувствовал себя дома. На нашем участке фронта царило затишье. Изредка доносился звук пушечных выстрелов из Варшавы.

Зажиточные хозяева усадьбы жили в том же доме. С ними жил и их работник, вполне интеллигентный поляк — магистр философии. Окончив высшее учебное заведение, он не смог найти работу по специальности и вынужден был поступить, в сущности в качестве батрака, к сельскому хозяину. Он изъяснялся по-русски, и когда мы с Егоровым выразили недоумение по поводу его положения, высказался в том смысле, что и его многое у нас удивляет.

Вот, например: в Советской армии среди простых солдат встречаются весьма интеллигентные люди, в то время как многие командиры прямо-таки поражают своей некультурностью. Пришлось ограничиться ответом только на вторую часть его вопроса, притом объяснить это демократическим строем нашей страны, тем, что многие наши командиры — бывшие рабочие и крестьяне, получившие возможность учиться только после Октябрьской

революции. Притом то, что он называет «некультурностью», не лишает людей таких достоинств, как смелость, мужество, военные способности. Я сослался на исторические примеры, и в частности, на выдающегося наполеоновского полководца маршала Нея, начавшего службу рядовым в революционных войсках.

Егоров остался очень доволен моими объяснениями. Мало того что они были, как принято выражаться, «политически выдержанными», — они также польстили ему лично. Ведь он сам начал службу солдатом и получил офицерское звание. Значит, и он еще мог уподобиться славному французскому маршалу.

Дни моего пребывания в Духнове совпали с печальным для меня событием, о котором я узнал только спустя четверть века. 14 августа 1944 года погиб мой старший брат Мстислав — во Франции, сражаясь с немцами в составе польского бронедивизиона генерала Мачека. Брат был убит в Нормандии, будучи канониром 1-го полка зенитной артиллерии этого дивизиона, и похоронен на поле боя. Ему было сорок с небольшим лет.

* * *

Пребывание в Духнове кончилось очень скоро. Весь взвод перевели в Седлец, где наш 13-й батальон задержался еще на некоторое время. И вдруг здесь у меня произошел приступ невероятной, безрассудной любви к Польше — настолько сильный, что я всерьез подумывал «бросить все» — то есть, собственно, дезертировать — и остаться на этой польской земле, невзирая на последствия, какие будет иметь этот отчаянный шаг*.

Происходя из обрусевшей польской семьи, три поколения которой были русскими патриотами, беззаветно преданными своей российской родине, не зная польского языка, попав в Польшу впервые в жизни уже немолодым человеком, я не чувствовал тем не менее себя здесь иностранцем.

В нашей семье такие «атавистические» проявления обнаруживались не только у меня. Родные рассказывали, что мой отец, отдавший жизнь за Россию, в ранней молодости проявлял полонистические тенденции.

Мой старший брат Мстислав также в ранней юности «страдал полонизмом». После кризиса, который он перенес — в советское время — в отношениях со своей родиной, он перешел в католиче-

* Наше пребывание в Минске-Мазовецком и Седлеце совпало с днями безнадежного Варшавского восстания, которому Сталин совершенно сознательно не хотел оказывать помощь. И — кто знает? — может быть, его свирепое подавление, трагедия и боль Варшавы, фактически стертой немцами с лица земли, неисповедимыми путями передавшись мне через линию фронта и десятки километров, разделявшие нас, как раз и вызвали во мне эту вспышку нерассуждающей любви к стране и народу, к которому принадлежали мои предки.

ство и нелегально эмигрировал во Францию вслед за неудачной попыткой официально перейти в польское подданство.

А меня чувство родства с землей моих предков охватило впервые, когда я стоял на этой земле, — ночью, в Седлеце, в карауле, при охране каких-то складов батальона. Быть может, мне так мучительно захотелось остаться в Польше и начать, если это вообще возможно, жизнь как бы сначала потому, что я понимал: моя настоящая родина, Россия, а вернее, тот режим, который создал в ней Сталин, не обещает мне ничего хорошего по возвращении с войны.

Но кончился ночной караул — и с ним прошел мой приступ полонизма.

Из Седлеца нас перебросили назад к советской границе — под Кобрин. Здесь мы получили пополнение и приступили к занятиям строевой и боевой подготовкой. При этом вскрылись кошмарные обстоятельства. Выяснилось, что бойцы и даже многие офицеры батальона не знали многочисленных должностей, какие занимал «гениальный вождь и полководец товарищ Сталин». Политические руководители забили тревогу.

Нам, младшим командирам, было приказано срочно обучить этому солдат, выделив для занятий «словесностью» время за счет боевой и строевой подготовки. Но это оказалось весьма трудной задачей. Особенно тяжело было с солдатами нерусской национальности, то есть представителями национальных меньшинств нашей страны, и с пожилыми, которых в батальоне было много. Так, собственно, и не удалось выправить положение со знанием или, вернее, незнанием сталинских должностей, тем более что времени на это оказалось не слишком много: батальон вскоре снялся с места и тронулся в путь.

* * *

Армия перебазировалась через всю Белоруссию и Литву к границам Восточной Пруссии. Этих границ она достигла в первых числах ноября 1944 года. Около двух месяцев нашему батальону пришлось простоять в прусском городке Эйдкунене. Вступление в него напомнило мне старинные предания о рыцарях Круглого стола короля Артура. Рыцарь Парсифаль въезжает в заколдованный город, где не видно жителей. Все они охвачены сном в своих домах.

В Эйдкунене мы тоже двигались по совершенно безлюдным улицам. Здесь, правда, не оставалось ни единой живой души и внутри домов — мы видели только картины, говорящие о паническом бегстве мирного населения. Часто даже постели оставались в спальнях неубранными. Немецкое командование до последнего

часа убеждало население, что русские войска будут остановлены вермахтом. И только перед самым отступлением оно приказывало жителям уходить.

За все время пребывания в Эйдкунене я видел только двух немцев, да и то мертвых. А между тем батальон прочесывал все дома города, так как были подозрения, что в них еще прячутся немцы, корректирующие огонь артиллерии и подающие сигналы своим самолетам.

Наша рота, которой теперь командовал лейтенант Рыбалко, расположилась в каменном двухэтажном доме. Пехотинцы собирали металл и прочие трофеи и грузили их для отправки на наши заводы. Минеры с той же целью подрывали неподвижно стоящие там и сям танки и самоходные орудия: страна очень нуждалась в металле. Замполит Задов, инструктируя командиров и бойцов, приказывал «брать металл» всюду, где только возможно, не щадя домов.

В ноябре в батальон поступило новое оружие, и нам наконец-то заменили трехлинейные винтовки отличными автоматами отечественного производства. Выдали нам и зимнее обмундирование. Надвигалась зима — похоже, последняя зима этой войны.

* * *

Операция по взятию Гумбиннена, особенно памятная мне потому, что наш батальон вступил в город одновременно со штурмовыми частями, закончилась 21 января 1945 года. Город сравнительно мало пострадал при штурме, но сразу же после нашего прихода начались пожары. В Гумбиннене оставались немногие жители, было выловлено и несколько солдат вермахта. Возможно, что именно они и занимались поджогом жилых домов, но, с другой стороны, и наши бойцы не щадили чужих городов и были случаи поджога ими. Эти случаи они объясняли «священной мстью за сожженные немцами города и села нашей страны».

Так или иначе, пожары начали опустошать город. Когда мы покидали Гумбиннен, нам пришлось проходить мимо королевского замка, построенного в XVII веке и господствовавшего над городом. При занятии города замок еще стоял нетронутым. Но теперь и он был охвачен пламенем.

Вступив во Фридланд, мы расположились на территории сыроваренного завода. В этом городе нами был занят и крупный молочный комбинат. Восточная Пруссия была богатым сельскохозяйственным районом Германии. Особенно она была богата скотом, который огромными стадами бродил по местностям, покинутым жителями. Захватывая скот, мы передавали его специально прибывавшим колхозникам, а те уже перегоняли его через

нашу границу. К сожалению, белые с черным немецкие коровы были очень изнежены, и при перегонке гуртами много скота гибло в пути.

Фридлянд тоже был почти цел при нашем вступлении, но и тут сразу же начались пожары... Осматривая длинные подвалы молочного комбината, в которых хранилась готовая продукция, мы обнаружили в одном из них немцев — старика и двух старух. Старик, по его словам, был учителем, с ним была его жена и еще одна древняя старуха. Они бежали откуда-то в страхе перед приближением Советской армии, добрались до Фридлянда и здесь застряли. Увидев меня и бывших со мной солдат, они смертельно испугались. Наши ребята не очень-то деликатничали с немцами.

Когда я обратился к этим беженцам с вопросами на плохом, но все-таки их родном языке, и притом вежливо, они сразу же стали искать у меня защиты. Древняя старуха, лежавшая на полке, где стояли ряды банок со сгущенным молоком, протягивала ко мне тощие руки и умоляла о спасении. Конечно, этих старых людей нельзя было счесть за врагов. В городе всех обнаруженных мирных жителей сосредоточили в ратуше. Я вывел стариков за ворота комбината и поручил одному из бойцов отвести их в ратушу.

Командование батальона приказало прочесать занимаемые нами районы города. Для прочесывания были сформированы группы, состоявшие каждая не менее чем из трех человек. Прочесывая рабочую окраину города, я и два приданных мне бойца вошли в один из домов и увидели лежащую на кровати старую женщину — по всей видимости, мертвую, со сморщенным, высохшим и пожелтевшим лицом. Уже выходя из помещения, я обернулся и увидел, что она повернула к нам голову и смотрит на нас широко открытыми глазами. Приказано было забирать только «дееспособных» немцев. Мы ушли, а ночью весь этот рабочий квартал сгорел.

Проходя мимо ратуши, я увидел толпу стариков и старух, окруженных хохочущими бойцами. Увы, в армии было немало хулиганов. Один с хохотом облапил старую женщину, с трудом двигавшуюся, опираясь на палку. И вдруг эта женщина, вырываясь, ударила его палкой по голове. Я хотел вмешаться, боясь, что сейчас начнется расправа над нею, но в это время подошел пожилой офицер и разогнал зевак. Я слышал, как он резко отчитывал хулигана, неожиданно получившего отпор от старой женщины.

* * *

Из Фридлянда наш батальон двинулся к Прейсиш-Эйлау, под которым в это время шел ожесточенный бой.

Командованию батальона стало известно, что в Прейсиш-Эйлау, на железнодорожных путях, стоит эшелон с заводским оборудова-

нием, вывезенным немцами с оставленной ими территории. Мне было приказано проникнуть за линию фронта и уточнить наличие и местонахождение этого эшелона. У меня до сих пор хранится листок из блокнота, на который я перенес с карты ряд населенных пунктов в этой местности, дороги и железнодорожные линии. Для этой разведки мне был придан боец по имени Хомич. За нами следовала оперативная группа, а за ней батальон.

Я и Хомич двинулись пешим порядком по шоссе в направлении Прейсиш-Эйлау. У усадьбы Зохнен, в которой мы переночевали, свернули с шоссе и по проселочной дороге вышли на другое шоссе, ведущее на Прейсиш-Эйлау от Мюльхаузена.

Звук оружейной пальбы, доносившийся от Прейсиш-Эйлау, становился все ближе и, по мере того как мы подходили к железной дороге, пересекавшей шоссе, делался все более слитным, непрерывным.

За железной дорогой находился Шмодиттен — последний населенный пункт перед Прейсиш-Эйлау. Он уже находился в наших руках. Но в нем царил настоящий ад. Разрывы немецких снарядов все более обращали его в груды развалин. Нельзя было сделать несколько шагов без того, чтобы перед вами не обвалился угол какого-нибудь дома или целиком стена. Местного населения здесь вовсе не оставалось; попадались отдельные наши бойцы, осторожно, перебежками, как и мы, продвигавшиеся по улицам.

Я разыскал командный пункт какой-то пехотной части, расположившийся в подвале каменного дома. Там нам разрешили временно обосноваться. При нас отдавались распоряжения по связи, принимались доклады, принимались тактические решения. Из подвала нельзя было показать носа, не то что заняться поисками эшелона в Прейсиш-Эйлау.

Так мы провели тут два дня. Но вот из переговоров по связи мы узнали, что нашими частями занят еще один населенный пункт, находившийся несколько ближе к нашей цели, хотя и не вдалеке от Шмодиттена, и решили пока что перебраться в него, тем более что там находился спиртовой завод, также представлявший интерес для нашего батальона.

С трудом, ежеминутно рискуя жизнью, мы выбрались из Шмодиттена и через час добрались до этого поселка. Что там творилось! Он, видимо, был захвачен нашими частями так внезапно, что население не успело его покинуть. Наличие в нем спиртового завода и населения, главным образом женщин, послужило причиной полнейшего падения дисциплины среди наших солдат. Улицы были переполнены пьяными солдатами, устраивавшими форменную охоту на немок, забывшими чувство долга, потерявшими человеческий облик. Спиртовой завод пылал ярким пламенем.

Мы возвратились в Шмодиттен. Там выяснилось, что немцы атаковали населенный пункт, в котором мы только что были. Выбили из него наших с большими потерями. Срочно пришлось снять части с других участков фронта, создать кулак и опять-таки ценой немалых потерь вновь захватить этот небольшой населенный пункт.

На третий день нашего пребывания в Шмодиттене здесь появился старшина и с ним несколько бойцов из оперативной группы нашего батальона. Старшина передал мне, что командир роты недоволен нашей медлительностью в выполнении задания. Я не стал оправдываться, а вместо этого предложил старшине вместе со мной проникнуть за передовую линию наших частей.

Когда стемнело, мы попытались это сделать в составе всей группы. Немцы отогнали нас сильнейшим огнем. Старшина и бойцы поспешно вернулись на командный пункт, где мы укрывались все эти дни. Там старшина вынужден был признать, что выполнить поставленную перед нами задачу пока невозможно, и вместе со своими бойцами немедленно ретировался из Шмодиттена.

На следующий день огонь немцев начал вроде бы ослабевать. Почувствовав это, я предупредил Хомича, что ближайшей ночью мы отправимся в Прейсиш-Эйлау. Следовало пробираться полями, потому что дороги интенсивно обстреливались, а ведущее напрямик к цели шоссе было наверняка заминировано. Сплошных линий окопов ни с нашей стороны, ни у противника здесь не было. Мы давно уже, еще перед Гумбинненом, миновали сильную линию укреплений с окопами в несколько рядов и долговременными огневыми точками.

Нам было известно, что железнодорожная станция находится на западной окраине Прейсиш-Эйлау; мы двигались по полевым тропинкам с таким расчетом, чтобы выйти к ней, и наконец различили в темноте длинные цепи вагонов и вышли на железнодорожные пути, за которыми смутно угадывались очертания города.

Вагоны были пустыми. Так как рельсы шли в несколько рядов, стало ясно, что станция уже где-то рядом. Но направо отвечлялся рельсовый путь, который вел к четырем очень высоким зданиям наподобие башен. Поскольку мы не обнаружили в вагонах никакого заводского оборудования, ради которого нас с риском для жизни посылали сюда, Хомич стал настаивать на возвращении. Начиная брезжить рассвет, и оставаться дольше на территории, занятой немцами, было опасно.

Но я приготовился огорчить своего спутника. Мое внимание привлекли вагоны, стоявшие под «башнями». Непростительно было бы не узнать, что в них. Подойдя ближе, при свете занимавшегося дня мы увидели, что это — элеваторы, не показанные на наших картах, а значит, и на моем листке. Вагоны начали грузить

зерном из элеваторов, но почему-то прекратили погрузку. Зерно было удачной находкой, вполне оправдывавшей нашу разведку.

За оградой элеваторов проходило шоссе, ведущее, по-видимому, на Шмодиттен. На станции слышались шум и голоса немцев, но здесь, на территории элеваторов, не было ни души. Похоже было, что немцы отступают из Прейсиш-Эйлау.

Неожиданно мы услышали шум поблизости. Около одного из элеваторов остановился грузовик, и несколько немецких солдат, соскочив на землю, грузили в него какие-то ящики из полуподвального этажа. Немцы очень спешили. Мы открыли по ним огонь, они вскочили в машину и помчались, сделав несколько выстрелов в нашу сторону. Два солдата остались лежать на земле. Мы продолжали стрелять, но машина скрылась за элеватором. Оказалось, что в ящиках, часть которых немцы не успели погрузить, были бутылки с вином.

Я понимал, что наши передовые части могут вот-вот появиться здесь, на окраине Прейсиш-Эйлау. Задача состояла в том, чтобы сохранить элеваторы и, что представляло особенную трудность, склады вина в их подвалах до прибытия оперативной группы нашего батальона. Следовало одному из нас остаться здесь, а другому срочно добираться до этой группы. Но у нас не было никакого транспорта.

И вдруг мой взгляд упал на велосипед, прислоненный к стене элеватора. Я бросился к нему. Он был исправен, за исключением одной детали: у него была только одна педаль. Я велел Хомичу пулей лететь назад, доложить в оперативной группе о занятии элеватора и о том, что я прошу прибыть как можно скорее. Хомич перенес велосипед через полотно железной дороги и помчался по той тропинке, которая привела нас сюда из Шмодиттена. Я остался один в еще не занятом городе.

* * *

Но вот на шоссе появились минеры с миноискателями. За ними пехота. С первыми пехотинцами рысью ехала пароконная повозка с сидящими в ней людьми, сопровождаемая несколькими велосипедистами, в одном из которых я еще издали узнал Хомича. Пехотинцы, вступив в предместье города, сразу рассредоточивались. Некоторые подходили к воротам, в которых я стоял с автоматом в руках, и, узнав, что квартал уже занят нашим батальоном, продолжали свой путь мимо.

В тот же день нашу добычу осмотрел командир батальона. Немного спустя меня назначили начальником охраны элеваторов, а батальон двинулся дальше. Меня огорчило это назначение. Я вынужден был застрять в тылу, а кроме того, мне пришлось теперь

воевать уже с бойцами наших проходящих частей, покушавшись на наши трофеи.

В Прейсиш-Эйлау оставалось много жителей, но сразу же запылали целые кварталы города.

Наконец меня сменили. Некоторое время я опять командовал отделением. В административном корпусе элеваторов разместили штаб батальона. И тут меня подстерегла новая неприятная нелепость. В штабе произошел скандал между замполитом и старшим делопроизводителем. Ходили слухи, что последний, пожилой офицер, в нетрезвом виде угрожал майору Задову пистолетом. Но толком никто ничего не знал, по крайней мере среди солдат. По-видимому, была какая-то вина и Задова, потому что в результате этого скандала убрали обоих.

Сначала уехал Задов. И тут меня вызвал начальник штаба батальона капитан Скоморохов. Это был еще совсем молодой офицер, по наружности, да и по характеру совсем мальчишка, но энергичный и напористый. На беду, меня считали в батальоне не только бывалым солдатом, но и грамотным человеком и неоднократно использовали и на политической, и на штабной работе.

Вот и теперь, вызвав меня, Скоморохов приказал мне принять дела от злополучного офицера — старшего делопроизводителя. Я заявил капитану, что ничего не смыслю в делопроизводстве.

— Хорошо, — сказал тот старшему делопроизводителю, — передадите другому. Но Косинский останется на работе в штабе. А вы, — обратился капитан ко мне, — садитесь за пишущую машинку!

В мирной жизни у меня всегда была машинка, но я ответил, что абсолютно не знаком «с этой штукой».

— Садись, пиши! — закричал Скоморохов.

— Есть писать, товарищ капитан!

Я сел за машинку и начал медленно «давить клопов», сосредоточенно водя глазами по клавиатуре. Скоморохов, отлично понимавший, что я могу, но не хочу работать в штабе, все же еще раз подтвердил свою непреклонность:

— Хоть по букве, да научитесь!

Спустя много времени он признался мне, что именно тогда он стал мне симпатизировать.

Штабные дела принял старший лейтенант Шарипов, бывший учитель, но уж очень падкий на слабый пол. В штабе работало несколько человек, среди которых выделялись старший сержант Василий Григорьевич Морозов и ефрейтор Иван Семенович Непомнящий — очень неплохой молодой человек, до войны бывший сотрудником какой-то газеты в Краснодаре. Он носил очки, был маленького роста и совершенно не имел воинского вида. Медлите-

лен он был до крайности. Например, письма домой писал по несколько строчек в день. Я прозвал его Мешканцевым, и это прозвище так подходило к нему и так утвердилось за ним, что даже начальство вызывало Мешканцева. При своей сугубо гражданской наружности он любил увешивать себя оружием, полагавшимся и не полагавшимся ему по должности. Непомнящий состоял при начальнике финансовой части батальона.

Замполитом, вместо майора Задова, был назначен парторг батальона старший лейтенант Анцибор.

* * *

В конце марта 1945 года мне в составе батальона пришлось участвовать в Кенигсбергской операции. Я никогда не забуду страшную картину уничтожения немецких войск, скопившихся на берегу залива Фришес-Гафф и пытавшихся перебраться на косу Фрише Нерунг. По этой косе немцы рассчитывали отвести свои войска к Данцигу. Отступавшие войска вместе с тылами и беженцами подверглись массированному обстрелу с земли и с воздуха. То, что здесь происходило, напомнило мне картину Верещагина «Утро после Бородинского боя», только было еще более кошмарным.

В марте командование представило меня к награждению медалью — «за захват элеваторов в Прейсиш-Эйлау». Мне было также присвоено звание младшего сержанта, так что на моих погонах появилось по две лычки — поперечных ленточки.

После взятия Кенигсберга разнесся слух о переброске нас на другой фронт — на Дальний Восток, для участия в предстоящих боевых действиях против Японии. Ехать на Восток, понятно, никому не хотелось. Ведь здесь, в Европе, конец войны был уже ощутим, а там пришлось бы начинать сначала. Но опасения оказались напрасными. Напротив, нас в составе всей 28-й армии перебросили под Берлин.

В апреле в нашем штабе был получен приказ по армии, подписанный командующим — генерал-лейтенантом Александром Александровичем Лучинским, о награждении меня в числе многих других медалью «За боевые заслуги».

В это время мы уже двигались форсированным маршем на запад. Мы ехали по отличному шоссе с короткими остановками в полупустых городах и селах. Я жадно осматривался кругом. Видел старинные кирхи, в которых находились высеченные из камня надгробия рыцарей и дам, видел многочисленные холмики над могилами неизвестных солдат. Встречались свежие следы ожесточенных схваток наших передовых частей с немецкими войсками.

Проехав Коттбус, Цоссен и другие населенные пункты, штаб остановился в предместье Берлина — Глазоф. Роты же нашего батальона уже находились в самом «логове фашистского зверя». Там же успел получить ранение командир батальона майор Костенко, и его отправили в тыл. В командование вступил капитан Скоморохов, а начальником штаба вместо него был назначен пиротехник лейтенант Иван Григорьевич Пидорец.

По мере приближения к Берлину все чаще и чаще встречались и все больше росли толпы людей, попадавшие нам навстречу. Это были военнопленные и угнанные на работу в Германию жители всех стран Европы. Среди них встречалось много и советских граждан. Немало было женщин и детей. Многие ехали на велосипедах, на повозках, запряженных лошадьми, шли пешком, везя свой скарб на ручных тележках и в детских колясках. Обычно они группировались по национальностям и несли плакаты на своем языке и флаги своей страны. В окрестностях Берлина были созданы пункты, куда мы направляли этих людей для дальнейшей отправки на родину, но многие не хотели ждать, не понимали назначения этих инстанций и пытались добраться до дому сами.

Во время остановок в частных домах, покинутых жителями, мое внимание привлекали книги, — конечно, не ради комплектования личной библиотеки. Да и редко встречались интересные издания по изобразительному и прикладному искусству. Но почти в каждом доме на видном месте лежали книги, посвященные Гитлеру, и его собственная — «Майн кампф». Часто встречались иллюстрированные издания, состоящие из фотографий последнего периода истории Германии. На одной из таких фотографий, повторяющейся во многих подобных книгах, фигурировал приказчичьего вида фюрер, пожимающий руку маститому Гинденбургу.

Однажды я долго возил с собой толстый том без упоминания имени автора и без иллюстраций на французском языке под названием «Портрет Сталина». То, что я успел прочитать в этой книге, довольно верно отражало характер и роль Сталина в жизни нашей страны. Книга была, очевидно, написана кем-то из видных членов партии, лично знавших Сталина и очутившихся в годы его власти за границей. Конечно, мне приходилось тщательно скрывать эту книгу от окружающих и читать ее урывками: если б ее обнаружили у меня, моя песенка была бы спета. Так мне и не привелось дочитать этой книги. Пришлось ее уничтожить.

* * *

Из Берлина в Глазоф пришла группа итальянцев. Они держали путь домой. По дороге один из итальянцев заболел, и ему требовалась медицинская помощь. После объяснений в нашем штабе на ломаном французском языке я отвел заболевшего в госпиталь.

Собираясь двигаться дальше, итальянцы пригласили меня в дом, где остановились. В их числе была очень красивая девушка. Я получил от начальства разрешение присутствовать на их прощальном вечере. Они позвали и двух французов, бывших военнопленных, раздобыли где-то вино, а с собой у них был изрядный запас шоколада, так как в Берлине они работали на кондитерской фабрике. Французы оказались очень кстати, так как большинство итальянцев знало французский язык, а я по-итальянски не умел говорить.

Во время этой вечеринки в дверях появился наш боец и вызвал меня. На улице стоял техник-лейтенант Пидорец, наш начальник штаба. Он осведомился, как мы веселимся, а затем тоном приказа сказал, чтобы я вывел ему молоденькую итальянку. Было уже темно; в голосе моего начальства звучали пьяные ноты. Да и обратился он ко мне на «ты», хотя я с ним в приятельских отношениях не состоял. Я ответил ему, что «выводить девушек не является моей обязанностью», и получил в ответ угрозу:

— Ну запомни, ты у меня еще будешь бедным!

Я вернулся к итальянцам, закрыв за собой входную дверь.

Этот случай не имел для меня никаких последствий: «бедным» я не стал. Мне удалось, служа в армии, завоевать определенное уважение и знавших меня командиров, и моих товарищей-солдат, что в известной степени охраняло от подобных случаев самодурства.

Двое французов, присутствовавших при прощании итальянцев, оказались симпатичными людьми. Один из них, сержант Баланс, старший по возрасту, был из французской провинции; другой, Баяр, совсем еще молодой, до войны работал комиссионером в Париже. У меня с ним завязался оживленный разговор, причем на прощание мы с Баяром даже обменялись адресами. (Чем черт не шутит, быть может, мне после войны доведется попасть во Францию!) Не имея домашнего адреса, я дал ему адрес Эрмитажа.

Французы познакомили меня с тремя голландцами, также вывезенными на работы в Германию, — девушкой и двумя молодыми людьми. Все трое обладали на редкость красивой наружностью и бросающимся в глаза здоровьем. Они удивительно походили друг на друга — настолько, что их можно было принять за близнецов, хотя они и не состояли между собой ни в каком родстве. Девушка отправилась на сборный пункт, решив, что так надежнее, а парни решили пробираться на родину самостоятельно, на свой страх и риск.

* * *

В армии со стороны многих людей я встречал дружественное отношение. В тот период, о котором идет речь, самые дружеские отношения связывали меня с комсоргом батальона Сергеем Алек-

сандровичем Никитиным. Этот младший командир был очень порядочным человеком и одаренным художником. Квартировал Никитин вместе с парторгом батальона Анцибором, ставшим после отбытия майора Задова замполитом.

Старший лейтенант Анцибор производил впечатление сдержанного, справедливого, всегда вежливого человека, чем он выгодно отличался от майора Задова. Но у него была черта, которую я встречал у многих людей того времени. Он был — или старался казаться — ярым сталинистом. Это явилось причиной того, что Анцибор, как мне стало известно, не раз выражал недовольство дружбой Сергея со мной — человеком, прошедшим ряд лет в сталинских тюрьмах и концлагерях.

Когда сопротивление немецких войск в Берлине было уже сломлено, Сергей предложил мне проехать с ним на мотоцикле в город, чтобы познакомиться с его достопримечательностями. Нас с ним особенно интересовали сохранившиеся памятники искусства. Прежде я никогда не бывал в Берлине, но по книгам был знаком с его архитектурными и иными художественными памятниками. Мне удалось раздобыть план города.

Берлин был сильно разрушен, проезд по многим улицам затруднен. Мы осмотрели ряд зданий и памятников, проехали по Унтер-ден-Линден к Бранденбургским воротам. Мне очень хотелось зайти в Цейхгауз на этой улице, где хранилось богатое собрание старого оружия. Но пора было возвращаться, а перед этим еще посмотреть на здание Рейхстага. Впоследствии все наиболее интересное из упомянутого собрания оружия я увидел в Историческом музее в Москве, куда оно было перевезено и где хранилось 12 лет, вплоть до возвращения Германии в 1957 году.

По полуразрушенным залам Рейхстага мы ходили с толпой наших офицеров и солдат: это здание было объектом многочисленных экскурсий.

На одной из улиц наше внимание привлек мерно шагающий верблюд, запряженный в двуколку, на которой громоздилась бочка с водой. Жители города, особенно дети, провожали его глазами. Это был верблюд из гужевой роты нашего батальона, сформированного в свое время в калмыцких степях. Единственный оставшийся в живых из числа многих своих собратьев по роте...

После возвращения в Глазоф старший лейтенант Анцибор выговаривал Сергею за поездку со мной в Берлин и за дружбу с «врагом народа», подвергавшимся репрессиям. Сергей ответил ему, что он меня достаточно знает, верит мне и не считает врагом, и не перестанет со мной дружить.

* * *

Восьмого мая 1945 года батальон, перебрасываемый в Чехословакию, где теперь оказались сосредоточены наиболее боеспособные силы немцев, сделал остановку в городе Лебау. В тот день представителями германского верховного командования был подписан акт о безоговорочной капитуляции. Известие о нем сразу дошло до нас, вместе с несколько запоздавшим сообщением о самоубийстве Гитлера.

И в тот же день, хотя наше правительство еще почему-то мешкало с сообщением о наступлении мира, огромная радость охватила войска, находившиеся в Лебау. Вино лилось рекой, началась пальба в воздух из всех видов оружия. Утром 9 мая я проснулся в кабине одной из автомашин нашего батальона, совершенно не представляя, как я там оказался.

* * *

Батальон прошел город Габель и углубился в Чехию. Штаб расположился в каком-то местечке, в благоустроенном доме, а роты занялись обработкой окружающей местности — подрывом выведенных из строя танков, сбором оружия и снарядов, которыми были забиты немецкие склады. Часть батальона была направлена в Прагу.

Техник-лейтенант Антонов поехал на поиски трофеев и взял меня с собой. Мы объехали большой район живописной Чехии и очутились перед парком, окружавшим замок, занятый какой-то нашей частью. Это был знаменитый замок Рейхштадт, в котором когда-то жил недолгое время сын Наполеона. Я ходил по комнатам замка, сохранявшим еще часть старинной обстановки, по парку, и в моей памяти оживали сцены драмы французского поэта Ростана «Орленок», посвященной этому рано умершему юноше...

Неожиданно в штаб приехал майор Задов, на время излечения майора Костенко назначенный командиром батальона. История, происшедшая с ним в Прейсиш-Эйлау, почему-то озлобила его на командный состав батальона и даже на солдат.

В мае майору Задову кто-то доложил, что около города Даубы находится много трофейных книг, вывезенных сюда из Берлина. Задов призвал меня, и мы решили, что нужно поехать туда и отобрать книги, вывезенные из нашей страны, если таковые имеются. Мне дали грузовик и группу бойцов.

Не доезжая немного до Даубы, я разыскал замок Перштейн, в котором находились книги, захваченные немцами в оккупированных странах. Когда мы приехали в замок, там как раз начал

размещаться госпиталь, и книги выбрасывали из окон в сад, под открытое небо. Мне удалось прекратить это варварство.

Среди фондов, оказавшихся в замке, я обнаружил ценнейшие издания и архивные документы. Например, часть библиотеки Министерства внутренних дел Франции, включавшую официальные указы-ордонансы, подписанные французскими королями, часть библиотеки Сейма и Сената Польши, библиотеки Великого Востока в Брюсселе, Французского общества и Французского института в Варшаве, Общества израэлитов в Вене...

Из наших книг в замке удалось обнаружить ценнейшую библиотеку дворца-музея, вывезенную немцами из города Пушкина (Царского Села). Я отобрал 55 ящиков книг этой библиотеки — редких изданий ряда столетий. Для их перевозки в Габель пришлось отправить туда бойца с просьбой прислать еще одну грузовую машину.

* * *

В конце июня батальон был передислоцирован в Саксонию и разместился в городе Лебау, уже встречавшемся на его боевом пути. Отсюда мы с товарищами время от времени ходили в поселок Киттлиц, очень живописный и славящийся прекрасным пивом — намного лучшим, чем подавали в пивных Лебау.

В Киттлице находились две помещичьи усадьбы. Дом одной из них был наглухо заколочен, а в другую только что возвратилась помещица фон Пайме с двумя мальчиками. Землю у нее уже отобрали, но дом пока что оставили.

Должен сказать, что меня очень интересовало отношение немцев к гитлеризму и тем делам, которые творились в Германии при Гитлере. Соответствующие вопросы я задавал крестьянам, рабочим и вообще городским жителям. Культ фюрера был очень развит у немцев, но они находили этому оправдание в одной стандартной фразе: «При Гитлере нам жилось хорошо...» И вот теперь мне представлялась возможность задать тот же вопрос представительнице немецкого юнкерства, издревле кичащегося своими традициями, своим «рыцарством». И я решил посетить дом фон Пайме. Зашел туда с Непомнящим.

Нам открыла дверь сама хозяйка. Это была еще молодая блондинка, хрупкая и небольшого роста. Она извинилась за беспорядок в доме и пояснила, что как раз старается привести его в приличный вид после разгрома, который застала тут по возвращении. Провела нас в гостиную на втором этаже. Очевидно, она поняла, что имеет дело с интеллигентными людьми, и поэтому встретила нас любезно и без тени страха или недоверия.

Дом ее напомнил мне дома наших русских помещиков среднего достатка, какими они были в предреволюционные годы. Мебель, кое-какие картины и вообще вся обстановка показались мне очень знакомыми, вплоть до старинных английских часов в длинном высоком футляре, стоявших на полу.

В гостиной она познакомила нас с высоким стариком в гольфах. Как она сказала, это был ее родственник, также помещик, но из Силезии. Предложила нам сигареты, и мы разговорились. Непомнящий, не зная иностранных языков, скромно молчал.

Оказалось, что моложавая внешность хозяйки ввела меня в заблуждение относительно ее возраста: кроме двух мальчиков, о которых я упомянул, у нее был также сын призывного возраста, служивший на Западном фронте. Она давно не имела от него вестей.

Я задал ей тот же вопрос — об отношении на сей раз немецкого дворянства к Гитлеру и его режиму, и в частности к жестокостям этого режима. Неужели ей не было известно об уничтожении, например, евреев независимо от возраста и пола? Поскольку мне трудно было изъясняться на немецком языке, я перешел на французский, и это создало почву для более откровенной беседы.

В ответ на мой вопрос фон Пайме задумалась и ответила также вопросом:

— Скажите, а как русские относятся к евреям?

Тогда еще в нашей стране не было той антисемитской кампании, которая началась незадолго до смерти Сталина. Но я прекрасно знал, что юдофобство существовало в России очень давно и было широко распространено. И хотя революция отменила даже самую возможность таких вещей, как, скажем, еврейские погромы, отрицательное отношение к евреям сохранялось у многих людей, независимо от их политических убеждений и партийности. Этим предрассудком были заражены различные общественные слои, и только у по-настоящему интеллигентных людей он не находил отклика. Что касается нашей семьи, то в ней юдофобство осуждалось, считалось дурным тоном. И все же у некоторых членов семьи оно порой проявлялось, правда, в самой минимальной и мягкой степени — в виде добродушной насмешки над национальными особенностями известной части евреев.

Но я не забывал, что разговариваю с представительницей народа, запятнавшего себя чудовищными зверствами по отношению к евреям. И я ответил фон Пайме не совсем искренне, однако так, как того, по моему разумению, требовал долг советского солдата. Я выразился в общем так: после Октябрьской революции вопрос национальной неприязни перестал, дескать, существовать в нашей стране. В подтверждение этого я привел ряд имен евреев — крупных ученых, артистов и других представителей интеллиген-

ции, пользующихся у нас всеобщим уважением и любовью. На нее это, по-видимому, произвело впечатление.

— Я окончила университет в Мюнхене, — сказала она, — и там действительно среди профессуры были не только ученые, но и очень симпатичные евреи. Но если бы вы знали берлинских евреев! Это такие неприятные люди! Вы бывали в Берлине?

— Не далее как в этом году. Но там я не встретил ни одного еврея...

— Действительно, этот народ очень у нас пострадал... Вообще в Гитлере нас многое возмущало и со многим мы были не согласны. Но, вы знаете, мы — немцы — жили при Гитлере очень хорошо.

Опять тот же стандартный ответ. Конечно, «своя рубашка ближе к телу», но ведь это благополучие, притом чисто материальное, достигалось за счет завоеваний, за счет ограбления целых народов. Провожая нас, фон Пайме сказала:

— Я думаю над тем, о чем мы говорили. Вы, вероятно, в чем-то правы... Но все-таки я должна вам сознаться совершенно откровенно, я никогда бы не вышла замуж за еврея.

* * *

Последний месяц моей службы в армии прошел в Шпремберге — городке, расположенном в Бранденбурге, на реке Шпрее, недалеко от границы Саксонии. Здесь наш батальон занимался демонтажем крупной электростанции Траттенгоф и отправкой ее демонтированных узлов в Советский Союз.

В Шпремберге с майором Задовым случилась беда. Он вечером куда-то ехал, и в темноте шофер не заметил опущенного шлагбаума. Каким-то образом шофер остался невредимым, а майор получил удар по голове. Его отправили в госпиталь.

23 июня 1945 года в нашей стране был опубликован указ о демобилизации. Мой возраст подлежал увольнению из армии в одну из первых очередей, поскольку, к счастью, я не был офицером. В августе я должен был демобилизоваться.

И вот 15 августа я сдал автомат, револьвер и прочее, что полагалось сдать, получил документы и продукты, а вечером у меня собрались наиболее близкие друзья и мы согласно русскому обычаю выпили на прощание.

Николай Васильевич Антонов подарил мне маленький пистолет тульского завода с запасом патронов к нему. Он предупредил, что в пути через Германию и Польшу пистолет может мне пригодиться, так как бывают случаи нападения на наших военных.

Командование части наградило меня рядом трофейных вещей «за долгосрочную и безупречную службу в Красной армии в период Отечественной войны», как гласила выданная по этому поводу

справка. Наиболее ценным был радиоприемник марки «Саба». В дальнейшем мне пришлось огорчиться, убедившись, что с его помощью в Ленинграде не принимаются передачи западных радиостанций на русском языке — приемник имел только диапазоны длинных и средних волн.

16 августа батальон построили для прощания с уезжавшими товарищами. Нас — «стариков» — ехало около двадцати человек.

Так завершился армейский, военный период моей жизни. Он был связан для меня с большим душевным подъемом, особенно после тяжких тюремно-лагерных переживаний. На фронте, где все мы каждодневно рисковали жизнью, сталинщина ощущалась значительно слабее, чем в мирной жизни. Помимо прочего, здесь, в боях с противником, не приходилось кривить душой, не требовалось во что бы то ни стало искать «врага» в собственных рядах, каяться в своих личных, притом мнимых, грехах и т.д. К тому же все мы надеялись, что впереди, после великой и дорого обошедшейся победы в войне, страну ждет лучшее будущее. Увы, это оказалось не так.

* * *

На двух грузовиках мы доехали до Дрездена и высадились около вокзала. Для нас был предназначен товарный вагон, который через несколько часов, вечером, должны были прицепить к поезду, идущему в Берлин.

Поезд шел всю ночь, и на каждой станции его атаковали толпы людей. Утром, уже вблизи Берлина, нам стали попадаться навстречу пригородные поезда. На одной из подберлинских станций мы видели, как из вагона пригородного поезда железнодорожные служащие выводили двоих парней. Это были русские урки, пробравшиеся в побежденную Германию и грабившие мирных жителей, пользуясь их страхом перед победителями.

Вот и Ангальтский вокзал. Много военных в форме союзных войск. Пришлось побегать, прежде чем наш вагон прицепили к поезду, идущему до Герцогсвальде, где узкая европейская колея железной дороги уже перешита на широкую русскую и где мы должны пересесть на поезд, идущий в Россию.

Лагерь для демобилизуемых в Герцогсвальде занимал большую площадь, застроенную деревянными бараками, среди которых было два-три каменных дома. Люди в бараках, ожидая эшелона, ютились очень скученно. Например, спали прямо на полу один подле другого.

Моим соседом был солдат, служивший в нашем батальоне, весьма пожилой и благообразный старовер. Он попал в батальон в Германии, после освобождения из лагеря военнопленных. Ему

предстояло и впредь быть моим попутчиком, так как я направлялся в Ленинград, а он возвращался в свою деревню в Псковской области.

За недельное пребывание в лагере я познакомился со многими новыми для меня людьми. Лагерь имел крайне непривлекательный вид проходной казармы, по которой день-деньской шаталась толпа людей, совершенно утративших представление о дисциплине и обратившихся в деморализованный сброд.

Особенно это чувствовалось на площадке посреди лагеря, обращенной в толкучку. Здесь торговали и менялись всяким барахлом, вывозимым из Германии. Со всех сторон слышались крики: «Налетай! Шухнем! Махнем!» Солдат с рядом медалей, а иногда и полный кавалер ордена Слава, торгующий немецкими женскими чулками, быть может ношенными, и без умолку кричащий: «Кому чулки? Налетай!» — отвратительное зрелище.

Среди демобилизуемых было много женщин. Комендатура лагеря предусмотрительно отвела для них двухэтажный каменный дом, который его обитательницы вынуждены были обратиться в крепость и отсиживаться там, не рискуя высунуть нос. Никакого начальства мы не видели, никакого порядка в лагере не существовало, да и трудно было бы навести его. Толпы демобилизуемых прибывали и убывали, а лагерная обстановка и лагерные специфические картины оставались все теми же.

В составе группы демобилизованных, которых не прельщала каждодневная лагерная торговлишка, я часто выходил из лагеря и бродил по живописным окрестностям города. С этих прогулок мы приносили много грибов, которые росли на окрестных холмах и в лесах. А примерно через неделю был наконец сформирован эшелон, идущий на Ленинград. Я с облегчением расстался с лагерем. Нас рассадили по товарным вагонам-теплушкам, и скоро Германия осталась позади и мимо побежали города, села, леса и поля Польши.

* * *

Вот показались дачные места и потянулись дома и сады пригородов Варшавы, мало пострадавшие от войны. Но вместо самого города мы увидели каменные нагромождения сплошных развалин. Среди этих развалин приютился питательный пункт, где нас накормили. Часа через два поезд двинулся дальше.

В поезде бросалось в глаза полнейшее отсутствие дисциплины среди демобилизуемых. Эта недисциплинированность особенно проявлялась по отношению к офицерам, сопровождавшим по долгу службы эшелон и ехавшим в пассажирском вагоне. Я был свидетелем нескольких безобразных сцен.

Между тем окрестная обстановка требовала, напротив, строгой дисциплины. Бывали случаи, когда люди, вышедшие на несколько минут на какой-нибудь станции, исчезали. Из нашего вагона так исчез среднего возраста солдат, везший своей семье в Ленинград довольно много пакетов с вещами. На одной из пригородных варшавских станций он вышел из вагона и не возвратился. Доложили коменданту поезда. Вещи его взялся доставить семье знавший его товарищ. Таких случаев в эшелоне было несколько. Думаю, что не всем отставшим удалось вернуться к своим семьям, нетерпеливо ждавшим отцов, мужей, сыновей, которые возвращались с войны с победой...

На границе Литвы, если память мне не изменяет, появились пограничники и работники таможи. Но они даже не заходили в вагоны, а только спросили, не везем ли мы какие-либо запрещенные вещи.

В Вильнюсе поезд простоял несколько часов. Здесь уже восстанавливался вокзал, разрушенный во время военных действий. Работу производили пленные немцы.

* * *

Наконец мы в России. Едем по разграбленной, выжженной Псковщине. Остатки селений. Только трубы торчат из земли — население ютится в землянках. Мой товарищ-старовер волнуется. Вот сейчас, слева по ходу поезда, в некотором расстоянии от железнодорожного полотна, должна быть его деревня.

Деревни нет, однако поезд останавливается — на том месте, где испокон веку останавливались поезда этого маршрута. Солдат уныло бредет по чистому полю к тому месту, где он жил с семьей, где стояла его деревня. Оставшиеся в вагоне с волнением следят за удаляющейся фигурой. Человек вернулся домой, но неизвестно, найдет ли там кого-нибудь в землянках. Поезд трогается и уходит вперед, а он так и бредет в неизвестность, и вот уже скрывается из глаз...

Не останавливаясь проезжаем Псков. Он сильно разрушен. Теперь я с волнением смотрю направо. Ведь тут, в тридцати километрах от Пскова, должна быть станция Тарошино — то самое Тарошино, где в детстве мы проводили лето. Здесь, на речке Пскове, стоял нарядный дачный поселок.

Поезд останавливается около теплушки, стоящей на запасном пути. Поблизости несколько землянок, дающих о себе знать торчащими из земли трубами. Я соскакиваю из вагона на землю, подбегаю к станции-теплушке и спрашиваю название станции.

— Тарошино, — отвечает железнодорожник.

* * *

В Ленинград поезд пришел днем. Подъезжая к Варшавскому вокзалу, все начали собираться с понятным волнением. Эшелон остановился, и люди посыпались из вагонов. Их ждут семьи — жены, дети, близкие люди. Кто ждет меня?

Единственным человеком, жившим в Ленинграде, с кем я переписывался, была Вера Васильевна Чернова, и она знала о моем предстоящем возвращении с войны. Жила она на Литовской улице, рядом с Греческой церковью. Грузовик довез меня до дома, принадлежавшего раньше доктору Герзони, чья квартира находилась на втором этаже. Часть этой квартиры и занимала Вера Васильевна.

Дорогой я глядел на знакомый мне с детства родной город. Ленинград не показался мне сильно пострадавшим. Руины сгоревших домов, следы бомбежек попадались лишь изредка. Несколько домов на моем пути оказались прикрыты деревянными щитами, закрывавшими пробоины, на некоторых я заметил фанерные декорации с нарисованными окнами, скрывавшие отсутствующий фасад, многие здания сохранили камуфляжную раскраску. Масса оконных стекол еще сохраняла крестообразно наклеенные бумажные полоски, чтобы стекло не разлеталось на мелкие осколки от взрывной волны... Но в целом Ленинград был в значительно лучшем состоянии, чем я ожидал его увидеть. И жизнь вовсю кипела на его улицах.

* * *

Сентябрь 1945 года. Я в Эрмитаже, сижу в своем кабинете за большим и столь удобным для работы гофмаршальским столом. Все как прежде. Как будто бы вчера я уснул и видел тяжелый сон.

Сон этот охватывает семь лет, и в нем все: тюрьма и бесчеловечное следствие, концентрационный лагерь, болезни, голод, война, убитые, раненые и пленные, развалины городов и сел России, Польши, Чехословакии и Германии, взятый штурмом дымящийся Берлин.

Но вот я проснулся, и все это исчезло, поглощенное рекой времени. Если бы это был только сон! Семь лет вычеркнуто из жизни. Однако я полон сил и радости оттого, что опять принимаюсь за любимое дело. Мне сорок один год, но я чувствую себя совсем молодым. Я даже пополнил от армейской бездумной жизни. Там все проблемы решает за солдата начальство. Правда, все время грозит смерть, ну что же — такова профессия солдата. Привыкаешь и к мысли о смерти!

ИВАН ГРУНСКОЙ

У ВОЙНЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЛИЦА





Неумолимо время. И у каждого своя конечная остановка. Ветераны Великой Отечественной войны уходят. Пришло другое время, другие люди, появились иные понятия о нравственности, этике, патриотизме. И многое, за что мы сражались, предано и распродано. Но так хочется надеяться, что никогда не забудут тех, кто своим мужеством, своей жизнью отстоял свободу и независимость Отечества. И хочется, чтобы о них помнили не как о неизвестном солдате, а как о живых людях со своей собственной судьбой.

В моих рассказах нет вымышленных имен. Нет у меня и вымышленных сюжетов, эпизодов. Все — подлинные. Однако не только желание поделиться воспоминаниями о прошедшей войне подвигло меня написать фронтовые рассказы. Тем более что я не художник, не писатель, и мне трудно психологически, эмоционально, доступно передать те эпизоды боев, участвовать в которых приходилось или свидетелем которых я был.

Резкий поворот нашего общества в социальном развитии не только привел к изменениям политической и экономической систем, но и резко повернул сознание людей, их этические, моральные, нравственные устои, скажем, изменил философию жизни. Для нас, старшего поколения, окружающий мир стал настолько необычным, что этому подчас трудно дать объяснение, а иногда и оправдание. Невольно сравниваешь все вокруг с тем, что было. А что было? Было и плохое, было и хорошее. Пожалуй, хорошего больше. И дело тут не в ностальгии, в которой так часто упрекают старшее поколение иные журналисты. Дело в других нравственных мерках.

Если человек взрослеет в борьбе, в огне пожарниц и в непримиримой битве со злом, его мировоззрение, общественное сознание, наконец, его философия жизни значительно выше, совершеннее; его нравственность, этика, мораль, жизненные принципы более устойчивы.

Войну я иногда сравниваю с грохотами на обогатительных фабриках — специальными отверстиями, через которые отсеиваются пыль, грязь, труха, все непригодное... В конце грохочения остается ценное сырье, отборный продукт. Так и на войне: вна-

чале отсеиваются предатели, трусы, себязлюбцы, карьеристы, лицемеры и прочие. С войны возвращается закаленный и очищенный человеческий материал.

В общественной жизни есть такие нормы поведения, которые не могут быть определены правом, тем более политическими доктринами. Соблюдение этих норм обеспечивается традициями, обычаями, вековыми устоями, общественным мнением. Совокупность политических доктрин, правовых норм и общественного мнения составляет наиболее устойчивую часть общественного сознания, именуемого моралью, нравственностью. Общественное сознание и есть единение политики государства, права и морали, нравственности. Только в том случае, когда политика государства и права совпадают с моралью и нравственностью народа, рождается идея. А идея и является источником патриотизма — героизма, самопожертвования, милосердия.

Увы, для многих сегодня лейтмотивом жизни стало — добыть, словчить, украсть. Опошление патриотизма, как нравственной категории, опошление армии, как детища народа, опошление понятия долга в защите Отечества привели к тому, что о Россию «вытирают ноги все, кому не лень». И вот спохватились, заговорили о патриотизме. Но патриотизм — это не пуговица. Его не пришьешь при первой необходимости. Это производная нравственной философии народа, его морали. Патриотизм воспитывается на примерах жизни и судьбы предков — дедов, отцов.

В наше время великим примером для патриотического воспитания молодежи могла бы стать память о воинах, погибших на полях сражений в Великой Отечественной войне. О них можно слагать повести и рассказы, хотя некоторые считают их лишь напрасными жертвами, которые надо оплакивать, но никак не героями...

Есть о чем размышлять, ведь размышления над истоками патриотизма и предательства, войны и мира, жизни и смерти не имеют ни начала ни конца. Эти темы бесконечны и сложны, как сама жизнь.

Трус

В начале декабря 1941 года состоялось построение второго Волжского авиатехнического училища, в котором я учился с июня. Комиссар училища произнес короткую речь о том, как мы нужны на фронте. Две трети курсантов получили направления в различные запасные полки для отправки на фронт.

Пройдя переподготовку в 23-м запасном гаубичном полку в Та-тищеве, в начале июля 1942 года я оказался в Москве, где шло формирование 86-го гвардейского минометного полка «катюш». Этим соединениям присваивали звание гвардейских при формировании, что накладывало определенную ответственность на военные ведомства, отвечающие за подбор кадров. Большинство из нас были коммунисты, комсомольцы, да и общеобразовательный уровень был достаточно высок.

В эти дни и появился командир огневого взвода лейтенант Болотин. Косая сажень в плечах, среднего роста, массивная голова, тяжелый подбородок и крупные черты лица. И совершенно не гармонируя с внешним обликом, неожиданно на вас смотрели добрейшие, доверчивые, детские глаза.

Болотин был из Чувашии. По возрасту ему было за сорок, и мы, молодые, считали его пожилым. Офицерская форма на его фигуре сидела великолепно, но она выглядела нелепо, как только он обращался к своим солдатам. Будучи учителем ботаники и проработав с детворой лет двадцать, он так и остался учителем сельской школы, несмотря ни на какие переподготовки. Армейская субординация для него ничего не значила, и все мы, двадцатилетние солдаты, были для него Ванятками, Андрюшками, Гришутками. Ну а если постарше — то Иван Петрович, Григорий Алексеевич, но не товарищ боец, товарищ сержант.

Полк формировался спешно, в составе трех дивизионов по две батареи в каждом. Батарея — из четырех орудий боевых машин. Командиром нашей, второй батареи был гвардии лейтенант Лебедев, кадровый командир.

В августе 1942 года полк отбыл под Сталинград, где был включен в состав опергруппы фронта. 30 августа мы выгрузились из эшелона в Саратове и своим ходом отбыли под Сталинград в состав 66-й армии. С этой армией мы и получили боевое крещение.

Огневые позиции дивизиона расположились в овраге, поросшем кустарником, северо-западнее Давыдовки.

В эти памятные дни противник продолжал изолировать войска Юго-Восточного фронта от войск Сталинградского фронта и, развивая наступление в северо-восточном направлении к станции Барсаргино, станции Воропаево, вынудил наши части отойти на внутренний обвод Сталинграда.

Непосредственно перед фронтом 66-й армии действовали части 60-й мотодивизии, усиленной частями 16-й танковой дивизии, и до шести дивизионов артиллерии. 66-я армия во взаимодействии с 1-й гвардейской, нанося удар по правому флангу 60-й мотодивизии немцев в общем направлении на Орловку, должна была прижать части противника, действующие в районе Томилино. Нашему дивизиону была поставлена задача: сосредоточенным огнем в район западнее и северо-западнее отрогов балки Сухая Мечетка обеспечить атаку танковой бригады.

В 1942 году под Сталинградом почти не было дождей. В августе степь стояла выжженная солнцем, а наезженные фронтовые дороги покрылись толстым слоем пыли. Пыль везде: на земле, на траве, на дорогах, покрывала толстым слоем и боевые установки. Мы их постоянно протирали, чтобы механизмы наведения и направляющие не подвели в бою. Машины стояли в аппаратах*, вырытых в отрогах балки, замаскированные чехлами, покрытыми травой, бурьяном. Снаряды четырех запасных залпов были укрыты в специальных окопах, вырытых в сорока—пятидесяти метрах ниже.

В тот день мы ждали начала артподготовки. Расчеты проверяли готовность установок к ведению огня.

Вот из командирского блиндажа стремительно вышел командир дивизиона и зычным голосом, напирая на волжское «о», командовал:

— Дивизион, к бою!

Команду подхватили командиры батарей, взводов, орудий. Мгновение — и маскировочные чехлы сброшены, машины выехали из аппарелей и замерли. Командую каждой установке угломер, даю прицел. По огневой позиции перекатываются доклады командиров орудий: первое готово, второе готово...

— Огонь! — раздается команда.

— Огонь!.. Огонь!.. Огонь!.. — вторят командиры батарей.

— Огонь! — вдруг осипшим голосом, скорее прошипел, чем крикнул, гвардии лейтенант Болотин и в нервном возбуждении, подпрыгивая по-петушиному, взмахнул рукой.

* Пологий спуск в окопах и укрытиях для военной техники.

Рев реактивных снарядов на какое-то время покрыл все остальные шумы: артиллерийскую стрельбу, гул появившихся в небе немецких самолетов, стук пулеметных очередей. Огромный столб дыма и пыли от залпа дивизиона взметнулся вверх метров на сорок, давая немцам ориентир местонахождения огневой позиции «катюш».

Не успели отстреляться, как раздалась команда:

— Заряжай!

Все, кроме наводчиков, которые должны за пять—семь минут восстановить всю наводку установки, бросились бегом к снарядам. И бегом же назад со снарядом весом 47 килограммов на плече. Не дай бог уронить!

Гвардии лейтенант Болотин вместе со всеми таскал снаряды, как поросят. Через несколько минут послышалось одно за другим:

— Первое готово!..

— Второе готово!..

Немцы начали обстрел нашей огневой позиции, однако далеко не прицельный.

— Огонь! — снова раздалась команда, и вновь взрели установки, поднимая новый столб пыли и дыма.

После третьего залпа с одной и той же огневой позиции артиллерийский и минометный обстрел врага стал более прицельным. Снаряды начали рваться на нашей огневой. Ранены несколько солдат, тяжелое ранение получил комиссар полка Пилипчук. Появились вражеские самолеты — шесть или семь «юнкерсов». Раздалась команда:

— В укрытие!

Установки загнали в аппарели, солдаты попрыгали в окопы, открытые рядом.

Это было наше боевое крещение. Все мы были страшно напуганы, глаза от ужаса круглые, лица землисто-серые. Зенитная батарея, прикрывающая нашу огневую позицию, вела массированный огонь по «юнкерсам», и довольно прицельный: один самолет пустил струю густого черного дыма, отвалил в сторону и стремительно пошел вниз в сторону немецких позиций. Остальные, беспорядочно сбросив бомбы на нашу позицию, удалились, почти не причинив вреда, хотя и устроили много грохота.

Только ушли самолеты, как последовала команда:

— К бою!

Установки выгнали из аппарелей, быстро навели, и тут же команда:

— Огонь!

Не справа впереди, где ему положено быть, чтобы все командиры орудий могли его видеть, гвардии лейтенант Болотин нахо-

дился впереди, в аппарели. С каждой командой он нелепо подпрыгивал, взмахивая руками, его лицо было искажено ужасом, при каждом разрыве вражеского снаряда он приседал на корточки. Однако на нелепость его поведения никто не обращал внимания, все были напуганы и напряжены. Наши бойцы автоматически делами свое дело, несмотря на обстрел вражеской артиллерии.

— В укрытие!.. Огоны!.. Заряжай!.. Огоны!..

Бегом за снарядом, бегом со снарядом к установке, зарядить, бегом за снарядом... Только бы не упасть.

За три часа дивизион дал пять залпов. Залп дивизиона — 128 снарядов. Теперь уж противник наверняка засек нашу огневую позицию. К тому же над нами постоянно кружила «рама» (так повсеместно солдаты называли немецкий самолет-разведчик), корректируя огонь своей артиллерии. Зенитная батарея всякий раз встречала «раму» массированным огнем, но та спокойно от него уходила.

Для нас это было первое серьезное испытание боем, и мы все, как сурки, забились в окопы. Наконец огонь прекратился. Стало смеркаться. Мы сняли чехлы с установок и начали их протирать от пыли и гари.

Лейтенант Болотин тщательно вытирал прицел.

— Товарищ гвардии лейтенант, — говорит ему наводчик этого орудия сержант Гриша Сухарев, — оставьте! Отдыхайте. Я это сделаю сам.

Все солдаты с большим уважением относились к Болотину за его мягкий характер и доброту.

— Ничего, Гришутка, — отвечает Болотин. — Так мне спокойнее.

Подъехала кухня. Бойцы подходили к ней и, получив черпак гречневой каши, располагались кто где. Несмотря на то что с утра ничего не ели, все устало и лениво жевали свой ужин, постукивая ложками о котелки.

— Товарищ лейтенант, — обратился Сухарев к Болотину, — дайте я принесу вам ужин.

— Ничего, Гришутка, я сам.

Он спустился в землянку, взял котелок и, по-утиному переваливаясь с ноги на ногу, направился к кухне. Получив котелок каши, сел у входа в землянку и начал задумчиво и медленно есть. Лицо его было грустным, руки все еще дрожали...

На другой день мы трижды выезжали на запасную огневую позицию, расположенную в двух километрах от основной, и с нее давали залпы по противнику. Несмотря на то что с основной позиции огонь мы не вели, над нами с рассвета кружила «рама», и немцы обстреливали нас методично. По свисту снаряда мы очень

быстро научились определять, куда он летит. И, как правило, успевали нырнуть в щель, в какую-нибудь ямку или просто упасть на землю.

15 сентября наш полк на основании боевого приказа штаба опергруппы гвардейских минометных частей передала в распоряжение 1-й гвардейской армии.

К концу дня командир батареи гвардии лейтенант Лебедев взял Болотина, меня, своего ординарца и повел нас к нашему переднему краю, километрах в двух впереди, на противоположном склоне высоты. Дорогой объяснил задачу: получен приказ дать залп снарядами М-20 по командному пункту немцев, обнаруженному армейской разведкой.

Снаряды М-20 имеют диаметр 200 миллиметров, длина их около 1,9 метра, вес 96 килограммов и дальность стрельбы до 4,5 километра. Заряжают их в установку только по 8 штук. Такой снаряд способен вырыть воронку до восьми и более метров, в зависимости от характера грунта.

Так вот, со своей огневой позиции неприятеля мы не доставали. Следовало приблизиться к немцам.

На высоту вела хорошо наезженная полевая дорога. Наверняка немцы ее давно пристреляли. По обе стороны — брошенные поля, заросшие бурьяном. Рядом — размытый дождевыми потоками небольшой овражек.

Только мы появились на высоте, как раздался свист снаряда и за ним хлопок миномета. Мы успели укрыться в овражке, и просвистевшие в нескольких метрах осколки мины нас не задели. Следом раздался взрыв, второй, третий... Шлепнулся неразорвавшийся снаряд. Мы подождали еще минут двадцать.

Смеркалось. Обстрел прекратился, и мы, пригнувшись, по бурьяну пошли вперед. До нашего переднего края оставалось метров сто пятьдесят. Наконец ход сообщения. Мы спустились в него и почувствовали себя увереннее. Через несколько десятков метров нас остановил солдат. С его помощью нашли командира роты, и Лебедев рассказал о цели нашего прихода.

Командир роты, лейтенант лет двадцати пяти с усталым грязным лицом, с недоумением смотрел на нас:

— Да вы чокнулись?! Здесь мы как на ладони — головы нельзя поднять! А вы со своими «катюшами». Да он же разнесет тут все в дым! У него же все здесь пристреляно — каждая кочка!

Лебедев, сдержанный, немного суровый, обстоятельный командир, спокойно сказал:

— Нет у нас другого выхода.

Уже в темноте мы выбрали место для огневой позиции: сто метров в тыл от переднего края и метров пятьдесят влево от дороги, по которой пришли. До переднего края немцев восемьсот мет-

ров. Было ясно: стоит нашим установкам появиться на высоте, как немцы расстреляют нас в упор. Но приказ есть приказ. Обсуждать его не положено, да и для выполнения задачи иного выхода не было.

По дороге к себе, на основную позицию, командир батареи распорядился:

— Старший сержант, сейчас заберете водителей боевых машин, наводчиков и возвращаетесь на эту передовую огневую позицию. Делаете разбивку положения каждой установки строго по заданному направлению. Отрабатываете с водителями заезд на позицию в темноте. Каждый без ошибки должен занять свое место.

— Есть! — откозырял я, сразу поняв идею комбата.

— Лейтенант Болотин, — продолжал Лебедев, — командуете всей операцией. Дальность стрельбы максимальная, поэтому прицел выгоняйте на ходу, при заезде на огневую позицию. Залп будете давать с рассветом, когда водители смогут сориентироваться с занятием позиции, а немцы еще не очнутся. Возможно, наша дерзость вызовет недоумение у противника и позволит выиграть несколько секунд.

— Слушаюсь! — глухо отозвался Болотин.

Было уже темно, и мы, не прячась, быстро вернулись на место дислокации дивизиона. Лейтенант Болотин собрал командиров орудий, наводчиков, водителей, поставил им задачу. Из снарядных ящиков мы изготовили штук пятнадцать колышков длиной до восьмидесяти сантиметров, на верхушки закрепили белые лоскуты, разорвав для этого солдатскую рубашу, и отправились на передовую огневую позицию, захватив буссоль* и фонарики.

Прибыли на место, используя фонарики, под буссоль набили колышков — по три штуки на левую пару колес: если водитель левой парой наедет на эти колышки, установка будет точно направлена на цель.

Взошла луна. Теперь наши флажки были видны далеко. Оставалось отрепетировать с водителями, чтобы в темноте они точно свернули с дороги на огневую позицию, чтобы каждая установка стала точно на свое место в строго заданном направлении.

У обочины, где нужно было сворачивать с дороги, мы поставили еще один флажок. Два или три раза уходили и возвращались, давая возможность водителям самим отыскать поворот и свое место на огневой позиции. Наконец, часа в три ночи, вернулись на основную позицию.

Доложили командиру взвода о проделанной работе, начали готовить установки: сняли чехлы, проверили все механизмы. Нужно было немедленно ехать на передовую огневую позицию: уже

* Прибор для измерения горизонтальных углов между магнитным меридианом и направлением на предмет.

чуть начинало сереть — с близкого расстояния мы наши флажки сможем увидеть, с дальнего расстояния немцы еще нас не разглядят.

Однако минуты проходили за минутами, а комбат, ушедший докладывать командиру дивизиона, не возвращался. Наконец он появился, отдал команду выехать на передовую огневую позицию и дать залп. К сожалению, мы уже задержались минут на двадцать, рассвело больше, чем надо было. Но деваться некуда.

Как и положено, на первой машине с буссолью поехал я, на последней — лейтенант Болотин. Мы быстро проскочили эти два-три километра, отделявшие нас от передовой огневой позиции, и оказались на высотке. «Эх, как мы задержались», — подумал я с досадой.

Только мы показались на высоте, как справа от дороги взорвался первый снаряд. Слева... Справа... Слева... Справа... Так немцы сопровождали нас до самой огневой позиции. Однако ночная тренировка помогла, установки точно выехали на свои места. Я на ходу соскочил с подножки машины, и через несколько секунд буссоль была установлена.

Противник то ли был огорашен нашей наглостью, то ли корректировал огонь, но на пятнадцать секунд стрельбу прекратил. Этого нам хватило, чтобы проверить направление стрельбы, а прицелы были выведены еще на ходу.

На нас обрушился шквал огня. Сквозь грохот слышу доклады командиров орудий о готовности. Что есть силы кричу командиру звзда:

— Готово!

Проходит секунда, вторая... Не слышу команды «Огонь!». Не выдерживаю — уже лежа кричу что есть силы:

— Огонь!

То ли командиры орудий тоже не выдержали, то ли услышали мою команду, но все установки дружно открыли огонь и, отстрелявшись, тут же рванули с места. Как и было оговорено раньше, солдаты, принимавшие участие в залпе, укрылись в ближайших ровиках.

Противник перенес основной огонь на уезжавшие установки, и обстрел нашей позиции немного ослаб. Я увидел метрах в пяти-шести ровик, подхватил буссоль и, пригнувшись, бросился туда. В ровике оказался убитый, я упал на убитого солдата и все приговаривал: «Прости, друг, потерпи, у меня нет выхода...»

Установки ушли, и немцы снова перенесли огонь на нашу огневую позицию. В бинокли они наверняка видели, что не все расчеты уехали, так и молотили нас до вечера. И лишь в темноте огонь прекратился. Я вылез из ровика, крикнул:

— Ребята, кто жив — ко мне!

Подшли пять бойцов. Послышался стон — нашли еще двоих. Один ранен в плечо, перевязали — может идти сам. Другой тяжело ранен в живот. Перевязали и его, как сумели. Дал команду ребятам искать командира взвода, гвардии лейтенанта Болотина, а сам отправился к пехоте. Нашел командира взвода, попросил у него пару плащ-палаток. Он дал мне одну шинель и плащ-палатку. Когда вернулся к своим, нашли еще одного нашего солдата — убитого.

— Лейтенанта Болотина нигде нет, — докладывают бойцы.

— Кто видел командира взвода перед залпом? — спрашиваю я. Все в недоумении передергивают плечами.

— Так не годится, — говорю. — Команды «Огонь!» он не давал. Значит, либо убит, либо лежит где-нибудь раненый...

Между тем медлить было нельзя: тяжелораненый боец требовал немедленной помощи. Убитого положили на шинель, тяжелораненого — на плащ-палатку. Оставив с собой одного бойца, остальных я отправил к месту дислокации дивизиона.

Вместе с Печерским мы облазили всю местность вокруг огневой позиции в радиусе двухсот метров, но Болотина нигде не было. Лежали вокруг убитые солдаты (похоронная команда еще не появлялась), но лейтенанта среди них не было.

Около полуночи мы добрались до батареи. Отправив Печерского отдыхать, я пошел докладывать командиру батареи. Лебедев терпеливо выслушал меня, отругал: почему я бросил командира?

— Возьми бойцов, иди искать! — сурово сказал он.

Взяв с собой пять человек, я уже собрался уходить, когда ко мне подошел командир четвертого орудия Михаил Горобец. Именно на подножке его машины ехал Болотин.

— Слушай, старший сержант, когда мы выехали на высоту и разорвался первый снаряд, я видел, как Болотин сиганул с машины, но не понял куда. Ищите метрах в ста не доезжая до нашего флажка у поворота с дороги.

Я поблагодарил его, и мы пошли. Ночь была лунная, но фонарики все же взяли. Через полчаса были на месте. В радиусе, наверное, с полкилометра облазили все. Переговорили с пехотинцами в окопах — никто ничего не мог сказать. У огневой позиции, у поворота, о котором говорил Горобец, попадались убитые солдаты, мы переворачивали их, с помощью фонарика пытались опознать нашего командира взвода — все напрасно.

Стало светать. Нас начали обстреливать из минометов и пулеметов. Мы тут же попадали в бурьян — благо он стоял стеной на бывшей пахоте. Проползли метров сто вниз, поднялись и пошли.

Иду на место дислокации дивизиона, опустив голову. Понимаю: мне грозит трибунал — бросил командира. Солдаты, как могут, стараются меня поддержать.

Уже при подходе к дивизиону один из солдат тронул меня за рукав — показал на штабную землянку. Я поднял голову: на бруствере сидел лейтенант Болотин — уже без знаков различия и без ремня. Это что ж такое — ночь потратили на его поиски, а он!.. Я подошел.

— Вот видишь, Ванятка, как получилось, — грустно проговорил он, смахивая кулаком слезу.

Из его сбивчивого рассказа я понял, что с первым взрывом снаряда он сиганул с подножки машины, на ходу. Упал, подхватился. Новые разрывы. Ему казалось, что стреляют именно в него, и он, пригнувшись, попер по бурьяну куда глаза глядят, только бы подальше от переднего края. Потеряв голову от страха, он бежал от переднего края куда-то в сторону, пока его не остановил патруль заградотряда.

Только на вторые сутки он попал на батарею. Мы в это время вели поиск его следов или останков. Он чистосердечно признался во всем командиру батарее. Тот доложил командиру дивизиона, и Болотина арестовали. Ему грозили трибунал и штрафная рота. Я испытывал негодование, досаду, и вместе с тем мне его было по-человечески жалко. Ведь он добрый, душевный человек. Ну не мог он сознательно бежать с поля боя!

Философия страха, если такая существует, непонятна. Мы вот еще были «зелеными» войками, конечно, боялись за свою жизнь. Да и как не бояться, если, может, в следующее мгновение тебя не будет — разнесет в клочья. Но что-то удерживало от панического бегства, несмотря на отчаянный страх. И это «что-то» и заставляло исполнять свой долг.

Свой долг? Может быть, он и есть та сила, которая удерживает тебя от бегства и паники. В чем этот долг? Почему он заставляет тебя выстоять, защитить близкого человека, свой дом, Родину? Выходит, он сильнее страха?..

...К вечеру дивизион снялся с огневой позиции. Наш полк находился в резерве Главного Командования, и его часто перебрасывали с одного участка фронта на другой. Больше я Болотина не видел.

Много лет спустя, работая в Центральном архиве Министерства обороны, я наткнулся на приказ: «Назначить начальником караула по охране боевых машин при заводе № 180 (г. Саратов) гвардии лейтенанта Болотина Н.П.». На этом заводе после Сталинграда ремонтировались наши боевые машины.

Значит, командир полка, майор Климов, понял Болотина и спас его от трибунала.

Пропавший без вести

Павел Андреевич Лебедев появился у нас в батарее в первых числах сентября 1942 года. Уже не молодой человек, лет сорока—сорока пяти. Невысокого роста, волосы темно-русые, чуб спал на лоб. Глаза серые, смотрят на собеседника с прищуром и грустно. Команды он отдавал четко, немногословно и, как правило, не повышая голоса.

Мы считали его кадровым офицером. Об этом свидетельствовали выправка, командирский стиль, подтянутость, аккуратность в делах и в одежде. Одно немного удивляло: если он кадровый офицер-артиллерист, почему до сих пор в лейтенантах? Вот наш Тычков, командир дивизиона, моложе его, но уже капитан.

Спрашивать Лебедева об этом было некорректно и бесполезно. Он был человеком молчаливым, я бы даже сказал, замкнутым. Возможно, раньше по службе с ним что-то произошло. К командиру дивизиона относился ровно, без подобострастия, даже с чуть заметной долей снисходительности, может быть, даже скептицизма. Однако открыто это ни в чем не проявлялось.

Тычков был неплохим командиром дивизиона, хотя и несколько сумбурным человеком. Видно было, что ему льстит эта должность. Лебедев по сравнению с ним выглядел выдержаннее, уравновешеннее и, на мой взгляд, имел более широкий кругозор, а попросту был умнее. К тому же к подчиненным был требователен, но ровен, никогда не повышал голоса и не позволял себе оскорбительных выражений.

В последних числах сентября дивизион получил задачу: дать залп батареей снарядами М-20 по командному пункту одного из вражеских соединений. Чтобы достать этот КП, нашим установкам нужно выехать на передний край. Такая задача и была поставлена командиром дивизиона командиру батареи Лебедеву.

При этом у них состоялся, как говорят, крупный разговор. Выезжать на передний край автомобилем «шевроле», на которых смонтированы наши «катюши», было безумием. Противник расстрелял бы нашу батарею в дым еще до выезда на огневую позицию, как бы мы к этому ни готовились, как бы ни рассчитывали на внезапность, на чем настаивал командир дивизиона.

Лебедев же предлагал отложить залпы на сутки, чтобы подобрать более подходящую, закрытую огневую позицию. После разговора по телефону было решено отложить залп на 12 часов. Тогда и возникла мысль дать залп рано утром, на рассвете, чтобы и водители ночью не заблудились, разыскивая ОП, и чтобы снизить вероятность того, что немцы нас увидят и разнесут в щепки.

Злополучный этот залп закончился тем, что батарея потеряла семь человек, в том числе оказался один убитый, а командир взвода от страха убежал километров за пять.

Лебедев потом ходил мрачнее тучи. Переживал не за командира взвода, с которым не стал и разговаривать, а за погибшего и раненых солдат.

После долгих переговоров с политруком батареи Кочуриным, единственным человеком, с которым Лебедев подружился, Павел Андреевич представил меня к назначению командиром взвода, а также к награде. Гвардии сержант Павел Васильевич Лобанов был назначен помощником командира огневого взвода.

26 сентября 1942 года после разговора с Кочуриным, во второй половине дня, Лебедев забрал с собой Лобанова, и они ушли.

Чтобы дальнейшее было понятно, надо сказать несколько слов о месте дислокации дивизиона. Не помню, как называлась та балка под Сталинградом — районы дислокации частей были закодированы, обычно говорили: «балка с кустарником», «прямая балка» и т. п. Мы же стояли в балке Пичуга, которая имела приличные заезды, что было немаловажно, и находилась примерно в четырех километрах от нашего переднего края. Если стать лицом к переднему краю, то слева, метров через шестьдесят—восемьдесят, балка делает плавный поворот в сторону нашего переднего края, а затем — переднего края немцев. Местами она была изрезана небольшими оврагами и покрыта зарослями кустарника.

Лебедев и Лобанов ушли, никому ничего не сказав. На следующий день их нет. В это время погибает гвардии старший лейтенант Кочурин — политрук батареи. Полк меняет место дислокации.

В первых числах октября в список безвозвратных потерь были занесены двое:

Лебедев Павел Андреевич — командир батареи, гвардии лейтенант;

Лобанов Павел Васильевич — командир орудия, гвардии сержант.

Между тем совершенно неожиданно после двух недель блужданий по прифронтовым дорогам, перебиваясь случайным куском хлеба или сухаря, появился сержант Лобанов. На счастье, у него была с собой красноармейская книжка, и это позволило избежать заградотряда. Его появление встретили как явление Христа народу. И конечно же командование, политработники по очереди допрашивали сержанта. Спрашивали, где же лейтенант Лебедев.

Лобанов рассказывал:

— Вышли мы с места дислокации батареи часов в семнадцать. Дорогой комбат сказал, что идем выбирать огневую позицию, откуда можно скрытно вести огонь снарядами М-20, чтобы не рисковать и не нести такие потери, как в прошлый раз.

Идти было тяжело — балка изрезана мелкими оврагами и поросла кустарником. Через полтора часа обстановка показалась мне подозрительной. Видимо, мы миновали наш передний край. Я сказал об этом Лебедеву.

«Ладно, — решил он, — ты здесь подожди, а я гляну, что вон за тем кустом...»

Действительно, раскидистый куст впереди закрывал обзор. Но не успел Лебедев сделать и двадцати шагов, как с бугра, справа от нас, открыли ураганный огонь из автоматов и пулеметов. Я сиганул в овраг и в последний момент увидел, как в высокий бурьян упал Лебедев.

Огонь продолжался до темноты. По этому огню немцев и нашему ответному я понял, что наш передний край остался метрах в четырехстах позади, а до немецкого переднего края не более ста метров. Как мы миновали наш передний край — понять не могу...

С наступлением темноты, — продолжал Лобанов, — я ползком добрался до места, где упал Лебедев. Но его там не оказалось. Облазив все вокруг, я никого не нашел. Услыхав мою возню, немцы снова открыли огонь. Я спустился в небольшой овраг и начал выбираться из опасной зоны.

Потом две недели бродил по дорогам, пока не нашел свой полк...

Судя по этому рассказу, и в списке безвозвратных потерь Павел Андреевич Лебедев числится без вести пропавшим. На этом, кажется, можно было поставить точку. Но...

Все, кто допрашивал Лобанова, выслушали его один раз. Мне же пришлось выслушать его трижды. И хоть я и не психолог, я каждый раз отмечал совершенно новые детали, особенно когда Лобанов доходил до того места, где он искал комбата. Всякий раз это были новые мелочи и детали. Я не мог не обратить внимания, что всякий раз в этом месте он волновался и отводил глаза в сторону.

А когда мы были в Москве и получали новую материальную часть, я не вытерпел и задал ему вопрос, мучивший меня:

— Павел Васильевич, так какова же в действительности судьба Лебедева?

Лобанов от неожиданности замер. Он, видимо, считал вопрос исчерпанным. С минуту глядел на меня тревожным взглядом, а потом повторил свой рассказ, и особенно выдуманный — я уже в этом не сомневался — конец истории.

Я терпеливо слушал, но в конце уличил его в неточности. Павел Васильевич смущенно замолчал, а потом оправдался тем, что подзабыл детали или спутал.

Вернулся я к этому разговору уже после завершения Орловско-Курской битвы, когда, освободив от фашистов Орловскую область, мы вступили в пределы Украины.

На одном из привалов мы сидели с Лобановым на бревнах на опушке небольшого леса, дымя махрой. Установки были замаскированы в лесу. Золотистые, янтарные, багряно-красные листья устилали осеннюю землю.

— Павел Васильевич, — начал я, — многое ведь не вяжется в концовке вашего рассказа.

— Какого рассказа?

— Я имею в виду комбата Лебедева.

Он долго молчал. Было слышно, как трещит в самокрутке махра.

— Что ж... Все, что я рассказывал о нашем походе, — правда, до того момента, когда уже все стихло и я пополз к тому месту, где упал Лебедев. Полз осторожно, стараясь не шелестеть бурьяном, чтобы после очередной осветительной ракеты меня не обнаружили и не расстреляли как кролика.

Я... нашел Лебедева. Он был убит. В темноте я не видел, куда попала пуля, но за три часа, пока я сидел в овраге, тело его совершенно остыло, я не мог ошибиться. Приложил ухо к груди — сердце молчало...

Как бы ты поступил на моем месте? Немцы в ста метрах, а погибшего на руках не вынесешь...

— Не знаю, — честно ответил я. — Наверное, пошел бы за помощью.

— А куда? Просить пехоту — это самому лезть в штрафбат. Кто я? Как здесь оказался? За передним краем. Да и потом, зачем им это надо — новые потери. Они и своих-то не успевают хоронить. Я решил идти на батарею, взять нескольких бойцов и, пока темно, забрать тело Лебедева.

Оврагами, где ползком, где пригнувшись, я пошел назад. Меня могли расстрелять как свои, так и немцы. Нужно было пройти передний край так, чтобы не потревожить дозоры. И я это сделал: как крот перебрался через наш передний край. Дальше шел как мог быстро. Появляюсь на батарее — и ничего не могу понять: аппарели стоят пустые, вокруг брошенные ящики из-под снарядов, какое-то барахло. Нашел свою землянку. Вроде бы она, а в ней — никого и ничего. Тут я понял: пока бродил по переднему краю, дивизион уехал. Куда? Кого спросить?

Начало светать. Я пошел к артиллеристам. Помнишь, они стояли справа от нас метрах в пятистах? Но и там ничего не узнал. Ну а дальше все было так, как я рассказывал. Почему не сказал всю правду сразу? А ты бы сказал? Только честно.

— Не знаю, — задумчиво ответил я. — Не знаю...

— А я знаю! Помнишь, как тебя костерил Лебедев, когда ты пришел с огневой позиции после того залпа без командира взвода?! А ты вспомни, что он тебе сказал: не найдешь командира, он тебя отдаст под трибунал.

— Помню,— согласился я.

— Так ведь вы его действительно не видели, когда он драпанул. А я Лебедева видел. Значит, я должен был сказать, что бросил его там? И что? Думаешь, приняли бы во внимание, что дивизион снялся с позиции? Да никогда! Я бы уж давно сложил голову в штрафбате. А теперь хочешь — докладывай, хочешь — как хочешь...

Молча начал он сворачивать новую самокрутку, молча предложил кисет мне. Я тоже свернул «козью ножку». Мы долго молчали. Золотой лист плавно опустился ему на колени.

— Надо же, — невесело улыбнулся он. — Видно, хороший знак.

— Да, Павел Васильевич, забудем этот разговор.

Я поднялся и пошел готовить взвод к маршу.

В марте 1944 года в бою с немцами, вырвавшимися из корсунь-шевченковского котла, Лобанов был ранен и отправлен в госпиталь. Больше нам встретиться не пришлось.

Но главное, я теперь знал, что Павел Андреевич Лебедев честно погиб в боях под Сталинградом, пытаюсь выбрать более удобную и безопасную огневую позицию для батареи.

Итальянское каприччио

Потом, уже до конца войны, таких изнурительных боев я не помню. Были тяжелые бои на Орловско-Курской дуге, жестокие бои под Корсунь-Шевченковским, под Яссами, не менее жестокие бои за Варшаву, особенно за Берлин. Но таких, как бои за Сталинград, не было. Возможно, изменилась и наша психология. Солдат, отступавший от самой государственной границы до Волги, — не чета воину, который разгромил врага под Сталинградом и круто повернул весь ход войны.

Все лето стояла изнурительная жара. Раскаленный воздух, смешанный с дымом и пылью, ни днем ни ночью не давал пощады, першил в горле, забивал нос, глаза.

Пылью покрывалось все — одежда, машины, мелкий и жухлый кустарник в балке, где мы стояли, трава... Степи под Сталинградом бедны водой, и мы не имели возможности даже умыться.

Воду привозили ночью, и расходовалась она как малодоступный деликатес. Кормили солдат в основном ночью — один раз в сутки, остальное в лучшем случае выдавалось сухим пайком. Самолеты немцев постоянно барражировали над степными дорога-

ми, и кухня не могла к нам добраться — обязательно разбомбят. Сухой паек и недостаток воды были не меньшим испытанием, чем бои.

Наш 86-й минометный полк, недавно сформированный в Москве, был придан 66-й армии, оборонявшейся севернее Сталинграда, и дислоцировался в балке в четырех километрах северо-западнее Давыдовки. Потом мы сменили место дислокации, передвинувшись на четыре километра правее, в «балку с кустарником».

В сентябре 1942 года 66-я армия пыталась нанести удар по правому флангу 60-й моторизованной дивизии немцев, чтобы облегчить положение частей, обороняющихся в Сталинграде. Дивизион изо дня в день долбил противника залпами в шестьдесят четыре снаряда по северо-западным отрогам балки Сухая Мечетка, пытаясь огнем поддержать атаки 246-й танковой бригады, но мы так нисколько и не продвинулись вперед, хотя и отвлекли какие-то силы немцев от города на Волге.

Пятнадцатого сентября наш полк вместе с пятью другими полками гвардейских минометных частей был передан 1-й гвардейской армии. Весь сентябрь части этой армии, а также 66-й и 24-й армий на фронте от Самофаловки до Ерзовки штурмовали немецкие позиции с задачей восстановить общую с Юго-Восточным фронтом линию обороны, отвлечь на себя силы противника, наступающего на Сталинград. Ежедневно дивизион четырьмя-пятью залпами накрывал позиции немцев. Авиация противника тут же давала нам сдачи. Полк нес большие потери.

Двадцать девятого сентября командир полка подписывает приказ, где предусматривается поддержать огнем части 1-й гвардейской армии, которая имеет задачу с утра тридцатого «перейти в решительное наступление, опрокинуть и уничтожить впереди стоящего противника и соединиться со славными защитниками Сталинграда».

— К четырем часам утра иметь на каждую боевую машину по три залпа М-13 и два залпа М-20. Боеприпасы подвезти ближе к огневой позиции и замаскировать в ровиках, — приказал командир.

Противник на участке 1-й гвардейской армии подтянул огневые средства, оборудовал дзоты. Видимо, знал о готовящемся ударе. А может, это было следствием того, что 1-я гвардейская армия весь сентябрь штурмовала немецкие позиции.

Накануне, очевидно, в порядке подготовки наступления, мы ночью снарядами М-20 батареей дали залп по командному пункту немцев. Залп дали удачно.

Утром начали артподготовку. После получасовой артиллерийской обработки вражеских позиций части 1-й гвардейской и 24-й

армий начали наступать. Однако, несмотря на то что в течение дня полк то подивизионно, то отдельными батареями давал залпы по обороне противника, вперед наши части продвинуться не смогли. Единственным немаловажным фактом явилось то, что наши войска своими действиями оказали огромную помощь армиям, удерживавшим Сталинград.

Между тем наступили холода. По ночам уже подмораживало. Военные успехи не радовали, настроение безнадежности появилось то у одного, то у другого. Старший лейтенант политрук Кочурин, душевный и остроумный человек, все дни проводит в орудейных расчетах, пытаясь поднять моральный дух солдат.

Весь октябрь наши войска вели напряженнейшие бои, стараясь удержать оборону. С не меньшим ожесточением немцы бросали в бой все новые и новые резервы, пытаясь опрокинуть советские войска в Волгу. К концу октября резко похолодало, начались морозящие дожди с ночными заморозками.

В один из таких ненастных дней, второго ноября, как-то приходит политрук Кочурин. Он не то что мы — салаги, ему уже за сорок. Хитро улыбается. Мы же с недоумением смотрим на него.

— Ну, ладно, — говорит мне политрук, — в другое время мы с тебя откуп потребуем. А сейчас прими наши поздравления! — и объявляет солдатам о том, что командиру их взвода исполнилось девятнадцать.

Я же совсем забыл о таком важном событии, хотя, честно признаться, было приятно, что политрук вспомнил об этом. Все после его слов бросились ко мне и начали качать. Наконец поставили на ноги. Кочурин достал фляжку и налил вначале мне, а потом и другим граммов по тридцать водки. Всем не хватило, но обиженных не было. На том и закончился мой праздник.

А через четыре-пять дней приходит приказ: иметь неприкосновенный запас горючего для заливки, а также пять комплектов боеприпасов. Приказ поднял настроение. Еще через несколько дней дивизион ночью снялся с огневой позиции.

Мы едем в темноте, не зажигая фар, на небольшой скорости, чтобы не растягивалась колонна машин. Легкий морозец сковал лужи, начал падать снег, слегка завьюжило. Только часам к трем мы добрались до какого-то леса.

По напряженному гулу, приглушенным голосам чувствовалось, что лесок забит войсками. Командир дивизиона, майор Тычков, окая по-волжски, тихо отдавал команды, выстраивая нас на опушке леса. И вот дивизион выстроен, установки наведены по заданным целям. Все замерло. Снег пошел гуще, усилился ветер. Мы вздрагивали от озноба, хотя всем уже было выдано обмундирование: теплое белье, ватные брюки, телогрейки, валенки и прочее.

Стояли мы долго. Наконец наступил серый туманный рассвет. Валит снег, чувствуется легкий морозец, хрумтит под ногами ледок, в верхушках деревьев шумит ветер. Хорошая погода — авиации не будет.

— К бою!— уже во все горло орет Тычков.

— Огонь!

И как только взрвели «катюши», вздрогнуло все вокруг и раздался такой оглушительный треск, будто небо обрушилось на землю. Тысячи орудий начали артиллерийскую подготовку. Это было 19 ноября 1942 года. Два часа длился всесокрушающий огонь нашей артиллерии. За это время дивизион дал пять залпов. Громилась оборона 3-й румынской армии, на позиции которой и были нацелены наши войска. Погода словно поддержала артподготовку: сильнее завьюжило, усилился мороз. В короткий срок оборона румын была прорвана, и наши танковые соединения рванулись вперед. Мы — за ними, готовые в любую минуту поддерживать огнем наступающие части.

Кое-где противник пытался организовать узлы сопротивления, однако они с ходу уничтожались. Оборона врага представляла жуткую картину: оборонительные сооружения — траншеи, доты, дзоты, блиндажи были разворочены, повсюду в самых неожиданных позах валялись трупы румынских и немецких солдат, туши лошадей, самая разнообразная техника — немецкая, румынская, французская, чешская, бельгийская — танки, штурмовые орудия, машины, пушки...

За первый день наступления мы продвинулись километров на сорок. Толпы (трудно назвать их колоннами) пленных румын, сдававшихся целыми соединениями, запрудили дороги. Вид у них был жалкий: в шинелишках на рыбьем меху, в ботинках с навязанными на них соломенными снопами, в пилотках с опущенными отворотами и повязанными поверх женскими рубашками, юбками, чем попало. Однако и это их не спасало — с синими носами и губами, землисто-серыми худыми лицами, они дрожали от сталинградской стужи.

Но тут начались и наши беды, которые мы не могли предвидеть, но обязаны были проверить конструкторы: установки наши были смонтированы на шасси американских машин «шевроле». Для установок оказалась слишком слабая рама, тем более что для рам был использован неморозостойкий металл. В ходе наступления мы ежедневно давали по два-три залпа, однако, в связи с тем что температура упала до минус двадцати градусов, мы почти каждый день теряли свою технику: рама машины лопалась, кабина уезжала, а артчасть с задним мостом оставалась.

В хуторе Малый Набат мы остановились: части 5-й танковой армии в районе совхоза Советский (под Калачом) соединились с

частями Сталинградского фронта. Части 1-й гвардейской армии отвернули вправо, создавав внешнее кольцо окружения. К этому времени в дивизионе оставалась одна установка. Ею поручили командовать мне как представителю дивизиона при командире механизированной бригады.

Всю ночь мы двигались в колонне этой бригады, то и дело останавливаясь, чтобы сбить очередной опорный узел немцев. При каждой остановке я бежал к командиру бригады для получения команды. Трассирующие пули пулеметов и автоматов роем вились над нашими головами. Боевую установку вел шофер Симонов, не раз проявлявший себя с самой лучшей стороны.

Когда колонна в очередной раз остановилась, я бросился искать начальство, чтобы выяснить обстановку и задачу отделения — все, что осталось от дивизиона. Пока я отсутствовал минут пятнадцать, нервы у Симонова от густой сети трассирующих пуль не выдержали, и он развернул установку, намереваясь дать деру.

В этот момент я выбежал перед машиной, крича «Стой!» и размахивая руками. Но в грохочущей свалке шофер уже ничего не видел и не слышал, тем более что ехали мы с потушенными фарами. И вот машина трогает с места, сбивает меня с ног, я оказываюсь на спине, и по мне, прямо по животу, проезжает переднее колесо «шевроле».

Я даже не теряю сознания, только вижу, что на меня надвигается заднее колесо, а на заднем шасси вес установки со снарядами составляет около двух с половиной тонн. Собрав всю волю, едва успеваю перевернуться. Колесо проходит мимо, диффер заднего колеса слегка «гладит» меня по спине...

Солдаты, проходившие мимо, видели эту картину и подняли крик. Машину остановили, мои бойцы забрали меня из-под колеса.

Даю водителю команду развернуться, наводчику задаю прицел, угломер. Едва ворочаю руками (мышцы передавлены). Делаем залп. Затем посылаю командира орудия найти комбрига и доложить о случившемся.

Минут через десять мы повернули к месту дислокации дивизиона. Приехали, а его и след простыл. Встретил нас связной, сообщил, что передислоцировались на хутор Назаровский. Приказываю командиру догонять своих и доложить о случившемся. Сам же ехать не в силах — не могу сидеть, тем более испытывать тряску. Оставляю с собой одного солдата. Командир орудия отдал мне запасную пару белья, а бойцы собрали по своим вещмешкам на пару дней сухарей.

Расположились мы в брошенной землянке. Воды нет, ведра тоже не найдешь. Кое-как с помощью снега привел себя в порядок. Помог солдат. Через двое суток за нами пришла машина, и

мы уехали в Назаровский. Снег валил густыми хлопьями, дул сильный ветер, и мы с трудом различали полевую дорогу.

Через неделю я уже ходил. В госпиталь ехать отказался. В лесу под Назаровским солдаты срубили баню на «высшем уровне» — не только установили где-то добытый котел, но и оборудовали парилку. Такого удовольствия после полугодичного пребывания в грязи я в своей жизни не испытывал. Бойцы парились до потери сознания. Наиболее усердных выносили на улицу и катали в снегу. Снег был чистый и мягкий.

Отмылись все основательно, очистились от вшей. А я после такого лечения быстро восстановил свои силы и стал ходить.

Взвод разместился в просторном доме одинокой казачки, ее муж и двое сыновей были на фронте.

Погода нас не баловала. Уже в первых числах декабря температура падала до минус двадцати градусов, при этом мороз сопровождался ветром.

По дорогам двигались толпы немцев и румын, взятых в плен в ходе боев. Колонны немцев в пять—семь тысяч обычно сопровождали два бойца с автоматами — один впереди, другой сзади. Колонны румын не сопровождал никто. И те и другие имели жалкий вид, закутанные в одеяла, простыни, женские юбки, кофты и просто в тряпье, награбленное в домах или украденное с плетней. Как они не были похожи на тех, которые в начале войны с высокомерной наглостью грабили, насиловали, убивали женщин и детей! С обмороженными лицами, едва попадая в село, они грязной массой растекались по улицам и у каждого встречного просили: «Клеба?!»

Вот к дому, где мы размещались, подошли двое немолодых румын. Вид у них был более чем жалкий. Дрожали как осиновый лист, и видно было, что из хутора им уже не выйти — замерзнут где-нибудь под забором. Хозяйка дома, пожилая казачка, кляня их на чем свет стоит, тем не менее пустила в сени. Мы увидели у одного из них за спиной футляр скрипки.

Пригласили румын в горницу, где располагались солдаты и было жарко натоплено. Я попросил одного из румын — капра-ла — сыграть нам что-нибудь. Тот знаками объяснил, что скрипка и смычок должны согреться. Я также знаками показал — грейся сам и грей свою скрипку.

Румын снял футляр, открыл его, бережно извлек скрипку и смычок, посмотрел по сторонам, а в зале нас оказалось человек пятнадцать, и положил инструмент на пол, подальше от печи. Старый солдат Березин взял свой стул, поставил рядом и бережно положил на него скрипку и смычок.

Довольный, заулыбавшись, румын кивком выразил свое одобрение. Солдаты, расположившись на стульях и на полу, молчаливо наблюдали эту сцену. Капрал несмело изрек:

— Клеба!

Старшина Михаил Андреевич Гагарин, солдат тоже в годах, молча отрезал румынам по огромному ломтю хлеба, на каждый из них положил по паре кусков американской тушенки, налил по сто граммов водки и знаками предложил выпить и закусить.

Румыны недоверчиво и даже с некоторой опаской смотрели то на Гагарина, то на меня (мне только что присвоили звание младшего лейтенанта), то переглядывались между собой. Затем, очевидно, голод пересилил страх и недоверие. Трясущимися руками они взяли стаканы с водкой, залпом выпили и, пуская слюни, впились зубами в бутерброды. Мы молча наблюдали.

Вначале они, почти не жуя, давясь, глотали куски хлеба и тушенки, затем, видимо, после выпитой водки, успокоились и хотя жадно, но обстоятельно пережевывали пищу. Лица их порозовели, глаза блестели, румыны щурились от удовольствия. Мы их не торопили. Наконец они кончили жевать.

Капрал снял шинель, на его гимнастерке поблескивали две незнакомые медали. Он взял скрипку и несколько минут настраивал ее. Солдаты молчаливо ждали. Затем капрал встал в позу скрипача, минуту помолчал, что-то пробурчал про себя (а может, помолился) и плавно повел смычком.

Полилась тихая нежная мелодия с веселыми нотками, словно музыкант стал рассказывать о маленькой девочке-шалунье. Вот она прыгает на одной ножке, напевая что-то свое, ее веселый смех звенит в скрипичном звуке. А музыка уже рассказывает, как эта девочка превращается в девушку. Движения ее плавны и нежны, задумчивый взгляд устремлен вдаль, может, в будущее. Наконец, скрипка повествует о старой женщине, сидящей в кресле с вязаным чулком, с умилением вспоминающей свое детство...

Скрипач, закрыв глаза и покачиваясь в такт музыке, словно всего себя отдавал нежным звукам скрипки. И пока он играл, в комнату поднабилось около сорока солдат. Каждый вновь приходивший, стараясь не шуметь, выбирал себе место на полу и устраивался поудобнее.

Наконец звук оборвался. Солдаты некоторое время молчали, потом раздались редкие хлопки, одобрительные, но спокойные голоса. Мне даже как-то неловко стало за своих товарищей, за их спокойную реакцию. Лишь спустя несколько лет, уже демобилизовавшись, я слушал по радио эту музыку в исполнении Давида Ойстраха и узнал, что это была соната № 25 Моцарта. Но солдатами она осталась непонятой.

Румыны тоже о чем-то между собой переговаривались. Наверное, поняли, что музыка впечатления не произвела. Капрал вновь поднял скрипку, закрыл глаза, помолчал и вдруг ударил смычком по струнам. Раздался сигнал тревоги. Солдаты замерли в напряженном ожидании. А скрипка уже продолжала вещать о чем-то грозном, тяжелом, злом, о каком-то всеобщем бедствии. Слезы и кровь. Скрипка стонет, плачет, кричит: «Беда! Горе! Вот оно!» Грохот канонады. Нашествие. Грозное и тяжелое...

Ах, как этой скрипке недоставало симфонического оркестра! Или хотя бы фортепианного сопровождения. Но солдаты все поняли. Это же война! Их лица застыли в суровом ожидании. Лишь желваки подрагивали на их лицах, руки непроизвольно сжаты в кулаки, глаза хмуро глядят в пространство, не замечая ничего перед собой.

...А оно все ближе, ближе, уже захватывает тебя, давит. Море крови и слез вокруг, море горя и печали...

Я узнал. Это было «Итальянское каприччио» Петра Ильича Чайковского. Наш школьный оркестр играл его на вечерах.

Вот скрипка почти затихает, печальная мелодия еле слышна. Безысходность... безнадежность... тоска и смирение...

Скрипач уловил впечатление от своей игры. Пот градом катился по его лицу, в глазах сверкали слезы. Играл он мастерски. Недоставало лишь оркестра.

Я не музыковед и не знаю истории написания этого произведения. Однако, несомненно, первая часть его представляла для всех нас, солдат, вражеское нашествие. Может быть, Петр Ильич изображал нашествие Наполеона на Россию или войну вообще. Возможно, тему подсказала и другая жизненная ситуация. Но все солдаты восприняли музыку именно так — это война. Вот почему вмиг посуровели лица, вот почему их глаза выражали ненависть, вот почему сжаты кулаки.

Неутешное горе народа слушатели увидели в лицах миллионов обездоленных людей, бредущих по пыльным дорогам Белоруссии, Украины, России...

Смирение? Но что это? Росток жизни, радости, тихий, несмелый, однако эта сама жизнь. Она есть. Она теплится, растет, пробивается к свету, к справедливости. И вот уже росток набирает силу...

Раздаются несмелые, но торжествующие нотки. Вскоре они превращаются в торжественный и грозный шаг. Идет победное шествие, чувствуется уверенный шаг. Гремит заключительный аккорд. Народ победил. Народ выстоял. Лица солдат посветлели, разжались кулаки, они с одобрением и каким-то умилением глядели на музыканта. И не было здесь ни победителей, ни побежденных. Был талантливый музыкант и благодарные слушатели.

Скрипач взял последний аккорд и замер, наклонив голову. С минуту стояла глубокая тишина. Потом грянула волна аплодисментов, раздалась крики одобрения. И румын понял, что наши солдаты умеют ценить и понимать музыку. Музыку жизни. Улыбаясь от счастья, кивая в знак благодарности, утирая слезы рукавом, он наклонился и стал укладывать скрипку в футляр.

Появился старшина Гагарин, неся две поношенные, но еще добротные шапки-ушанки и две пары теплых байковых портянок. С шапками румыны сообразили, что надо делать. А на портянки глядели с недоумением, пока ефрейтор Березин не снял свои валенки и не показал, как портянки следует наворачивать на ногу. А когда рюкзаки румын солдаты нагрузили хлебом и консервами, они оба расплакались и, уходя, все твердили:

— Рюски карачо. Гитлер капут... его мутер...

Они уже прошли первые уроки «русского языка».

Согласны на медаль

День был жаркий. Из синего марева ветерок приносил примесь гари редких взрывов снарядов или мин. Полк гвардейских минометов дислоцировался в районе Ольховатка, Поньри по хуторам и балкам, по ночам меняя место дислокации. О готовящемся наступлении немцев на орловско-курском выступе командование знало.

Ежедневно командир полка гвардии полковник Климов вместе с командирами дивизионов и батарей обходили линии обороны наших войск, выбирая основные и запасные огневые позиции в районе Ольховатка, Поньри, где занимала оборону 13-я армия, которой и был придан 86-й гвардейский минометный полк. Самих поселков — ни Ольховатки, ни Поньрей — уже не было. Над развалинами возвышались лишь печные трубы да иссеченные осколками деревья. Влево от станции Поньри уходила невысокая насыпь, вдоль насыпи — неглубокий кювет. Рельсов не было — давно разобраны на блиндажи.

Ночь на 5 июля. Прохлады не чувствуется. Утомленные дневной жарой солдаты спят тревожно, некоторые погружены в тяжкие думы о жизни, о семьях, оставшихся без кормильцев...

В районе станции Малоархангельск на нашу сторону перебежал немецкий солдат, сообщив, что 5 июля в два часа тридцать минут немцы начнут генеральное наступление. Зная о нем в общем, командование не имело точной даты. Теперь стали известны и дата, и время — до решающего события оставалось примерно полтора часа.

Нас подняли по тревоге, и мы спешно помчались на огневую позицию. С нами поехали и машины боепитания с комплектом снарядов на залп. Привычно и быстро навели установки по заданным прицелам и угломерам. Рядом, на огневой позиции артиллеристов, слышалась какая-то возня, глухо раздавались команды... Как всегда в предчувствии боя, по спинам солдат и офицеров пробежал озноб, а у некоторых даже мелко задрожали челюсти. По опыту знаю — это совсем не признак трусости, а напряжение нервов. Гнетущее ожидание может вызвать и такую дрожь, и нервный неудержимый хохот, и... что угодно.

Но вот командир дивизиона майор Аверьянов, очевидно, тоже от нервного напряжения истошно заорал:

— Огонь!

Едва взревели наши установки, как тут же раздался страшный грохот: артиллерия всех систем и калибров, для которых наш залп был сигналом, открыла огонь. Едва отстрелялись, как машины боепитания подкатили к боевым машинам.

— Заряжай! — орет Аверьянов. — О готовности доложить!

Через три-четыре минуты — командиры батарей, взводов:

— Готово!.. Готово!.. Готово!..

Грузовые машины тут же рванули с огневой позиции.

— Огонь! — командует Аверьянов уже более спокойно.

Не успели боевые машины отстреляться, как раздалась команда «Отбой!». Расчеты попрыгали на машины, и они устремились к местам стоянки. Огневой налет нашей артиллерии продолжался минут пятнадцать—двадцать, но мы уже знали места сосредоточения немецких танков, частей пехоты, огневых точек артиллерии и нанесли немцам немалый урон. Достаточно сказать, что враг начал наступление на три часа позже, а это было дополнительное время для подготовки наших войск.

Немцы наконец собрались с силами и пошли в наступление. Главный удар они наносили в направлении Ольховатки по обороне 13-й армии генерала Пухова. Сосредоточив на этом направлении до пятисот танков, противник пустил в авангарде тяжелые танки «тигр» и штурмовые орудия «фердинанд», а за ними группами по пятьдесят—сто машин средние танки и бронетранспортеры с пехотой.

Встретили мы врага как надо! С воздуха штурмовики, бомбардировщики, эскадрилья за эскадрилей, штурмовали колонны немцев, а все виды артиллерии и минометы обрушили на них лавину огня. Артиллеристы подпускали танки к огненным позициям и расстреливали их в упор. Мы всем дивизионом дали семь залпов в районы Архангельское, Сокольники, Бузулук, где были скопления резервов врага. Два наших залпа ударили прямой наводкой по танкам. Уничтожили четырнадцать танков, много пехоты.

Все вокруг заволокло дымом и пылью, солнца не было видно, а к концу дня в ста метрах ничего нельзя было различить: где наши, где немцы? Лица бойцов и командиров покрыты смесью черной гари и пыли.

— А-а, какой мы им дастархан устроили! — оскалив белые зубы, смеялся Насыбулин, наводчик четвертой установки.

— А что такое «дастархан»? — поинтересовался кто-то.

— А-а,— он всегда свою речь начинал с протяжного «а-а», — это у нас, у казахов, так называют праздничный стол.

И действительно, наши солдаты всех родов войск поработали на славу. Сражаясь стойко, смело маневрируя, перебегая из окопа в окоп, расставляли по полю противотанковые мины на направлении движения танков. Первым их глазами степняка увидел сержант Насыбулин.

— А-а, смотрите, что делают! — вскричал он, показывая рукой на поле боя.

В полутора километрах перебегали из «норы» в «нору» наши солдаты. Вначале мы не поняли, в чем дело. А когда увидели, как один за другим подрываются немецкие танки, застыли в восхищении, потрясенные мужеством наших солдат. Правда, и гибло их много. Было видно, как они, не добежав до окопа, падают, сраженные то ли немецкими, то ли нашими снарядами и минами, которые беспрерывно летели в наступающие немецкие танки.

В пылу подготовки залпов и стрельбы было некогда рассматривать эту героическую и далеко не равную борьбу. На месте павших появлялись новые герои, и снова танки взрывались, герои падали сраженные. Подвиг этих солдат потряс нас до глубины души. И мы невольно отвлекались от своих дел.

Я не историк и не стратег, обыкновенный солдат — командир огневого взвода. Но я нисколько не сомневался, что это добровольцы. Не может быть, чтобы командование приказало вести таким образом войну против танков.

Не знаю, какая роль отводилась саперам в предстоящем сражении, какую роль они сыграли в разгроме немцев под Поньярами, но уверен, что подвиг их не менее значим, чем подвиг танкистов во встречном бою.

Поле битвы было покрыто убитыми и ранеными. Горели более сотни немецких и наших танков. Гейзеры огня, дыма и земли фонтанировали вокруг от взрывов артиллерийских и минометных снарядов, от бомбовых ударов авиации. Несмотря на то что день клонился к вечеру, было такое ощущение, что рассвет так и не наступил. Дымом и пылью небо было затянуто так, что солнечные лучи не могли пробиться до земли. Лишь после четвертой или пятой танковой атаки немцам удалось с огромными потерями бронетехники и пехоты вклиниться в нашу оборону на

шесть—восемь километров и на узком участке фронта выйти на ее вторую линию.

Шестого июля весь день продолжались упорные бои. В небе сотни самолетов: немцы с ожесточением атакуют наши позиции, наши самолеты с не меньшим ожесточением бомбят фашистов. То и дело вспыхивают воздушные бои между истребителями. Оставляя за собой шлейф дыма, то один, то другой самолет устремляется к земле и взрывается огненно-дымным вулканом. Летчики иногда успевают выбраться, иногда нет.

За день наша батарея дала девять залпов. Бойцы падали с ног. После каждого залпа мы срывались с огневой позиции, отъезжали на три-четыре километра к складу боеприпасов, спешно заряжались. Работали все — и солдаты, и офицеры. Снаряд «катюши» весит около 50 килограммов, одна установка заряжается 16 снарядами, а времени на зарядку почти не было.

Батарея все время подвергается атакам немецких штурмовиков, наши позиции обстреливаются фашистской артиллерией и минометами. Погиб командир 383-го дивизиона Сергиенко, у нас убит командир орудия Сухарев, ранены шесть бойцов орудийного расчета. Те, кто легко ранен, идти в госпиталь отказываются, но и подавать снаряды не могут. Командир батареи гвардии капитан Каменюк сидит на наблюдательном пункте в окопах пехоты и, как только мы появляемся, тут же из блиндажа выглядывает телефонист, орет благим матом, чтобы перекричать грохот:

— Гвардии лейтенант, вас вызывает комбат!

Бегу, беру трубку, слышу:

— Угломер!.. Прицел!.. Понял?.. Давай быстрее!

Выскакиваю из блиндажа. Боевые машины уже выезжают на дорогу. Прыгаю на подножку «студебекера» и — на огневую позицию. Уже по дороге нас начинают обстреливать самолеты. С ходу разворачиваемся на огневой позиции. Слышу:

— Первое готово!.. Третье готово!.. Второе готово!.. Четвертое готово!

— Огонь! — ору во всю глотку.

Отстрелявшись, установки тут же разворачиваются, расчеты прыгают на машины кто куда и — на склад боепитания. Небо и земля заплыли дымом, пылью от нашего залпа, от разрывов снарядов, мин, бомб. Грохот разрывов, рев пикирующих бомбардировщиков, атакующих танковые колонны немцев,— все слилось в невообразимом хаосе.

Через узкую щель броневого щитка, опущенного на лобовое стекло машины, почти ничего в дыму и пыли не видно. Впереди, метрах в тридцати, разрывается бомба, слышен грохот осколков по кабине, но машина идет, опустившись передними колесами на диски... Красный свет заволок мне правый глаз. Пытаюсь прот-

реть его, неимоверная боль пронзает голову. Но вот и место укрытия батареи.

Мне повезло. Тут же оказался врач полка, гвардии капитан Костя Тахчи. Обработав рану, он плоскогубцами вытащил осколок величиной в четверть копеечной монеты. Пробив пятимиллиметровый бронещиток, осколок вонзился мне в лицо чуть повыше правого глаза.

— Пойдешь в госпиталь? — спросил врач, перебинтовал мне голову.

— Нет, Костя. Сейчас решается все. Да и рана пустяковая.

— Да, пустяковая. Поцелуй броневой щиток: если бы не он, этот осколок тебе бы мозги насквозь прошел.

— Ладно, расцелую!

Мы выстояли и второй день боя, несмотря на то что немцы бросали в бой все новые и новые резервы. Не сумев прорвать нашу оборону в районе Ольховатки, перегруппировав силы, 7 июля враг изменил направление главного удара, бросив более 200 танков и пехоту на Поньри. Атаку немцы начали с рассветом.

Я получил приказ сменить огневую позицию. Запасная позиция была расположена у самой станции Поньри. Она немного прикрыта обрубленными деревьями, развалинами самой станции и каких-то строений, а также небольшой насыпью бывшей железной дорога.

Командир батареи гвардии старший лейтенант Каменюк только что возвратился с наблюдательного пункта и, приняв команду на себя, сам повел колонну. С ходу развернулись. Готовим залп. Насыбулин, оторвавшись от прицела и прихрамывая на раненую ногу, кричит:

— Смотрите, смотрите, что делают!

В полутора километрах от станции Поньри, справа, широким фронтом идет колонна немецких танков, штук восемьдесят. Наши бойцы, перебегая перед фронтом, что-то укладывают в землю и тут же прыгают в близлежащий окоп. Это опять минеры, но теперь уже нет времени следить за их работой.

— Огонь! — командует комбат.

Я успел заметить, как несколько танков подорвались на минах, остальные же были встречены ураганным артиллерийским огнем. Несмотря на то что уже более десятка немецких танков подорвались на минах или горели, расстрелянные артиллеристами, колонна упрямо двигалась вперед. И тогда на большой скорости ей навстречу ринулись наши «тридцатьчетверки»...

На месте дислокации команда:

— В укрытие!

Загнали боевые установки в аппарели, зарядили их и замаскировали. Комбат снова ушел на наблюдательный пункт.

Часов в пять, когда санинструктор Саша Ефимов закончил делать мне перевязку, начальник штаба дивизиона гвардии старший лейтенант Зукин дает данные для стрельбы и команду срочно выехать на огневую позицию и дать залп. Все эти дни мы стреляли по ближним целям: скоплениям танков, мотопехоты, по артиллерийским или минометным батареям противника, когда дальность стрельбы не превышала три-четыре километра. А тут смотрю на бумажку, которую мне сунул Зукин, дальность стрельбы предельная — 7,5 километра. Наверное, какой-то штаб нащупали. Подъехали к огневой позиции. Машины занимают боевой порядок. Подбегает майор, весь в копоти и пыли, с грязными потоками пота на лице:

— Лейтенант, дорогой, Христом богом молю, дай залп по этим танкам!

Он показывает рукой: прямо на станцию Поныри, может быть, чуть левее, плотной колонной движутся штук пятьдесят танков. До них — километра два.

— У меня там нет ни одного минера. Ребята погибли, — добавляет майор.

— Товарищ майор, я не могу не выполнить приказ. У меня вот данные для стрельбы. Вы же понимаете, если нарушу приказ — трибунал...

Однако голос у меня неуверенный. Я уже видел работу этих блестящих людей. Быть равнодушным к их мужеству я не мог. Я колебался, хотя твердо знал: не выполню приказ — меня накажут. И это будет справедливо. Война есть война. И можно ли допустить самодельность, где все подчинено единственному стратегическому замыслу? «Но я ведь сделаю очень полезное дело для победы», — нашептывало мне мое сердце. «Одна жесткая дисциплина на войне — это превыше всего», — говорил мне долг.

Рядом стоят командир орудия Горобец, ему под сорок, уравновешенный, хладнокровный гвардии старший сержант; полная ему противоположность санинструктор Саша Ефимов; горячий, порывистый и такой же живой и подвижный наводчик Насыбулин. Все они выжидательно глядят на меня. Горобец без всяких эмоций, спокойно, деловито:

— Давай, гвардии лейтенант, нужно бить.

Я быстро соглашаюсь с ним в душе: «Черт с ним, с каким-то там штабом, пусть еще десять минут поживут».

— К стрельбе прямой наводкой по танкам, прямо по ходу, готовься! — кричу я срывающимся голосом.

По этой команде нужно быстро подкопать под передние колеса — уменьшить угол стрельбы, — чтобы не было перелета.

— Не нужно! — кричит Саша Ефимов.

Вместе с Насыбулиным они бегут к его установке. В тридцати метрах неглубокий кювет вдоль насыпи. Как раз то, что нужно! Все машины занимают позицию. Танки, на ходу стреляя, двигаются уже в полутора километрах.

— По танкам! — кричу я. — Прямой наводкой! Упреждение ноль-ноль! Огонь!

Вся колонна танков покрылась взрывами и потонула в огне и пыли. Когда дым немного отнесло ветром, мы увидели: три танка горят, а четыре стоят «мертвыми», остальные же пятятся назад, ведя огонь по нашей огневой позиции. Майор достал из планшетки блокнот, черкнул несколько слов, сунул мне бумажку, обнял, прижав к себе, бросил:

— Спасибо, лейтенант! — и побежал по своим делам.

На последней машине я помчался к месту дислокации, обгоняя своих и показывая знаками: «Быстрее! Быстрее!» Уже подъезжая к пункту боепитания, я увидел, что навстречу бегут Зукин и командир дивизиона гвардии майор Аверьянов, размахивая кулаками. Я вздохнул и сказал своему помощнику Арменаку Саркисяну, сидевшему в кабине:

— Давай, Арменак, заряжайте как можно быстрее. А мне сейчас будет «танец с саблями».

Спрыгнув с подножки, я подошел к командиру дивизиона, взяв под козырек:

— Товарищ гвардии майор, я вынужден был дать залп прямой наводкой по наступающим танкам противника. Вот, — и вручил ему записку майора-сапера.

Тихо, чтобы не слышали бойцы, майор зло прошипел:

— Засранец. Немедленно на огневую позицию — и дать залп по указанной цели. Потом явишься ко мне. — И зло добавил: — Истребитель танков!

— Слушаюсь! — ответил я. — Разрешите исполнять?

Вместо ответа он гаркнул:

— К бою!

Пока командир дивизиона расточал мне «любезности», боевые установки были заряжены. Все понимали, что мы содеяли. Окружили заместителя командира дивизиона по политчасти гвардии капитана Осетрова и с жаром рассказывали ему о нашем залпе прямой наводкой по танкам, о других деталях боя.

Капитан Осетров — бывший директор школы — пользовался уважением среди солдат и командиров. Большая часть из нас — вчерашние школьники. Он же — всегда подтянутый, как бы ни было трудно на фронте, всегда с чистым подворотничком, вежливый и спокойный в обращении; «вы» он говорил всем — от солдата до генерала. Так жаль, что не удалось ему дойти до Берлина:

вскоре он нелепо погиб. Впрочем, сама война огромнейшая нелепость.

Подбегая к машинам, я на ходу крикнул:

— К бою!

Капитан Осетров, сжав мне руку выше локтя, мягко сказал:

— Ничего, лейтенант, обойдется. Счастливо вам.

Залп мы дали по заданной цели с опозданием на 18 минут, и я до сих пор не знаю, что это была за цель.

Затем мы вернулись на место дислокации, зарядили установки и замаскировали их в аппаратах. Был поздний вечер, но гул боя не утихал ни на минуту. Клубы дыма и пыли накатывались на село — все время першило в горле. Я пошел в штаб дивизиона, который располагался в небольшом сельском домишке. Спросил разрешения войти, на что командир дивизиона грубовато буркнул:

— Заходи, — и снова добавил: — Истребитель танков...

Тут же сидел и комиссар дивизиона, как мы его по старинке называли между собой. Да он и был настоящим комиссаром.

— Ну, рассказывай.

Я глянул на Осетрова. Он ободряюще мне подмигнул. Я обстоятельно доложил, как было дело, рассказав о том, как саперы останавливали танковые колонны и как это поразило нас.

— Ну надо же было им хоть чем-то помочь?! — заключил я.

Гвардии майор Аверьянов с минуту молчал, потом начал раздраженно:

— А ты знаешь, сколько матюков выслушал я от командира полка?!

— Наверное, он плохо знает русский язык, — неожиданно для самого себя выпалил я. — Вот у него запаса слов и не хватило...

— Ох, грамотей! Вот я тебя к нему направлю, а ты ему это и разъяснишь. Вынужден подать на тебя рапорт. Пойдешь под трибунал. Может, и повезет, говорят, после твоего залпа немцы по всему фронту побежали. Можешь идти.

— Есть! — козырнул я и вышел.

Майор Аверьянов был порядочным человеком, умным и рассудительным, хотя и напускал на себя вид этакого строгого командира. Но все мы видели, что скрывается под такой напускной строгостью, и уважали его не меньше, чем капитана Осетрова. К сожалению, и Аверьянов погиб под Корсунь-Шевченковским в бою, когда вырвавшаяся из окружения небольшая колонна немцев — около 300 человек пехоты и три танка — напоролась на нашу огневую позицию.

А тогда я вышел от него не в лучшем настроении, хотя в душе уже знал, что все обойдется. Не может быть, чтобы под трибунал отдавали с каламбурами.

Три дня прошло, а меня никуда не вызывали. И вот встретил капитана Осетрова. Он похлопал меня по плечу:

— Все в порядке. Готовьте представление к наградам ваших бойцов, истребитель танков, — повторил он слова майора Аверьянова.

Сражаясь с врагом, расстреливая танки под их встречным огнем, никто из нас не думал о наградах. Главное — сделать все для общей победы. Тем не менее мы представили наградной материал почти на всех бойцов батареи: как-никак мы уничтожили 17 танков, трижды стреляли прямой наводкой. Представления — в основном на ордена.

Однако один из обиженных генералов не пропустил наградной материал 384-го дивизиона. Жаль, что личная обида одного человека не позволила объективно оценить подвиг солдат. Уже новый командир полка подполковник Зазирный, принявший соединение в середине июля, своей властью наградил всех медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» — на это он имел право.

Что ж, мы не в обиде. Согласились и на медали.

13 июля противник окончательно выдохся. Наш полк передали в состав 2-й танковой армии. Началось общее наступление Центрального фронта.

Сашка

Я и не вспомню, когда и откуда пришел к нам в дивизион этот человек. Медаль «За отвагу» у него уже была. Стало быть, не из тыла.

Впервые я увидел его в июле 1943 года, когда прямой наводкой мы били по вражеским танкам под Поньрями. Убедившись в том, что командиру второго орудия, сраженному осколком в голову, помощь уже не нужна, он вскочил на подножку машины и звонким мальчишеским голосом крикнул:

— К насыпи!

Машина рванула вперед, и через несколько секунд передние колеса были уже в кювете. Сашка первым открыл огонь.

На второй день, когда мы спешно сворачивали позицию и готовились к маршу вслед за наступающими передовыми частями, старшина Александр Ефимов перевязывал раненых бойцов, и я с некоторым удивлением узнал, что Сашка — санинструктор. А по тому, как он командовал установкой в бою, его можно было признать за командира-артиллериста.

Я подошел к нему:

— Спасибо, старшина, выручил.

— Сочтемся, лейтенант, — перевязывая плечо бойца, ответил он улыбаясь.

Его улыбочивое лицо мне и запомнилось. Солнце уже село, но стояла тяжелая духота, пропитанная дымом и пылью. Пилотка Сашки была сдвинута на затылок, сосредоточенное лицо покрыто потом, смешанным с пылью, окровавленные руки умело и проворно делали свое дело.

Через несколько дней я встретился с ним на марше. Дивизион двигался, как мы говорили, «прыжками». Немцы, отступая, вели яростные оборонительные бои. На каких-то рубежах им удавалось на час-другой задержать наступление наших передовых частей. Но вскоре подтягивались танки, артиллерия, на оборонительные рубежи немцев обрушивались мощные удары, и наше движение вперед продолжалось.

И вот очередная короткая остановка.

— Привет, лейтенант, — подошел к машине Сашка.

— Здорово, старшина. — Я открыл дверцу машины и протянул ему руку.

С этих дней началась наша дружба, родившаяся на огневых позициях под Понырями.

Старшина Александр Ефимов был родом из Томска. Там жили его родители, сестры. На войне специальности не выбирают. Сражаются тем оружием, которое тебе дали. Сражаются до конца... Сашка здорово сражался. Умело и деловито. Он был прекрасным санинструктором. Но память о нем сохранила не только это.

Вторая танковая армия генерал-лейтенанта Богданова, с боями продвигаясь на юго-запад, заняла Севск. Механизированная бригада, которой был придан наш дивизион «катыш», вырвалась далеко вперед, оторвавшись от других частей и артиллерии. Мы вышли на окраину большого села, где немцы успели создать сильную оборону.

Взять село с ходу не удалось, так как артиллерии не было, а у нас оставался один боекомплект. Машины с боеприпасами также отстали, застряв где-то в дорожных пробках. Солнце уже садилось за горизонт, когда немцы сильной фланговой атакой при поддержке танков прорвали растянувшиеся позиции бригады, и вместе с приданными частями она оказалась в окружении, заняла круговую оборону. Пехоты не хватало, и по команде комбрига все, кто был способен носить оружие, ушли в оборону. Ушли и мы, ушел и Сашка.

Село располагалось на двух склонах, между которыми в низине протекала небольшая речушка. Часть села была у немцев. Вторая часть, расположенная на ближнем склоне, находилась в наших руках. Установки были размещены и замаскированы, насколько это было возможно, у крайних изб.

Немцы предприняли несколько попыток ликвидировать окруженную группу наших войск, однако всякий раз откатывались под плотным прицельным огнем.

Стемнело. Вдруг мы услышали где-то в огородах, метрах в ста от немецких позиций, детский плач. Бесперывный, жалобный, подвывающий. Было невыносимо его слышать даже тем, кто немало повидал на войне.

— Товарищ гвардии лейтенант, — обратился ко мне Сашка, — разрешите нам с Березиным выяснить, в чем дело.

— Отставить! Отсюда до немцев двести метров. Может, они специально посадили «ловушку». Рассчитывают на дураков.

Осенняя ночь была темной и прохладной. Прошло еще минут тридцать. Плач, берущий за душу, не прекращался, и теперь уже я не выдержал.

— Старшина, — тихо позвал я Сашку, — бери Березина и Молчанова, попробуйте выяснить, что там такое. Но будьте осторожны. Не лезьте на рожон. Мы попытаемся отвлечь немцев стрельбой.

Сашка и два бойца исчезли в темноте. Через несколько минут на левом фланге участка, который обороняли гвардейцы-минометчики, поднялась беспорядочная стрельба...

Вернувшись Сашка рассказал:

— Я дал команду Березину и Молчанову следовать на расстоянии четырех-пяти метров, чтобы при необходимости они могли подстраховать меня и прикрыть огнем. Еще днем в сотне шагов мы заметили плетень, местами разрушенный, а дальше сарай и избу. Кромешная темень. Ползком по картофельной ботве двигаемся к плетню. Подползли. А где же дыры? Влево... вправо... Ага, вот. Нужно расширить дыру, чтобы пролезть. Хворост сухой — трещит. Раздвинули. Все спокойно. Плач явственно доносится от избы. Слышу, ребята ползут за мной. Стоп, что это? Сруб. Колодец. Днем я его не видел... До избы совсем близко — метров пятнадцать. Я уже вижу ребенка, сидит на чем-то длинном, как бревно. Догадываюсь — труп. Наверное, мать... Ребенок тихонько и жалобно плачет. Мальчик? Девочка? Как бы не испугать, чтобы не закричал. Впереди слышна немецкая речь.

Машу рукой Березину и Молчанову. Подползают. Надо действовать. «Молчан, — шепчу, — ползи назад к плетню. Потом отползи дальше влево, метров на пятьсот и дай несколько очередей из автомата. А ты, Береза, здесь у колодца будешь меня прикрывать».

Молчанов исчез в темноте. Ребенок вдруг затих. Уснул?.. Лежим. Полчаса, час?.. Вдруг почти рядом слева очередь... вторая, третья. Немцы ответили шквальным огнем из автоматов.

В один бросок я оказался у избы, заметил мертвую женщину, неудобно свернувшегося ребенка — заснул на груди мертвой матери. Схватил ребенка — легонький, совсем нет веса. Он даже не проснулся, всхлипнул только... Броском назад за сруб, к Березину. Упал на колени, одной рукой держу ребенка, отползаю к плетню. Вокруг начинают щелкать пули. Заметили или услышали возню. Стараюсь прикрыть ребенка. Девочка. Два-три года. Слышу автомат Березина. Отвечает или немцы? Страшно неудобно ползти. Девочка проснулась и испуганными глазенками смотрит на меня. Молчит. «Потерпи, родная, потерпи, — шепчу, — сейчас у своих будем».

Плетень. Не найду лаза. Подняться? Боюсь шальной пули. Сейчас это совсем ни к чему. Вдруг Молчан тихо: «Давай ребенка!» Но девочка вдруг обхватила меня руками, прижалась. Комок подкатил к горлу. Ручки у нее в чем-то липком. Догадался — кровь матери. «Ладно. Справлюсь. Помоги Березину».

Сзади захлебывается очередями автомат Березина. С трудом перелезаю через плетень. Уже бегу, пригнувшись. Навстречу спешат трое наших. «Помогите Березину и Молчанову. Похоже, им жарко. Слышите?» — «Беги-беги, затем и идем». Ну вот и все...

Сашку на руках вместе с девочкой ссаживают в траншею. Ребенок испуганно смотрит на бойцов, молчит и жметесь к Сашке. Вскоре возвращаются Молчанов и другие бойцы. Вчетвером несут раненого Березина — у него на груди справа пятно. Дышит с хрипом, кровавая пена изо рта.

Сашка с трудом оторвал от себя ручки девочки, передал ее Молчанову. Девочка начинает тихонько плакать. Сашка разрезал гимнастерку Березину, перевязал рану. Березина положили на плащ-палатку, понесли к машине.

Сашка моет девочке руки и тщательно вытирает их бинтами. Затем берет девочку на руки. Старшина Гагарин, пожилой солдат, по нашим тогдашним меркам, молча сует девочке кусок американской тушенки и хлеба ломоть. Девочка ест жадно, почти не жуя.

— Ну вот, дорогая наша добыча. Как тебя зовут? — спрашивает Сашка.

— Маня, — сонно шепчет девочка и тут же засыпает на Сашкином плече.

Вблизился рассвет. Мы молча стояли вокруг Сашки, на руках которого спала девочка. В темноте то и дело высвечивались огоньки сигарок. Пожилой сержант Щетинин отошел в сторону, усиленно засморкался.

— Вот что, старшина, — говорю я. — Мы не знаем, как сложится обстановка и что нас ждет завтра. Рисковать жизнью ре-

бенка нельзя. Отнесешь его вон в тот дом, где живут старики, пусть приютят. Да соберите, что у нас есть из харчишек.

Сашка молча пошел к домику, бережно держа девочку на руках...

Бои шли непрерывной чередой, и каждый был занят своим тяжелым делом. Виделись мы не каждый день. Последний и роковой для Сашки эпизод, который я помню за нашу короткую, но крепкую фронтовую дружбу, произошел в районе Джулинки, западнее Корсунь-Шевченковского.

Была середина марта 1944 года. Заряды мокрого снега с дождем, вязкий чернозем — дороги в непроезжем состоянии. Мы сцепляли буксирные тросы, и сто—сто пятьдесят человек, как бурлаки, тащили боевые установки на себе. Снарядов и горючего не хватало. Боепитание везли на волах, несли на носилках, кто как мог. Большую помощь нам оказывали жители украинских деревень.

Вторая танковая армия держала оборону на внешнем кольце окружения. Немцы яростно атаковали и внешний фронт и внутреннее кольцо окружения, стараясь вырвать свои части из корсунь-шевченковского котла, избежать второго Сталинграда.

К вечеру дивизион сосредоточился недалеко от Джулинки, в балке, в двух километрах от переднего края внешнего фронта. Впереди, метрах в пятистах, второй эшелон нашей обороны. Выставив с четырех сторон боевое охранение, дивизион приступил к рытью аппарелей для боевых установок.

Быстро темнело. Поднялся ветер, пошел мокрый снег. В двух шагах ничего не видно. Копать трудно. Земля, смешиваясь с мокрым снегом, превращалась в вязкую грязь, которую нелегко сбросить с лопаты. Однако мы спешили: к рассвету нужно зарыться. Как всегда в таких случаях, копали все — и солдаты и офицеры. Мы с Сашкой копали аппарель для второго орудия, командиром которого был назначен сержант Цветков.

Бой вокруг окруженной группировки не затихал ни на минуту. Земля гудела и дрожала. Снег то на время прекращался, и тогда небо немного светлело, то с новой силой обволакивал все вокруг темной пеленой.

Немцы под прикрытием ненастной погоды предприняли очередную попытку вырваться из кольца, но мощным огнем артиллерии и танков были отбиты. Однако небольшой группе — три танка и около 300 человек пехоты — удалось просочиться через передний край внутреннего кольца окружения. Наш дивизион оказался на пути этой группы.

На восточном крае огневой позиции охранение открыло стрельбу. Дивизион немедленно подняли «в ружье». Но в снежном

вихре ночи немцев заметили слишком поздно. Их танки и пехота ворвались на нашу позицию. Огневую мощь своих установок мы уже использовать не могли: «катюши» оказались беспомощными, их нужно было спасать. Командир дивизиона подал команду выводить установки. Водители бросились к машинам, но непролазная грязь сделала установки малоподвижными, и вражеские танки расстреляли две машины в упор. У нас оставались лишь автоматы да гранаты. Мы заняли оборону в незаконченных аппаратах.

В крошечной тьме завязался жаркий неравный бой. Помимо трех танков немцы вдвое превосходили нас численностью. Однако никто не дрогнул, мы яростно отбивались. Аппараты оцетинились огнем автоматов. Немцы не менее яростно поливали нас пулеметным и автоматным огнем, расстреливали из танковых пушек.

Перед нашей аппаратурой появился танк, облепленный пехотой. Немцы, конечно, не собирались ввязываться с нами в бой, а спешили убраться подальше от котла. Сашка метнул в танк лимонку (они всегда были у него в санитарной сумке) и дал длинную очередь из автомата. Мы поддержали его огнем своих автоматов. Немцы посыпались с танка как горох...

Наконец со второй линии обороны раздались автоматные и пулеметные очереди. Это пехотный батальон, занимавший позиции впереди нас, развернулся и пришел нам на помощь. Раздалась команда — отсечь пехоту от танков. Мы застрочили короткими частыми очередями. Огонь противника начал слабеть. Танки, бросив свою пехоту, устремились к переднему краю.

Из соседней аппаратуры раздался крик:

— Санинструктора!

Сашка бросился к соседям, но, не добежав, выронил автомат, взмахнул руками, как будто пытался схватиться за голову, и упал. Вражеская пуля угодила ему в голову...

Уже перед передним краем артиллеристы противотанкового дивизиона расстреляли вражеские танки. Большая часть немецкой пехоты полегла на нашей огневой позиции. Мы взяли около ста пленных. Но не стало Сашки — старшины медицинской службы, санинструктора 384-го гвардейского минометного дивизиона 86-го гвардейского минометного полка.

Когда бой затих, мы подошли к Сашке. Он лежал, широко раскинув руки. Мокрый снег уже успел нанести белую маску на его лицо. Тогда подумалось: Маня уже не увидит своего спасителя, если ей суждено выжить.

Похоронили Сашку в братской могиле на высотке под Джулинкой. Прощальный трехкратный ружейный залп в предрассветный час слился с грохотом артиллерийской канонады, возвестившей о начале нового победного утра и о конце корсунь-шевченковской группировки немцев...

Степной орел

Многим из нас не однажды приходилось наблюдать звездный дождь, когда в атмосферу попадает метеоритный поток. Мы с восхищением видим, как великолепную черноту неба прорезают яркие светящиеся трассы. И вдруг в этой черноте возникает невероятно яркий, словно серебряный, луч, след падающей звезды. И кажется, это совсем рядом, стоит только протянуть руку...

Таким в моей фронтовой жизни серебряным лучом на миг вспыхнул Самагуль Насыбулин.

После завершения Сталинградской битвы наш 86-й гвардейский минометный полк очень короткое время пробыл в Москве, получая пополнение и новую материальную часть, смонтированную на «студебекерах».

16 февраля 1943 года мы получили предписание отбыть к новому месту дислокации по маршруту: Белорусский вокзал, Серпухов, Тула, Ефремов, Елец. Вот тогда-то ко мне в огневой взвод прибыл сержант Самагуль Насыбулин.

Раньше он служил в артиллерийском полку, был награжден медалью «За отвагу», характер имел общительный и сразу завоевал всеобщее уважение. Правда, к новому виду оружия — «катюшам» поначалу относился с пренебрежительным снисхождением.

Причина такого отношения понятна: Насыбулин прибыл из артполка, где на вооружении была 122-миллиметровая гаубица с очень высокой точностью стрельбы. Если стрельбой управляет толковый командир, а у прицела такой же наводчик, то стрельбой этой гаубицы, как говорят влюбленные в свое дело артиллеристы, можно расписываться.

Наши же установки предназначены для стрельбы по площадям — по скоплениям пехоты, танков, автомашин, обозов и т. п. Дальность стрельбы «катюши» — до 7,5 километра, и потому наш огонь эффективен не только в ближнем бою, но и в разгроме резервов противника. Насыбулин это понял не сразу.

Говорил он с сильным акцентом, иногда коверкая слова до неузнаваемости, но его понимали, поскольку он точно и образно сопровождал свою речь жестами.

— А-а, шума полна казан, а в казане даже вода нет! — с возмущением говорил он вначале о наших залпах.

Однако работал бесподобно: всегда раньше всех докладывал о готовности открыть огонь. Правда, вначале в эффективность нашей стрельбы не верил.

— А-а, разве можно убить каскыра (волка) дробом (дробью)? — возмущался он.

Одну из таких реплик однажды услышал комбат капитан Каменюк. Улыбнувшись, он спокойно заметил:

— А ты знаешь, сколько весит твоя «дробь»?

— Знаю, товарищ гвардии капитан, — один снаряд сорок семь килограммов весит.

— Молодец. Собирайся, поедешь со мной на наблюдательный пункт.

Через два дня Насыбулин вернулся с наблюдательного пункта с совсем другим отношением к «катюшам». Теперь он все свободное время проводил возле установки, протирал прицел, направляющие, электрические контакты на направляющих, поворотные и подъемные устройства, смазывал их, любовался оружием, и уход за основными рабочими механизмами установки не доверял никому.

А на наблюдательном пункте случилось вот что. Немцы уже начали подготовку к штурму наших оборонительных рубежей на Орловско-Курской дуге. И стали подтягивать резервы: пехоту, танки, штурмовые орудия. Все это противник делал по ночам, а днем тщательно маскировался. Однако разведчики 81-й стрелковой дивизии, которую поддерживал наш полк, установили, что правее нашего НП, километрах в четырех, сосредоточено большое количество пехоты и танков противника.

Командир дивизиона гвардии майор Аверьянов решил дать залп по этому скоплению — «с толком, с чувством, с расстановкой». И вот, находясь на НП вместе с капитаном Каменюком, он поставил задачу: в 8.00 дает залп 2-я батарея (наша), в 8.12 по этой же цели — 1-я батарея, а в 8.35 цель вновь накрывает 2-я батарея. Коварство такого огня хорошо знают фронтовики.

Наводчик Насыбулин, ожидая огня нашей батареи, приник к окулярам стереотрубы. В 8.00, шипя, со звоном, прошли наши снаряды, и опушка леса покрылась огненными взрывами — один... десять... тридцать... шестьдесят четыре мощнейших огненных смерча. Возникло около десятка очагов огня — горели машины и танки. Насыбулин во все глаза глядел на эту картину уничтожения, прицелкивая языком.

Прошло пять, десять минут. Уцелевшие немцы вылезли из щелей и начали собирать раненых, тушить пожары, отгонять от горящих машин уцелевшую технику...

И вдруг новый звенящий шип — и новые гейзеры огня покрыли опушку леса. Теперь уже немцы затаились надолго. Все вокруг — и техника, и земля — горело и чадило. Минут через двадцать немцы наконец успокоились и стали снова зализывать раны. И тут вновь неожиданно на их головы обрушился третий залп!

Насыбулин, воевавший раньше в ствольной артиллерии, был потрясен и восхищен увиденным. Став свидетелем разгрома немцев, наводчик рвался на огневую позицию — дать залп по неприятелю. Все подговаривал своего командира орудия Мишу Цветкова, спокойного, уравновешенного сержанта. Тот лишь довольно улыбался, хлопал наводчика по плечу и приговаривал:

— Не дергайся, успеешь!

Бои в эти дни шли вяло. Полк и наш дивизион изредка давали залп одной-двумя установками, редко батареей. Однако каждый солдат знал, что впереди нас ожидают кровопролитные сражения, хотя никто об этом вслух не говорил. Только немецкая авиация проявляла активность: все время барражировал самолет-разведчик, высматривая линию нашей обороны, особенно наши «катюши».

Все лето 1943 года авиация противника не давала нам покоя. Стоило нам дать залп, как налетали «юнкерсы» и начиналась бомбежка. Мы уже применяли новую тактику: отстрелявшаяся установка не должна ждать новых команд — немедленно уезжает к месту дислокации под прикрытие зенитных батарей и там маскируется.

Противник подтягивает значительные резервы. Мотопехотные, танковые части, артиллерия и минометы размещаются почти в каждом лесочке, в каждой балке. Нам все чаще приказывают стрелять по скоплениям немцев. Поэтому вражеская авиация настойчиво охотится за нами. Огневых позиций у нас уже три, и мы их не успеваем менять.

Где-то в середине июня приказано дать залп в район Малоархангельска. На передней установке командир батареи капитан Каменюк, второй едет установка Миши Цветкова, с ним в кабине санинструктор Саша Ефимов, на подножке, стоя — Насыбулин. Я еду замыкающим, тоже на подножке машины. В кабине шофер и командир орудия Василий Васильевич Горобец, добродушный, рассудительный ростовчанин.

Не успели достичь огневой позиции, как «рама» нас засекала и вывалила свой бомбовый груз. Особого вреда не причинила, но у Цветкова ранило водителя, Николая Ивановича Голованова, спустил левый передний скат. Машина стала — некому вести. Третья установка проскочила мимо не останавливаясь — таков военный закон: залп должен быть дан.

Я не могу остановиться — навожу установки на цель. Подъехал на огневую позицию, расставляю буссоль и кричу комбату:

— Ранило Голованова!

— Наводи быстрее и — огонь! — командует мне комбат и бежит к установке Цветкова.

Не успел он пробежать и двадцати метров, как навстречу со страшным ревом, наклонившись влево и вперед, мчится установка — за рулем Насыбулин. Узкие глаза степняка округлились, но вид решительный, даже злой. Он с ходу занял свое место, выскочил из-за руля и бегом к прицелу. Помощники уже крутили ручку подъема. Я только что закончил наводку остальных установок и скомандовал Насыбулину угломер и прицел. Я не стал ждать, когда он закончит наводку. По фронтовому опыту мы знали: «рама» о нас уже сообщила на свой аэродром, и самолеты противника будут вот-вот.

— Огонь! — ору что есть мочи и через несколько секунд: — Отбой!

Вижу, что установка Цветкова дала залп вместе со всеми. «Успел все же, — одобрительно подумал я о Насыбулине, — вот орел!» Я подбежал к ним. Саша Ефимов уже заканчивал перевязывать Голованова. Подбежал и комбат.

— Все уезжайте, заберите расчет. Я сам поеду, — заявил Насыбулин.

«Рама» неотлучно кружила над огневой позицией. Сейчас должны появиться штурмовики.

— Я с тобой, — заявил я.

— Нет, ты будешь командовать или советы давать. Я один.

— Ладно, — согласился Каменюк. — Успеха тебе, Самагуль.

Мы погрузили Голованова и сами разместились на машине Горобца, на которой приехал комбат. Самагуль рванул с места, и машина пошла, чуть накренившись влево, вперед.

Появились «юнкеры». Мы устремились за Насыбулиным. Два самолета оторвались от стаи и направились к нам. Остальные начали бомбить огневую позицию.

Мы обогнали Насыбулина. Он вел машину, открыв дверцу и стоя одной ногой на подножке. Машина шла с креном, левая передняя крышка болталась на диске.

Два «юнкера» догоняли Насыбулина. Вот он резко повернул вправо, и тут же бомбы легли по его прежнему курсу. Он погнал машину к небольшому леску в овраге, без дороги, прямо по степи. До леска оставалось метров триста.

Самолеты развернулись и пошли на машину в лоб, открыв огонь из пулеметов. Насыбулин круто загнул влево и ушел из-под огня. Вновь разорвались бомбы, и водитель повернул прямо к леску.

«Юнкеры» развернулись снова и теперь пошли на установку уже вдогонку. Насыбулин резко нажал на тормоз, машина замерла, а сам он прыгнул в ближайшую воронку.

Пулеметная очередь взметнула пыль перед машиной, и бомбы разорвались метрах в сорока впереди.

Заходя на новый круг, самолеты начали подъем с левым разворотом над самым леском. И тут прямо в брюхо «юнкерсу» угодил зенитный снаряд. Самолет взорвался над лесом, и вниз посыпались его куски. Второй самолет все же зашел на цель и в упор выпустил очередь из пулемета, еще раз сделал круг, несмотря на огонь зенитки, и только потом удалился.

Насыбулин подошел к машине. Вид у нее был потрепанный, но вполне боевой: левой крышки нет вообще, из радиатора течет вода, лобовое стекло разбито. «Нишего», — решил Насыбулин, сел на подножку, свернул самокрутку, глубоко затянулся. «Нишего», — еще раз успокоил он себя и пешком направился к месту дислокации.

Навстречу ему уже мчался грузовой «студебекер» с арттехниками и с нами, его друзьями. Всю эту картину мы наблюдали в бинокли с расстояния в два километра, но ничем помочь степняку не могли. Только переживали за него.

Подъехали к нему, попрыгали из машины, начали его обнимать, хлопать по мокрой от пота спине.

— Ты разве водишь машину? — спросил я.

— А-а, дома на тракторе ездил. Я и летать могу, только не могу подняться, — смеялся Насыбулин.

Через неделю установка была готова. Взяв с собой командира орудия Цветкова и Насыбулина, я пошел принимать артиллерийскую часть, а саму машину принял шофер.

Внимательно опробовали все механизмы. Насыбулин все осматривал сам, не доверяя ни мне, ни командиру орудия. Закончив приемку, свернул самокрутку, затянулся и с наслаждением проговорил:

— А-а, кыз жаксы. — И добавил: — Хороший девочка «катюша»!

Между тем обстановка на фронте в районе Малоархангельск, Поньры накалялась. Со дня на день мы ожидали массированного наступления противника. И вот наконец...

По тревоге полк подняли в два часа ночи. Все три дивизиона выехали на огневые позиции, и тут же всем полком дали залп. За нами загрохотала ствольная артиллерия — пушки, минометы. Огневой налет длился двадцать минут. Упреждая немцев, мы громили их боевые порядки, выстроенные для наступления.

В пять утра 5 июля немцы провели артналет и перешли в наступление. Появилась вражеская авиация. Огромная масса фашистских танков устремилась к нашему переднему краю. Наш дивизион — все восемь установок — провел массированный огонь по намеченным целям и по наступающим немцам.

Насыбулин, не отходя от прицела, все время кричал своим помощникам: «Правее... левее, выше... ниже», а то и командиру орудия: «Огонь!» Временами он что-то бормотал на казахском и вновь отдавал команды. Машины со снарядами шли чередой к установкам. Все — и солдаты, и командиры — бегом подносили снаряды, и тут же раздавалась команда «Огонь!». Не обращая внимания на бомбежку, мы продолжали напряженно работать. Вскоре подоспела и наша авиация, стало полегче.

Несмотря на наше активное противодействие, противнику удалось кое-где продвинуться километров на пять—семь.

Наш полк был придан 13-й армии, и за три дня боев только наш дивизион сжег 27 танков противника. Все поле перед огневыми позициями было усеяно горящими танками. В течение нескольких дней противник безуспешно пытался прорвать нашу оборону, неся колоссальные потери, но советские войска стояли крепко и надежно.

А в середине июля был нанесен массированный удар по обороне немцев, она была прорвана, и мы устремились вперед. Ежедневно давали по восемь—десять залпов. Наш взвод боепитания едва успевал подвозить снаряды. Солдаты были уставшие, измученные, как черти, но в хорошем настроении — сознание своей силы окрыляло людей.

Теперь каждый день освобождаем какое-нибудь село, городок или поселок. Жители, в основном женщины, радостно встречают нас, обнимают, целуют. Солдаты, грязные, пропотевшие, отвыкшие от женских объятий, смущаются.

Вышли к Дмитрову-Льговскому. Небольшая речушка Свала. Насыбулин прямо в одежде первым бросился в воду — отмываться. За ним последовали остальные. Я ринулся было выгонять их из воды, но комбат, смеясь, махнул рукой:

— Пусть, не пешком ведь идти.

Но, как на грех, едва тронулась колонна, налетели восемь «юнкеров», начали бомбить.

Огонь наших зениток оказался неэффективным. Мы понесли потери: десять раненых, двое погибших — капитан Роцин и командир орудия Миша Цветков. Их тут же похоронили, дав прощальный залп двумя установками по скоплению противника. Одно утешало, что не пострадали наши боевые машины: их по степи разогнали в разные стороны.

Уже под Севском полк переподчинили 2-й танковой армии. Наш дивизион поддерживает действия механизированной бригады 7-го гвардейского механизированного корпуса. Собрал расчет, построил, вывел Насыбулина, объявил, что он назначен командиром орудия. Наводчиком к нему определил Кесекбая Бралкова.

Взяли Севск. Бригада, которую мы поддерживали, рванулась вперед. Мы за ней. Вошли в какое-то село. Уже изрядно темнело. Дали два залпа по заданным координатам. Бой постепенно затих.

Темно и тревожно. Установки мы разместили по дворам, кое-как замаскировали. Команда — отдыхать. Выставили усиленный наряд охраны, но бойцы не спят. Непокойно на душе. Собираются кучками, каждый расчет у своей машины, негромко переговариваются, курят. Кое-кто, накинув шинель на плечи, привалился к завалинке и так и заснул, несмотря на сентябрьскую свежесть ночи. Покашливают в темноте часовые, стараясь дать знать о себе товарищам и тем самым подбодриться.

Расчет Насыбулина увеличился вдвое. Сам Насыбулин, накинув шинель на плечи, сидит на завалинке, а вокруг расположились человек пятнадцать бойцов, слушают его рассказ:

— Младшая невестка Жибек побежала к Тулеген-беку. Ношь, как в желудке у верблюда. Девочка бежит, падает — нада быстрее рассказать Тулеген-беку о плохом сне, который видала Кыз-Жибек. Не нада Тулеген-беку ехать. Жаман, плохо дело будет...

Насыбулин вел рассказ медленно, вдумчиво, прерывая его очередной затяжкой. Огоньки сигарок, вспыхивая от затяжек, выдавали внимательных слушателей. Было уже около двух часов. На северной окраине села, откуда мы вошли, вспыхнули зарницы, слышались разрывы снарядов, пулеметные и автоматные очереди. Объявив тревогу, я побежал к комбату.

Тот был уже на ногах.

— Что случилось? — спросил он.

— Я знаю не больше вас.

Вместе спешим в штаб дивизиона. Слышно, что на северной окраине села идет настоящий бой. Близится рассвет, но тревога не утихает. Несколько успокаивает начальник штаба дивизиона Иван Николаевич Кольчик, высокий спокойный капитан, которого, кажется, ничто не может вывести из себя. Прибежал командир 1-й батареи гвардии старший лейтенант Петр Зукин.

— Нас немножко окружили немцы, — невозмутимо замечает Кольчик.

— Что значит — «немножко»? — удивляется гвардии капитан Каменюк.

— А то и значит, — продолжает Кольчик, зная страх Каменюка перед пленом, — что в плен немцы будут брать только по выбору — тебя, например, возьмут, а нас расстреляют.

— Да ну тебя к черту! Нашел время шутки шутить!

— А всерьез вопрос такой: сколько у кого снарядов?

— У меня один залп, шестьдесят четыре штуки, — спешит ответить Зукин.

Мы с Каменюком переглядываемся: говорить или нет о нашем «секрете»?

— Что вы там скрываете, как нашкодившие дети? — посуровел Кольчик.

— Да у нас шестьдесят восемь снарядов, — вздыхает Каменюк. Глаза у Кольчика полезли на лоб:

— Вы что? Вы их в карманах возите?

Перевозить снаряды на боевых установках сверх того, что шло в заряд, было категорически запрещено. От случайного толчка они могли сдетонировать, и тогда быть беде: взорвутся все шестнадцать снарядов. Насыбулину никто об этом не сказал, а сделать это должен был в первую очередь я, да я в суматохе дел как-то забыл об этом. А Насыбулин с шофером Мункуевым придумали новшество: сделали приспособление, куда можно было разместить стояком четыре снаряда.

Об этом я узнал, когда мы в последний раз заряжались, а взвод боепитания уже уехал. Командир первого орудия Горобец как всегда спокойно заявил: «Лейтенант, посмотри, как зарядился Насыбулин». Я подошел к установке и приказал поднять брезент. Тут и увидел четыре стоящих снаряда, закрепленные по всем законам науки и техники.

Действительно, ни к чему нельзя было придраться, разве что по уставу не положено. А куда теперь деть эти снаряды? Машины взвода боепитания ушли, мы на марше. А если внезапно прозвучит приказ «Огонь!»?

А они, черти, и это отработали: по команде «К бою!» двое, как положено по уставу, снимают чехол, а двое за десять секунд убирают защелки и укладывают снаряды рядом с передними колесами машины — в наиболее безопасное место...

Я был в раздумье — что делать? Везти снаряды в таком виде — преступление: если рванет, половину колонны уничтожим. Бросить снаряды у дороги — еще большее преступление. Насыбулин заметил мое замешательство:

— Мы сделали что-то не так?

Я объяснил ему суть их самоуправства, продиктованного своими добрыми намерениями, и велел не распространяться о своем новшестве.

На первом же привале я обо всем доложил комбату. Он тут же сорвался с машины и помчался к установке Насыбулина. После обнаружения четырех снарядов он задохнулся от негодования, а потом его прорвало:

— Да как же ты, твою мать, никого не спросив, не сказав... Да ты знаешь, что ты мог наделать?! Да нас всех под трибунал!!!

Насыбулин стоял, опустив голову, но совершенно спокойно отвечал:

— Теперь знаем, товарищ гвардии капитан. Лейтенант сказал. Тогда не знал. Хотел лучше.

— Что будем делать? Как же ты просмотрел? — накинулся Каменюк на меня.

— Ну, теперь уж чего руками размахивать. Предлагаю: я с этой установкой еду последним в колонне. Буду держать дистанцию с разрывом метров в пятьдесят. — Я ободряюще похлопал Насыбулина по плечу — он благодарно улыбнулся.

Обо всем этом я и доложил Кольчику, который так же невозмутимо отреагировал:

— Грунскому выговор за то, что не знает, что делается у него во взводе. Насыбулину — благодарность за находчивость... Теперь так: мы окружены — вся бригада. Командованию корпуса об этом уже известно, оно требует от нас продержаться около полутора суток — подтянут резервы, чтобы выволить нас из котла. По приказу командира бригады все, способные носить оружие, идут в круговую оборону. Личное оружие привести в порядок. Проверьте толовые заряды и капсулы к ним, если установки придется взрывать, хотя, я думаю, до этого дело не дойдет...

Сообщение начштаба особой тревоги у нас не вызвало. После Сталинграда и Орловско-Курской дуги мы уже верили в свою непобедимость. Молча закурили.

Скорым шагом подошел майор Аверьянов — командир дивизиона. Разложил карту села, расчертил зоны обороны. Картина выявилась весьма скромная — каждая батарея могла выставить восемнадцать—двадцать бойцов.

— Тут еще вот какая задача. — Командир дивизиона пригласил всех к карте. — Здесь, — показал он прямоугольничек обозначения, — шестиствольный миномет немцев. Комбриг поставил задачу его уничтожить. Во-первых, кому это можно поручить? Во-вторых, есть своя специфика. Дело в том, что в селе много наших советских людей. Залповый огонь вести нельзя, погубим немало жителей.

Размышляя о первом пункте поставленной задачи, я шепнул на ухо Каменюку:

— Насыбулин.

Тот замешкался с ответом, а Аверьянов строго посмотрел на меня:

— Ну, как думаешь, гроза немецких танков?

— Товарищ гвардии майор, — начал я, — это может сделать командир орудия сержант Насыбулин. Конечно, предварительно мы с ним должны посмотреть условия и пути отхода.

— Согласен. На подготовку — два часа. Затем миномет должен быть уничтожен. Можете идти готовиться.

— Есть! — Я козырнул и вышел.

Вернувшись к себе, заметил, что у установок оживленно обсуждают новости. Солдаты уже все знали.

— Товарищ гвардии лейтенант, мы в окружении?

Я рассказал об обстановке и в заключение в шутку добавил:

— Сейчас с Насыбулиным пойдем прорываться к своим...

Выслушав меня, Насыбулин кивнул:

— Моя смотреть должна.

Захватив с собой автоматы, в сопровождении еще одного бойца мы направились к школе. Улица медленно понижалась, и внизу было видно большое кирпичное здание барачного типа. Оно смотрелось как на площади, но рядом, метрах в сорока, стояли домики крестьян. Садами мы прошли метров пятьсот и оказались на перекрестке: проулок узкий, но вполне проходимый для машины под прямым углом пересекал улицу.

Отсюда отлично просматривалась школа. Возле углового дома замаскирована наша «тридцатьчетверка». Три ее танкиста дружелюбно поздоровались с нами. Мы рассказали о своей задаче.

— Это здорово! — командир танка от волнения даже шлем снял. — Чем вам помочь?

Начали обсуждать, как можно дать залп прямой наводкой по школе. Стрелять прямой наводкой и в ствольной артиллерии считается большим искусством, а у наших «катюш» это могут делать лишь опытные мастера. В горизонтальном положении самой машины направляющие со снарядами уже приподняты на двадцать градусов. При этом дальность будет около двух километров. Если придется стрелять ближе, нужно под передние колеса копать ямки или находить их на местности. И только наводчик — мастер высокого класса — может на глаз, чутьем определить, каким должен быть наклон направляющих.

Определили: установка должна стать, не доезжая до перекрестка метров двадцать. Отстрелявшись, она тут же едет вперед, сворачивает в проулок и соседней улицей вверх — назад. Все вроде бы получается, с места установка успеет уехать, пока немцы поймут, что стрельба закончена. А как на соседней улице? Прошли переулок до следующего перекрестка.

Соседняя улица простреливается немцами насквозь. Командир танка все понял: без их помощи установке отсюда не уйти.

— Да, лейтенант, так у тебя ничего не выйдет. Расстреляют вас немцы. Давайте так: как только вы появиться на той улице, откуда будете стрелять, я перегоню танк на эту улицу и начну обстреливать передний край немцев. Он начинается вон там, за школой, за речушкой... Ты вот что, ты иди в мотопехоту, они там, за домиком, метров сто. Это наш передний край. Договорись с ними. Хоть и маловато их там, но пусть поднимут стрельбу по

переднему краю фрицев. Пока те разберутся, что к чему, вы успеете отъехать метров на двести. Ну а там, как повезет...

И мне и Насыбулину план понравился. Но тут Самагуль подкинул еще одну проблему:

— Лейтенант, на передние колеса ямка нужна.

— Что еще за ямка? — удивился танкист.

— Успокойся, — сказал я, — это наше дело. Лопата у тебя найдется?

— У хозяев, наверное, есть...

— Лопата не нада. — Насыбулин вытащил из карманов две толовые шашки с капсюлями и бикфордовым шнуром.

— Ладно, — понял я его мысль. — Только будь осторожен, а то тебя подстрелят раньше, чем ты пошлешь им гостинец. Жди меня у танкистов.

Я направился в мотопехоту. Нашел командира роты — лейтенанта такого же возраста, как и я. Все ему обстоятельно объяснил. Он здорово обрадовался: сам почти сутки охотится за этим шестиствольным минометом.

— Конечно, людей у меня маловато, но шуму все равно наделаем. Постараемся не дать немцам вас расстрелять.

Мы пожали друг другу руки, и я ушел. Подхожу к танку, а его командир мне говорит:

— Ну и артист у тебя командир орудия. Знаешь, что он сделал? Забрал у хозяев веревки, скрутил арканом, привязал к ним тол, поджег шнур и бросил арканы — сначала один, потом другой. Ты знаешь, точно легли — куда он хотел. Чуть-чуть веревкой поправил, и обе шашки тут же взорвались...

— Ты неправильно определил. Он не артист. Он джигит. Степной орел — вот он кто?

Пока мы разговаривали, Насыбулин стоял в стороне, улыбаясь, потом подошел к командиру танка и говорит:

— Слушай, друг буд, проедь танком по ямкам туда-сюда...

— Ладно, другом буду, — рассмеялся танкист.

По дороге обратно я говорю Самагулю:

— Все вроде бы должно получиться, только вот неясно, как подъехать к нашей огневой.

— Шота придумаем, — беспечно ответил Насыбулин.

Пришли к себе. У машины нас ожидали Каменок и Кольчик. Оба сидели на завалинке и разговаривали с группой бойцов. Я обстоятельно доложил обо всем, что мы проделали. Оба внимательно нас выслушали.

— Вот только, — заключил я свой доклад, — неизвестно, как доехать до огневой позиции. Немцы могут нас расстрелять, как только мы появимся на этой улице.

— Нет, если ест немцы, ест музыка. — Это Мункуев, шофер боевой машины. Обычно он говорил по-русски хуже Насыбулина, хотя друг друга они понимали отлично, объясняясь на какой-то смеси казахского, бурят-монгольского и русского языков. — Нас с музыком будут встречат...

Все недоуменно уставились на него. Кольчик нетерпеливо кивнул: объясняй!

Мункуев начал:

— Лейтенант, помнишь, ездил мы давать залпа под Сталинградом?

— Ну и что?

— Когда немцы начал стрелят? Она сразу не стрелял. Она удивлялась и думала, куда мы едем? Она стала стрелят потом, две-три минута, как мы были на сопке. Так?

— Верно, — согласился я.

— Мы едем на улица, большой скорост держим. Маскировку сорвем, фарами мигаем, на капот — белая флага. Они думают, в чем дело? Больше думают — нам лучше. Толко мне знат нужно, где Насыбулин канавка сделал.

Все молчали. Кольчик взглянул на часы:

— У нас есть еще сорок минут. В предложении Мункуева есть что-то. Но война показала нам уже, что немцы далеко не дураки. Нет, не дураки...

— А давайте еще вслед установке поднимем стрельбу: дескать, сукин сын, убежал! — добавил Каменюк.

— Итак, — резюмировал Кольчик, — план принимается в следующем виде. Ты, — указал он на меня, — собираешь десять бойцов с автоматами. Строго инструктируешь, чтобы какой-нибудь чужак не врезал по установке. Половина ведет огонь выше установки, остальные слева и справа, чтобы пыль схватывалась. Только сзади в землю не стрелять. Не дай бог срикошетит в снаряд. Ты понял?

— Я сам канавка должен смотрет, — заволновался Мункуев. — А то потом Насыбулин кричат будет, недоехал — переехал. Знаю его.

В это время раздались знакомые завывания шестиствольного миномета. Снаряды, шурша, прошли у нас над головами и взорвались в районе, где еще вчера стоял штаб бригады. Хорошо, что сегодня его там уже не было. Кольчик продолжал:

— Время, отпущенное нам командиром дивизиона, истекло. Сам слышал. И Насыбулина обвинять не нужно — он командир. Я знаю, он сегодня кричать не будет. Ты, Мункуев, должен выскочить на улицу с большой скоростью, хотя бы километров пятьдесят. На радиатор нацепи кусок рубашки. Флага не нужно — поймут: обман. Я и так не очень уверен, что номер пройдет.

Едешь быстро и переключаешь фары. Ты, Насыбулин, ориентируй Мункуева, где твои ямки. Важно, чтобы он увидел их заранее. Как вы сумеете отстреляться — это дело вашего мастерства, здесь я вам ничего сказать не могу, только от всего сердца желаю успеха. И переживать буду за вас. Отстрелявшись, действуйте по плану, как обговорили все с танкистами.

Начштаба обратился к Каменюку:

— Теперь ты, комбат. Подготовь буксир на случай, если при выезде машину Насыбулина подобьют. Сам понимаешь, немцы разозлятся. Они все сделают, чтобы расквитаться с орлами. — Гвардии капитан Кольчик посмотрел на часы: — На подготовку пятнадцать минут. Я пошел докладывать командиру дивизиона. — Поднялся и ушел.

— Все ясно? — спросил комбат.

— Так точно! — отвечали мы хором.

— Тогда по местам.

Я обнял Насыбулина, потом Мункуева.

— Ну, братья, — сказал я как можно бодрее, — ни пуха вам ни пера, — и побежал собирать свою «группу преследования».

Собрав группу и объяснив задачу, предупредил, чтобы сгоряча не вмазали в установку, вывел бойцов на перекресток, разместил по дворам.

Минуты шли в тревожном ожидании. Вроде бы все предусмотрели, но за годы войны я имел возможность не раз убедиться, что немцы умеют воевать и на мякине их не проведешь. Однако другого выхода не было. Обстановка сложилась такая, что у фашистов не хватало сил нас додвинуть, а у нас не было возможности вырваться из окружения. Немцы ждали подкрепления, чтобы покончить с нами, мы — помощи от своих, чтобы вырваться из кольца.

И вот на большой скорости на перекресток мчится установка. На ее радиаторной решетке белая тряпка, снаряды без чехла поблескивают на солнце. Из-за плетня поднимается чей-то кулак. Насыбулин что-то говорит Мункуеву и не глядит в нашу сторону.

Вначале немцы открыли огонь из автоматов и пулеметов, но Мункуев замигал фарами, и огонь прекратился. Машина мгновенно проскочила пятьсот—шестьсот метров и резко, вполне естественно затормозила перед ямками. Видя, что мы обстреливаем установку, немцы перенести огонь на нас.

Мы неотрывно глядели на школу — без окон, без дверей и крыши она отлично просматривалась с наших позиций. Вот машина замерла, и в ту же секунду огненные стрелы вонзились в стены здания, раздались оглушительные взрывы, все заволочло огнем и дымом.

Кажется, все шло как мы наметили. Пока немцы приходили в себя, на месте установки рассеивался столб дыма, а сама она уже скрылась в проулке.

Немцы открыли ураганную стрельбу из всех видов оружия по переулку — предполагаемому месту нахождения установки. Однако Мункуев уже выскочил на параллельную улицу, где вела активный огонь наша «тридцатьчетверка». Ее поддерживала дружным огнем мотопехота. Метров сто машина мчалась, прикрываемая корпусом танка, а потом вся погрузилась в дым и пыль от рвущихся вокруг снарядов.

Покрышки спущены на всех колесах, но установка несется вперед. Вот из радиатора повалил пар, и, не доезжая метров пятидесяти до спасительного перекрестка, машина стала. Но тут же подскочил «студебекер», зацепил установку и уволок в укрытие. Все прошло как нельзя лучше.

Десятки солдат и офицеров, укрывшись кто где, с напряженным вниманием и восторгом следили за развитием этой операции. Злополучный миномет перестал существовать, но оба героя были тяжело ранены. Их уже перевязывали Саша Ефимов и санитарструктор соседей Мария Позднякова.

Конечно, их надо бы сразу в госпиталь, однако нам предстояло еще одну ночь провести в этом селе. Мы соорудили раненым приличную (по солдатским меркам) постель в «студебекере» и оставили под надзором Маши Поздняковой. А вдруг придется срочно уезжать?

Из окружения мы вышли через сутки. Несмотря на трудности, бригада сыграла немаловажную роль не только в разблокировании наших частей, но и в разгроме большой группировки немцев.

Потом ребят увозили в госпиталь. Я залез в кузов. Мункуев с забинтованной головой радостно улыбался. Насыбулин спал. Маша не разрешила его будить. Я поцеловал их обоих. Спрыгнул с машины.

Встречу ли я их когда-нибудь?

Гвардии сержант Щетинин из Акшута

Поступил приказ дать залп по командному пункту немцев под Сталинградом. Командный пункт был оборудован по всем правилам военного искусства, и «выковырнуть» его можно было только снарядами М-24. Каждый снаряд весил 96 килограммов и оставлял воронку глубиной шесть—восемь метров. К сожалению, дальность полетов этих снарядов невелика — 4,5 километра.

Чтобы достать немецкий КП, стрелять требовалось с нашего переднего края. А выехать на передний край боевыми машина-

ми — безумие: «катюши» будут расстреляны до того, как успеют дать залп. Но приказ есть приказ. Решили дать залп ночью, перед самым рассветом.

Огневую позицию выбрали на вершине сопки в двухстах метрах от переднего края, где окопалась наша пехота. В степи ночью, без ориентиров занять точно огневую позицию — дело архисложное. И потом, кого выбрать ведущим? Кто может с этим успешно справиться?

Мысленно я перебрал всех шоферов боевых машин. Пожалуй, это будет Василий Федорович Щетинин со второй боевой машины. Я иногда даже терялся под его умным, немного насмешливым взглядом слегка прищуренных глаз. И вместе с тем глубоко уважал этого уже немолодого, с точки зрения девятнадцатилетних, водителя. Ответственный человек при исполнении долга, добряк и балагур в свободное время, он всегда окружен бойцами, которые с удовольствием слушают его байки и шутки. Родом он был из села Акшуат Ульяновской области.

Смеркалось. Я собрал командиров орудий и шоферов. Подошел командир батареи лейтенант Лебедев и, поставив задачу, рассказал о трудностях, которые нас ожидают.

— А сейчас, — в заключение сказал комбат, — с помощником командира поедете на огневую позицию и сделаете разбивку. Задача всех командиров орудий и шоферов — найти ночью свое конкретное место.

Комбат ушел. Несколько минут стояла тишина.

— Какие будут предложения? — спросил командир взвода.

— Если мы на огневой будем заниматься наводкой установок, нас немцы расстреляют прямой наводкой. Надо сейчас же ехать на огневую позицию и вбить колышки так, что, если шофер поставит левые колеса строго по колышкам, направление стрельбы будет заданным, — высказал я свои соображения.

— Хорошая мысль... — начал Щетинин своей любимой присказкой. — Надо идти к старшине, пусть даст пару старых рубашек: на колышки навяжем белых тряпок, тогда найдем их и ночью.

Через полчаса мы были на огневой позиции. Ночь уже полностью овладела пространством. Сделав разбивку под каждую машину в соответствии с заданным направлением стрельбы, набив колышков с белыми лентами, мы не раз уходили на дорогу и снова возвращались, чтобы шоферы и командиры орудий потренировались находить свое место. После очередного неуверенного поиска в темноте Щетинин предложил забить такой же кол с белой повязкой и на повороте с дороги. Так и сделали.

Я предупредил всех командиров орудий и шоферов:

— Помните: ведущий — Щетинин. Ориентируйтесь по его машине. Каждая очередная боевая машина становится в десяти метрах правее предыдущей.

Около полуночи мы закончили подготовку. Луны не было, небо затянуто облаками — ни звездочки. Через три часа, едва начало сереть, мы батареей выехали на огневую позицию. До нее было километра три-четыре. Едем без света. Дорога почти неразличима в серой степи. Изо всех сил напрягаем зрение. Щетинин высунул голову в окно, я стою на подножке справа. Выезжаем на сопку. Немцы начинают нас обстреливать из пушек. Видимо, наши боевые машины на фоне неба отчетливо видны. Чуть спустились — обстрел прекратился.

Наконец Щетинин резко и уверенно сворачивает влево с дороги. За ним следуют остальные три боевые машины. Наводчики на ходу начали поднимать направляющие — дальность стрельбы максимальная. Нас снова начали обстреливать. Хорошо еще, что в темноте противнику трудно вести прицельный огонь.

— Готово! — кричит Василий Федорович во всю глотку и резко нажимает на тормоза.

Я тут же соскакиваю с подножки с буссолью в руках. Машины дружно занимают свои места: ночная тренировка не прошла даром. Утро, светлеет, и мы со своими машинами уже хорошо просматриваемся — огонь противника усиливается. Расставив буссоль и торопливо скорректировав угломер, я буквально ору — «Огонь!»

Установки тут же взрели — и снап огня полетел в сторону немцев. Но и противник обрушил на нас шквал снарядов. Однако дело было сделано. Мы успели дать залп, с места лихо развернулись и скрылись за сопкой. Задание командования батарея выполнила успешно...

Между тем война продолжала катиться на запад. В феврале 1944 года противник, сосредоточив крупные танковые механизированные силы севернее Звенигородки, начал контратаковать с задачей прорваться к окруженной группировке своих войск. Полку предстояло совершить трудный марш в условиях распутицы и бездорожья.

Бойцы нашей 2-й батареи, отмечалось в приказе, были награждены за подбитые в недавних боях немецкие танки — 9 штук и самоходки — 2 штуки. За этими сухими строчками приказа стояли дни и ночи нечеловеческого напряжения, отваги и самоотверженности.

Полк спешно, своим ходом перебрасывается в район, где в окружении находилось около десятка немецких дивизий. Немцы стараются любыми способами освободить свою окруженную группировку.

Страшное бездорожье. Временами идет дождь, иногда мокрый снег, хлопьями чуть ли не в ладонь величиной. Расстояние не такое уж большое для машин — около ста пятидесяти километров от Борщаговки, где дислоцировался полк, до Медвина. Но чернозем толстой лентой наворачивается на колеса и даже мощные «студебекеры», на которых смонтированы наши установки, не в состоянии двигаться. Танки, хоть и медленно, но ушли вперед, мы же за сутки преодолели всего пятнадцать километров. Дивизион на марше растянулся на два километра. «Студебекеры» на переднем мощном буфере оборудованы лебедками, но и они не могут помочь: в степи не за что зацепиться. Весь дивизион, около ста пятидесяти человек, поочередно тащил тросами боевые установки, как бурлаки баржи. Солдаты выбивались из сил. Шоферы с остервенением материли хлебородную, черноземную украинскую степь. Все — и бойцы и командиры — были грязными и мокрыми.

Перед дивизионом вдруг возникла опасность впервые за всю войну не выполнить боевого приказа — не прибыть к назначенному сроку в пункт сосредоточения — село Медвин.

И тогда командир дивизиона майор Аверьянов собрал командиров батарей, взводов и шоферов на совет. Благо, облачность была низкой, все время лил дождь или падал снег, авиации противника не было.

— Товарищи, — обратился майор к подчиненным, — давайте искать выход из создавшегося положения. Солдаты падают с ног от усталости, но, как видите, мы почти не двигаемся.

Все понуро молчали. Водители — ребята со стажем, прошли практическую школу на довоенных сельских дорогах, а сейчас стояли мокрые, грязные, суровые и молчали.

— Однако, ехать надо, — обронил Мункуев.

— А как ехать-то?

— И лебедкой зацепиться не за что.

Молчание затягивалось. Было даже слышно, как трещит махра в солдатских самокрутках.

— Ну что, мужики, неужто нет предложений? — снова заговорил командир дивизиона.

— Есть предложение, товарищ майор, — отозвался Щетинин. — Нужно машины объединить группами по пять—семь — сцепить их короткими тросами. Один забуксует, другой его дернет, третий толкнет. Медленно, но двигаться будем. И солдаты чуток отдохнут...

Простота мысли вначале всех ошеломила. Потом раздались бурные возгласы одобрения. Майор сжал Щетинина за плечи:

— Ну что ж ты, дорогой гвардеец, раньше-то молчал?!

— А хорошая мысль... — изрек Щетинин.

Так и сделали: сцепили короткими тросами машины по пять—семь в группы, освободив солдат от бурлацкой работы, и тронулись в путь. Через пятнадцать часов мы уже были в Медвине, а еще через два часа начали громить фашистов.

Вторая танковая армия, в состав которой входил наш 86-й гвардейский минометный, теперь Уманский полк, вела тяжелые наступательные бои под Яссами. Немцы яростно оборонялись, часто контратаковали большими группами танков и пехоты, пытаясь отбросить наши части за Прут.

В начале июня 1944 года, сосредоточив около ста пятидесяти танков и большое количество пехоты, при поддержке авиации немцы перешли в наступление и к концу дня вышли в район Мегилока, продвинувшись на три—пять километров.

Дивизион «катюш» в течение дня дал несколько залпов по наступающим, помогая нашим танкам и пехоте сорвать контратаку противника. Огневая позиция была выбрана очень удачно. Мы появлялись на ней из-за сопки неожиданно. И хотя и были на виду, артиллерия противника не успевала нас обстрелять, по крайней мере, нанести ощутимый урон. Правда, авиация врага не давала нам покоя. Едва мы давали залп, как столб пыли и дыма поднимался над огневой позицией метров на пятьдесят, а по этому ориентиру тут же налетали самолеты. Бомбили яростно, но мы успевали скрыться за сопки, под защиту наших зениток.

На второй или на третий день контратака немцев захлебнулась. Рано утром мы сделали два залпа батареей, а часов в одиннадцать поступила команда дать залп по отходящему противнику. Уже на подходе к огневой позиции стало тревожно на душе: над нами кружило штук двенадцать «юнкеров». Мы, как всегда, с ходу развернулись и через двадцать секунд открыли огонь.

Тут же на нас посыпались бомбы. Но наши боевые машины все же успели отстреляться и рванули с места. Одна из бомб разорвалась метрах в пятнадцати от машины сержанта Щетинина. Но он развернул машину, и она со страшным ревом устремилась прочь с огневой. Я едва успел прыгнуть справа на подножку, мельком увидел, что Щетинин ведет машину одной рукой, но тут же мое внимание переключилось на то, как машины уходят с огневой позиции.

Не проехали мы и ста пятидесяти метров, как машина заглохла и стала. Я заглянул в кабину. Щетинин лежал головой на руле, и только теперь я заметил, что вся кабина залита кровью. Я подбежал со стороны шофера — дверь была пробита осколками и легко открылась. Подбежали другие бойцы, и нашим глазам

предстала страшная картина: весь бок Василия Федоровича был разворочен, левая рука висела на коже, сердце почти оголено, и видно было, как оно мелко дрожит, а потоки крови хлещут из бока и руки водителя.

Помочь Василию Федоровичу уже ничем было нельзя.

Мы стояли молча, потрясенные жизнестойкостью, мужеством и духовной твердостью нашего товарища. Он увел машину из-под бомбежки, будучи практически уже при смерти. Только одна мысль еще была жива — должен. Она и мобилизовала его последнюю волю.

Завернув водителя в плащ-палатку, там же, у дороги, мы его и похоронили, отдав последние солдатские почести.

Две встречи

Война еще полыхала от Баренцева моря до Черного. Однако разгром немцев под Сталинградом резко склонил чашу весов в нашу сторону, и, несмотря на жестокое сопротивление противника, наши войска освободили Харьков, а затем и Донбасс, где в поселке Алмазном Ворошиловградской области оставались в оккупации мои мать и отец.

Из последних писем матери, полученных еще в конце 1941 года, я знал, что отец сильно болеет и ходить не может. Паралич. Война, уход на фронт троих сыновей — все это свалило шестидесятилетнего старика.

С освобождением Донбасса я тут же начал писать письма домой, в Алмазный, но ответа не было. Так прошел весь 1943 год — в жестоких и кровопролитных боях и походах. Завершались бои на Орловско-Курской дуге, образовался еще один котел для немцев под Корсунь-Шевченковским, было форсирование Днестра, запомнились жестокие бои под Яссами...

10 июля 1944 года полк дислоцировался под Яссами в районе Форшчий, Хельченей, но вскоре 2-я танковая армия была спешно переброшена под Ковель, и уже 19 июля 86-й гвардейский минометный полк был сосредоточен в сорока километрах от станции Маневичи. Полк был выведен в резерв армии. А потом мы участвовали в освобождении Люблина.

Именно в это время после множества писем, отправленных мной по различным адресам родне, жившей в селах Ворошиловградской и Сталинской областей, я наконец получил письмо от матери. Мать писала, что мой старший брат Сергей погиб в первый год войны где-то под Калинином. О среднем моем брате Алек-

сандре с момента призыва ничего не было известно. Говорят, писала мать, что их колонну, не успевшую получить оружие и обмундирование, немцы разбомбили в пути. Отца, как коммуниста, немцы расстреляли. Вначале его вместе с другими арестованными повели в сторону Олчевска, но так как после паралича он едва ходил, фашисты пристрелили его по дороге.

Мать также писала, что следующей ночью должны были арестовать и ее, но об этом ее накануне предупредил один из полицейских. Ночью мать выбралась из своего дома, что стоял на окраине поселка Алмазного, и балками, перелесками добралась пешком до станции Дроново, где жил ее брат с дочерью и двумя внуками. Немало лишений и нужды пришлось ей перенести за это время, да и сейчас еще приходится терпеть...

Прочитав такое письмо, я был подавлен, очень переживал за всю семью, которая всегда была дружной. Четыре мужика и мать. Я — самый младший из братьев. Отец был не из говорунов, но очень сильный и волевой. Обмотав руку полотенцем, мог легко раздавить граненый стакан или завязать узлом арматуру диаметром до восьми миллиметров. Работа у него была тяжелая — «глухарем», как раньше называли клепальщиков котлов. Один рабочий залезал в котел и держал на груди насадку, а другой сверху клепал заклепку. Как и все котельщики, отец был глуховат. На заводе отца все знали и уважали, а мы дома немного побаивались, но гордились им и любили.

Старший брат Сергей отслужил действительную еще в 1938 году. До армии он выучился на шофера, а на службе был танкистом — механиком-водителем. Перед войной женился, за несколько месяцев до начала войны у него родился сын. Сергей первым был призван на фронт.

Средний брат Александр отслужил в 1940 году. Участвовал в войне с Финляндией в звании сержанта. Был ранен, отчего, видимо, его и призвали последним. По профессии он был токарем.

Мама не работала, но забот ей по дому хватало. Обихаживать четырех мужиков — не простая работа...

И вот теперь семьи не стало: остались мать да я — младший. И конечно же, она всеми богами заклинала меня беречься.

Как было принято в те времена, письмо матери¹ прежде чем оно попало ко мне, прочитал начальник особого отдела, доложил обо всем замполиту полка подполковнику Рождественскому. Оба они видели, что я в подавленном состоянии. Видели это и мои товарищи, хотя у каждого из них были свои беды. Такое было время.

Однажды вызывает меня командир полка полковник Заирный — маленький, худенький, но чрезвычайно подвижный, словно весь состоящий из одних мышц. И встречает неожиданным вопросом:

— Грунской, хочешь навестить мать?

От неожиданности я потерял дар речи, а когда пришел в себя, поспешил ответить:

— Конечно, товарищ гвардии полковник! А это возможно?

— Даю тебе семь дней. Успеешь?

Не задумываясь, на чем и как добраться в Дроново, не зная, работают или нет железные дороги, даже не представляя себе маршрута, я выпалил:

— Конечно, товарищ гвардии полковник!

— Иди в штаб, оформляй документы.

Когда я прибежал в штаб, документы мои были уже готовы. Лейтенант Яковлев вручил мне их и пожелал счастливого пути.

Возник вопрос: как добираться? Обстановка в районе от Ковеля до Минска-Мазовецкого в Польше была непростая. Хотя мы в хвост и в гриву били немцев, банды бандеровцев и польских националистов из-за углов стреляли нам в спину. Да и группы немцев, отбившихся от своих частей, еще бродили по лесам.

Совсем недавно «студебекер», на котором ехали заместитель командира полка по строевой части гвардии майор Волощук и несколько разведчиков, был обстрелян большой группой неизвестных. Машина была подбита, но майору с разведчиками удалось спастись. На другой день на место происшествия была направлена другая машина с шестью бойцами и с гвардии лейтенантом Старокожевым. Машина и солдаты исчезли бесследно.

Грузовые поезда с военной техникой уже ходили до Ковеля, но до него было сорок километров лесной дороги. Зашел в штаб дивизиона, где оказались командир дивизиона капитан Кольчик и командир батареи старший лейтенант Зукин. Они искренне порадовались за меня и стали обсуждать путь моего движения домой. Тогда уже был установлен контроль за использованием боевой техники строго по назначению.

— Сам знаешь, — сказал Зукин, — писать рапорт — уйдут сутки.

— Ладно, я пошел, — решительно заявил я.

— Подожди, — вмешался Кольчик, — а что там у тебя с машиной Мункуева?

— Да были неполадки с подачей горючего, но водитель все сделал...

— Вот и проверьте, пробежитесь километров пять. Скажете, что я приказал.

— Есть, проверить двигатель!

По уставу требовалось сдать личное оружие. Я отдал свой пистолет Зукину. Но у каждого из нас было по трофейному пистолету. У меня, например, был вальтер и к нему три обоймы. Собрав нехитрые солдатские пожитки и проехав на машине километров семь, я закинул вещмешок на плечо и двинул пешком на Ковель.

В пятидесяти метрах слева и справа — смешанный лес стеной. Сама дорога грунтовая, в песчаной полосе ее выбита глубокая колея. Изредка попадаются одинокие машины. Погода неплохая, лишь угрюмый лес по сторонам внушает тревогу.

Когда я прошел километров шесть, слева по ходу раздалась автоматная очередь. Я упал в колею и достал свой вальтер. Затем, сняв ремень, накинул на него пилотку и выдвинул ее из колеи. По ней тут же хлестнули очереди из двух автоматов. Минут пять я лежал в колее, но из лесу никто не вышел.

Вдруг послышался гул «студебекера». Я зашевелился, но тут же раздалась короткая очередь. И снова все стихло. Машина подъехала ко мне вплотную. Из кабины вылез старший лейтенант, танкист, из кузова попрыгали шесть бойцов, которые тут же открыли огонь по лесу втемную. Лейтенант проверил мои документы, позавидовал моему неожиданному отпуску и пожелал счастливого пути. Отвезти меня, вернувшись назад, отказался: «Срочное задание, времени в обрез». Война есть война, но я про себя чертыхнулся: мог бы и помочь по-фронтовому.

Так я прошагал еще километров пять, когда вновь раздалась автоматная очередь из лесу. Я упал в спасительную колею, но кто-то продолжал бесполезную стрельбу. Время тянулось медленно, из колеи я не высовывался, пока не услышал шум приближающейся машины — на большой скорости мчался «додж». Когда он остановился возле меня, из него вышли капитан НКВД и человек восемь солдат.

Я рассказал, что произошло. Он тут же дал команду прочесать лес. Пока солдаты это делали, капитан придирчиво изучал мои документы, задавал проверочные вопросы:

— Кто комполка? А командующий армией?

После серии таких вопросов я и сам его спросил:

— А ваши документы можно?

Он рассмеялся и показал свое удостоверение.

Пока мы с ним выясняли отношения, солдаты вывели из леса худого долговязого парня лет двадцати, который сильно хромал, опираясь на суковатую палку. Правая штанина его была обреза-

на, нога ниже колена умело перевязана. На нем была задрипанная курточка немецкого солдата, на рукаве желто-голубая повязка, на голове наша солдатская пилотка, только вместо звездочки — трезубец, сделанный, очевидно, из олова. Вид у парня был жалкий. Продолговатое лицо с грязными потеками слез судорожно сводило от нестерпимой боли в ноге, светло-карие глаза испуганно смотрели на окруживших его военных.

— Услышав гул нашей машины, — пояснил старший сержант, — он рванул в глубь леса. Прыгнул через ручей, да напоролся на старый пенёк и начисто порвал себе икроножную мышцу. Здесь мы его и взяли, помогли вон палку выстругать. Сопротивления он не оказывал. Автомат наш — ПППШ. Так вот и повязали во всей красе...

— Фамилия? — спросил капитан.

— Адам Гончарук, — ответил, хлюпая носом, парень.

— Откуда автомат?

— Та командир дав.

— Ты был один?

— Та ни. Ще два, та воны убиглы.

— А тебя бросили?

— Та так, — всхлипывая, ответил парень.

— Откуда сам?

Парень назвал хутор где-то под Луцком.

— В машину его! — скомандовал капитан и обратился ко мне: — Так что же с тобой делать, старший лейтенант? Ты ж так не дойдешь, бандиты тебя порешат. Их тут — за каждым кустом. Ладно, подброшу тебя до наших постов.

Мы с ним сели в кабину, солдаты с бандеровцем разместились в кузове, машина лихо развернулась, и мы направились в сторону Ковеля. Проехав километров пятнадцать, уперлись в наш заградительный пост на дороге. Здесь капитан высадил меня, сдал бандеровца командиру поста и уехал. У меня еще раз проверили документы, и я бодро зашагал к Ковелю, до которого оставалось километров двенадцать. До города добрался к вечеру без приключений.

Затем от Ковеля добирался до Дроново. Успел два дня побыть дома с матерью, которая все время плакала от счастья, глядя на меня. Помог ей в житейских делах и вовремя вернулся в часть. Тормозные площадки вагонов, кабины паровозов, машины, подводы, пешие переходы, брань с комендантами — все было... Но речь не об этом.

Отгремела война. После окончания Донецкого индустриально-го института я строил Ясиновский коксохимический завод в Ма-

кеевке, а затем оказался на строительстве Казахстанской Магнитки в Караганде. Через несколько лет стал главным инженером Главцентростроя, а затем и начальником этого главка. Пролетели годы, заполненные напряженным трудом. Я ушел из главка и возглавил институт «Карагандаиндустройпроект», который занимался проектированием предприятий строительной индустрии, организацией строительства и разработкой новых конструкций. Здесь был небольшой экспериментальный завод и модельная мастерская, где работал один столяр — мастер высокого класса.

Я любил заходить к нему в мастерскую, где всегда пахло свежим деревом, стружками, и подолгу любовался его работой. В его искусных руках дерево пело, превращаясь в прекрасные изделия.

Адам Иванович — столяр, хозяин мастерской, видел мой интерес к нему, к его работе и старался показать свое искусство. Всякий раз, когда я заходил к нему, меня не покидало ощущение, что мы уже где-то виделись, где-то наши пути пересекались. Эта высокая, немного сутулая фигура, продолговатое худое и доброе лицо...

Все больше мы узнавали друг друга, проникаясь взаимным доверием. Наконец он стал заходить ко мне по вечерам, после работы, с каким-нибудь предложением, просьбой. В конце рабочего дня Адам Иванович домой никогда не спешил: или сражался с кем-нибудь в шахматы, или копался в мастерской, или заходил ко мне. У нас всегда находилась тема для беседы, и мы нередко «философствовали» с ним. В такие минуты, присматриваясь к нему, я опять ловил себя на мысли, что где-то раньше мы виделись. Но где? При каких обстоятельствах? Я, конечно, знал, что раньше он был осужден и отсидел десять лет в Карлаге. Тема эта была щекотливая, и я старался никогда ее не поднимать, чтобы не бередить ему душу.

На этот раз он зашел ко мне часов в семь вечера. В институте оставались лишь уборщицы, а я просматривал тематический план. Пригласив гостя садиться, я достал из шкафа коньяк и налил нам по рюмке. И тут он сам начал разговор. Говорил с сильным украинским акцентом, мешая русские и украинские слова.

— Иван Евграфович, а вы знаете, за шо мене посадылы?

— Если считаешь нужным, Расскажи.

— А я був у бандеровців, — выпалил он и выжидательно на меня посмотрел.

И тут меня осенило. Теперь-то я не сомневался, что это был он. Я молча смотрел на собеседника, не мешая ему высказаться. Он тоже молчал, выжидая, какое впечатление на меня произвело его признание.

— И как ты к ним попал? — спросил я.

— Та дурный був. Мени ж тоди не было и восемнадцать рокив. Мы жили тоди пид Польшею. Нас було три хлопця. Я самый старший. Мы малы пивторы десятины земли, одну коняку та корову. Жилы дуже погано. Меныни браты робилы по найму, пасли людську скотыну, а мы з мамою робылы на земли. Бандеровцы обцяли нам землю, як проженем москалив. А колы я ни пиду до них, то спалять хату. От я и пишов.

— Ну и как воевал?

— Да на першем задании мене и забрали.

— Ну и что же, Адам Иванович, сожалеешь, что земли тебе не досталось?

— Да нет, Иван Евграфович. Мы ж жили как кроты. Глиняна хата, земляной пол, на пив хаты селяньска груба (печь). Ничого не знали и не понимали. Я в лагере получил среднее образование, добрую специальность. У меня сейчас хороша квартира, семья. Вот уже одиннадцать рокив работаю в институте.

— Ну а мать, братья? Что с ними? Ты виделся с ними после освобождения?

Я не решался задать главный вопрос, так как знал, что он явится для собеседника неожиданным. Но его нужно было задать. Это и в его и в моих интересах. Я не питал к нему никакой злобы. Более того, этот человек, добрый, рассудительный, нравился мне, несмотря ни на что.

— Та колы меня освободилы, я ще пять лет не мог выехать из Караганды. А в пятьдесят девятом году був дома с жинкою. Бачив и маму, и братив. Зараз мама вже умерла, а браты живи. Микола работает в колхозе бригадиром тракторной бригады. А младший, Михаиле, закончив техникум и робэ в Иваново-Франковске. Хлопци добре живуть.

— Адам Иванович, — приступил я к главному, — тебя взяли под Ковелем?

Он внимательно, очень внимательно смотрел на меня одну-две минуты, не отвечая на вопрос. Затем как-то смято сказал:

— Да, под Ковелем.

Поколебавшись еще немного, я опять спросил:

— Скажи, Адам Иванович, у тебя на правой ноге на икроножной мышце шрам есть?

Кровь густо прилила к его лицу. Он открывал и закрывал рот, то ли судорожно вдыхая воздух, то ли пытаясь что-то сказать. Наконец собрался с силами и глухо спросил:

— Иван Евграфович, неужто то были вы, кого я хотел подстрелить?..

Он так и сказал «подстрелить», как будто речь шла о крякве или белке.

— Да, Адам Иванович, это был я.

Он залпом выпил коньяк и оторопело, загнанно, округлившиеся глазами смотрел на меня.

— О Боже ж! — наконец уронил он. — Шо ж теперь будэ?

— А ничего, Адам Иванович, не будет. Что было, то больем поросло. Я не имею ни зла, ни упрёка. Конечно, было бы больно матери, к которой я тогда изо всех сил стремился. Она потеряла двух сыновей и мужа...

Мы долго сидели молча. Каждый думал о своем. Странной, даже порой фантастической бывает Судьба. Зачем она свела нас? Я не мог назвать врагом этого доброго, честного, по характеру мягкого человека. Вряд ли и он мог считать меня своим недругом. Мы были друзьями.

Конечно, эта встреча внесла в наши отношения, особенно с его стороны, некоторую натянутость, напряженность. Однако со временем неловкость исчезла, и, на мой взгляд, мы стали еще ближе.

Спустя пару месяцев после того памятного разговора он зашел ко мне после работы. Немного помялся, а потом попросил:

— Иван Евграфович, если можно, не рассказывайте никому, что меж нами было, пока я жив...

— Адам Иванович, обещаю.

Печать войны

Полк гвардейских минометов, преодолевая несусветную черноземную украинскую грязь, пятые сутки, то и дело буксуя на косогорах, пробивается к Медвину, где должен сосредоточиться к восьми часам 3 марта 1944 года.

Когда дивизион спустился в неглубокую балку, перед очередным подъемом командир дивизиона майор Аверьянов объявил привал. Все тут же попадали на мокрую землю. Семь часов утра. Тяжелые тучи, тяжкое настроение, холод и голод. Кухня застряла где-то позади, на горячую пищу рассчитывать не приходится. Солдаты молча жуют хлеб.

Там, где расположились бойцы первой батареи, вдруг раздается громкий заразительный хохот, и лица солдат светлеют.

— Полищук травит, — улыбаясь, заметил шофер Щетинин.

Надо сказать, что капитан Полищук, замполит первой батареи, выгодно выделялся среди офицеров: высокий, черноволосый, косая сажень в плечах, с красиво очерченными черными бровями над карими глазами, с крупным прямым носом и доброй

улыбкой. Казалось, он никогда не знал усталости и страха. Не помню, кем он был до войны. Вроде бы учителем. По тому, как он мог подойти к любому солдату в самую критическую минуту, найти нужные слова, утешить, ободрить, это мог быть только учитель. Его доброта и обязательность не знали границ — это ставило в тупик других офицеров. Его любили солдаты и порой недолюбливали офицеры. Или не понимали. Он мог отдать солдату свои сапоги, если они у того развалились, подарить свой сухой паек и т. п.

И рассказчиком он был бесподобным: мордвину мог рассказать о Мордовии столько, сколько не знал и сам мордвин, якуту — о Якутии, казаху — о Казахстане. К тому же он знал и сам сочинял множество анекдотов. Разговор он вел обычно с ярко выраженным украинским акцентом, а может, и умышленно пересыпал свои рассказы украинскими словами и поговорками. Нередко он и представлялся так: «Полищук — хохол из Полтавы». Иные его так и называли за глаза. В действительности он был из какого-то села под Кременчугом Полтавской области.

В последние дни он был в приподнятом настроении — до Кременчуга оставалось километров триста, и командир полка Павел Онуфриевич Зазирный, который и сам был из этих мест, твердо пообещал, что при благоприятной обстановке отпустит его на три-четыре дня домой.

Вот и сейчас, услышав заразительный смех в период тягостного ожидания и неизвестности, мы вместе с бойцами подошли к рассказчику и прислушались.

— «А что это такое?» — «Сало», — отвечает Петро. «Дай попробовать». — «А шо його пробовать? — говорит Тарас. — Сало е сало».

Хохот потряс балку, а Полищук улыбался довольный. Когда хохот поутих, один из солдат поинтересовался:

— А где наша кухня, товарищ гвардии капитан? Нам сейчас не до сала — хотя бы каша была.

— Надо, товарищи, — просто отвечает капитан, — продержаться до вечера. Вечером будем в Медвине. Я уверен — жители дадут и сало, и кашу. Да и кухня подойдет.

К вечеру мы были в Медвине. Капитан оказался прав: жители делились, чем могли.

А утром мы уже приняли участие в разгроме корсунь-шевченковской группировки немцев. Дивизион понес большие потери: самолетами и танками противника было подбито четыре «катюши». Тем не менее вражеская группировка в составе десяти дивизий была уничтожена, наши войска форсировали Южный Буг и готовились к форсированию Днестра. И командир полка сдержал свое слово.

— Даю вам три дня, — сказал он Полицуку. — Не позднее этого срока вы должны вернуться в полк. Ищите нас в Ямполе...

Но когда капитан вернулся в часть, мы его не узнали: перед нами предстал старый, седой, сгорбленный горем, почерневший от страданий человек. Приветливая улыбка уступила место туго сжатым в злобе губам, радостный блеск глаз исчез, они смотрели сурово и подозрительно даже на товарищей. Теперь он ни с кем не говорил, никому ничего не рассказывал, все время уединялся и часами о чем-то задумывался. Мы старались ему помочь, еще не зная, что произошло, но общение его раздражало.

А через несколько дней к нам пришел замполит полка, собрал командиров и рассказал историю капитана Полицука.

В июле—сентябре 1941 года, когда в окружении осталось большое количество наших войск, многие жители украинских сел и городов прятали наших раненых и бежавших из плена бойцов и командиров по своим хатам, сараям, подвалам. Это было повсеместно. В одном из таких сел близ Кременчуга проживали родители и семья капитана Полицука — его жена Галя и двенадцатилетняя дочь Оксана.

Вскоре фронт покатился дальше на восток, а в село нагрянули каратели. Начались повальные обыски. Найденных комиссаров, коммунистов тут же расстреливали вместе с прятавшими их хозяевами. Других бойцов и командиров увозили в концлагеря.

Отец Полицука Тарас Захарович прятал в своей клуне (сарая) раненого комиссара батальона и двух бойцов. Каратели тут же расстреляли не только комиссара, но и отца и мать капитана — на глазах у жены и внучки.

Вечером трое немецких солдат пришли снова. Солдаты выставили бутылку шнапса и потребовали у Гали закуску. Мать и дочь замерли от испуга. Галя, готовя яичницу с салом, успела шепнуть дочери: «Беги!» Но немцы, поняв намерение девочки, не выпустили ее из хаты.

Выпив, двое солдат изнасиловали Галю на глазах у дочери. Оксана от страха потеряла сознание. Тогда третий солдат тут же на глазах у матери, которую держали двое других, изнасиловал беспомощную Оксану.

Душераздирающие крики Гали разносились далеко окрест. Около хаты собралось человек тридцать сельчан, однако в большинстве это были женщины и старики, которые боялись вмешаться в происходящее. Пьяные фашисты вышли из хаты смеясь и направились прямо на толпу сельчан, угрожая оружием. Пока все были заняты столкновением с пьяной солдатней, никто не заметил, как из хаты выскочила Галя. Черные как смоль волосы рассыпались по спине, в руках у нее были вилы-тройчатки. Она

молча и яростно всадила вилы в спину одному из немцев. Другой фашист тут же выстрелил в нее из своего вальтера.

Тем временем одна из соседок забежала в хату и увела с собой Оксану. А в начале 1942 года Оксана исчезла из села: кто говорил, что она в Майданеке, в концлагере, кто рассказывал, что ушла в партизаны. О дальнейшей ее судьбе ничего не известно...

Заканчивая рассказ об этой жуткой истории, замполит полка подполковник Рождественский сказал:

— История эта проверена спецорганами после возвращения капитана Полищука из отпуска. Его состояние вы понимаете: он находится в шоке и сильнейшей депрессии. К исполнению службы фактически непригоден. Мы обратились с ходатайством о досрочной демобилизации. Но нам отказали: практически нет семьи, которая не потеряла бы близких, не перенесла бы трагедии. Я прошу вас бережно отнестись к этому человеку. Будьте внимательны, но не назойливы. Время лечит...

Полк наш шел вместе со 2-й танковой армией на запад. Вскоре мы были уже на румынской территории. Немцы и румыны сражались с невероятным ожесточением, постоянно контратаковали большими силами, пытаясь отбросить нас за Прут. Мы не могли взять ближайшую высоту, а у немцев не хватало сил сбросить нас с плацдарма. Вторая танковая армия, потеряв немало живой силы и техники, фактически выдохлась и была уже не в состоянии решать крупные стратегические задачи. В нашем полку, например, из 24 боевых установок оставалось в строю только пять.

В первой половине июня 2-ю танковую армию перебрасывают под Ковель и пополняют техникой. Доукомплектовали и наш полк, что позволило вести успешные бои за освобождение Западной Украины, Западной Белоруссии и Польши.

В ходе наступления войск 1-го Белорусского фронта 2-я танковая армия под командованием генерал-лейтенанта танковых войск Богданова вводится в прорыв и стремительным броском выходит на территорию Польши, освобождая город Люблин.

За эти последние месяцы капитан Полищук, кажется, стал понемногу приходить в себя, но того добросердечного, приветливого и веселого офицера, которого все мы знали, уже не было. Перед нами был угрюмый, раздражительный человек, охваченный ненавистью к фашистам. Теперь он был напряжен как струна. От волнения и сжигавшей его ненависти к оккупантам у него даже щеки розовели на черном от горя лице. При каждой остановке на пути к Люблину он рвался идти пешком к этому городу, так как было известно, что под Люблином находится концлагерь советских и польских военнопленных. Полищук был почему-то уверен, что найдет дочку Оксану именно там.

Люблин заняли с ходу, хотя немцы и пытались организовать сопротивление. Тут же капитан Полицук с группой товарищей выехал в Майданек. Вот что рассказал потом участник этой поездки капитан Балакирев:

— На территории более ста гектаров стояло около тридцати длинных деревянных бараков, а также семь газовых камер с крематориями. Несколько труб еще дымились. На лагерном плацу стояло несколько виселиц. Зона уже охранялась советскими солдатами, на территории лагеря находились несколько солдатских кухонь, а к ним тянулись длинейшие очереди скелетов, обтянутых кожей, больших и совсем маленьких.

При нашем приближении люди радостно махали нам руками и мисками, смеялись и плакали от радости. Только дети не совсем понимали, что происходит, и немедленно при нашем приближении закатывали рукава, показывая вытатуированные номера на исхудалых ручках. На взрослых были ветхие полосатые халаты, иногда заляпанные кровью, дети были одеты в тряпье.

Капитан Полицук и мы, его товарищи, сразу же стали спрашивать заключенных, не знали ли они девочку лет двенадцати—четырнадцати. Но вскоре мы потеряли надежду: заключенных в лагере было несколько тысяч. Помог нам один заключенный, представившийся старшиной Калюжным. «Пойдемте в соседнюю зону, — сказал он. — Там женские блоки. Поговорим со старостами. Иначе вы ничего не узнаете».

Он оказался прав. Мы разговорились с одной из старост, седой еврейкой, хотя ей вряд ли было тридцать лет. «У нас в блоке была девочка, — сообщила она. — Сколько ей было лет — сказать трудно: она была седая и не в своем уме. А называла себя Галя. Обращаясь ко всем, говорила, что она грязная, и просила ее убить. Бывало, подойдет к какой-нибудь женщине и скажет: «Ты моя мама? Я — Галя. Убей меня, я — грязная!» И все женщины над ней плакали, хоть и слез-то уже ни у кого не было. Очень жалели девочку. Четыре месяца назад фашисты удушили ее в камере и сожгли...»

Мы были потрясены, а Полицук стоял бледный как смерть и еле шевелил губами, силился что-то сказать, а потом вдруг зарыдал.

Мы пытались утешить его, убеждая, что это не его дочь, что Оксана может оказаться в партизанах. «Нет, нет и нет! — возражал Полицук. — Она приняла имя матери. Она очень любила мать...»

☛ Полицук плакал жутко: подвывая, скрипя зубами, закрывая лицо большими огрубевшими руками, и все время приговаривал: «Хоть бы одного гада поймать!»

Наконец я не выдержал, отцепил с пояса фляжку и заставил Полищука выпить спирту. Выпив и немного отдышавшись, он уже спокойнее сказал: «Ну, гады, я вам отомщу!»

Мы зашли в барак, — продолжал Балакирев, — где жили заключенные. Вонючка несусветная. Земляной пол, двухэтажные нары, никакого белья, никаких матрацев, кое у кого вместо постелей тряпье, рваные одеяла. У выхода в углу — параша. Ночью никого из барака не выпускали.

Зашли в железобетонную газовую камеру. В «предбаннике» свалены груды одежды, копны волос. Омерзительное ощущение и тошнотворный запах. Из газовых камер дверь прямо в крематорий. От печей еще идет тепло. В топках остатки человеческих костей... Пепел сожженных трупов фашисты просеивали, расфасовывали в мешки и отправляли в Германию как удобрение. Говорят, хорошее было удобрение...

Перед освобождением Варшавы полк дислоцировался между Вислой и Одером, в сорока километрах западнее Магнушева.

Осень. Стоит сухая солнечная погода. На поляне собралась группа командиров — травит анекдоты. Такие дни у нас выпадают редко. И настроение бодрое, приподнятое. Как ни странно, вероятность гибели каждого из нас отнюдь не уменьшилась, но после освобождения родной земли и наших побед никто не хотел верить, что такое несчастье случится именно с ним. Сама мысль об этом казалась кощунственной.

Подошел начштаба полка майор Стифеев. Ему не было и сорока, но по комплекции он был очень грузным. До войны он заведовал кафедрой Донецкого политехнического института. Все мы уважали его за острый, критический ум. При виде майора все приняли стойку «смирно», а он улыбнулся:

— Вольно, товарищи офицеры. Дай, думаю, послушаю парочку умных анекдотов. Ну, кто готов?.. Хотите, расскажу свеженький? Заболел полковник. Что-то не в порядке с головой. Положили его в госпиталь, обследовали и решили: нужно делать операцию на голове. Вызвали самолетом нейрохирурга из Москвы. И вот уже хирург вскрывает черепную коробку полковника, вынимает мозги... И вдруг в операционную врывается адъютант: «Товарищ полковник, поздравляю вас с присвоением звания генерала!» Полковник вскакивает со стола и бежать. А нейрохирург кричит ему вдогонку: «Товарищ полковник, а мозги?!» — «Да на кой черт они мне теперь нужны!»

Все дружно расхохотались, Стифеев чуть улыбнулся. Лишь капитан Полищук смотрел на майора серьезным, изучающим взглядом. Кажется, смысл анекдота совсем не дошел до него. Видимо, и Стифееву стало не по себе от такого взгляда. И чтобы отвлечь внимание, майор сказал:

— А теперь, товарищи офицеры, не будем терять времени даром — проверим личное оружие...

Это был его конек: иногда он мог встретить офицера и потребовать личное оружие для проверки. Он был строг и требователен к офицерам, ибо считал, что лишь тот вправе требовать от подчиненных, кто сам содержит свое оружие в порядке. Тут все моментально извлекли личное оружие.

Только капитан Полищук замешкался, даже отошел от остальных на два-три шага и повернулся ко всем спиной.

Нас было человек шесть-семь. Стифеев бегло осмотрел наше оружие, и все невольно повернулись к Полищуку.

О его трагедии знали все, старались его без нужды не беспокоить, избегали шуток, тем более насмешек. Но то, что мы увидели, вызвало у нас гомерический хохот. И даже Стифеев, который не позволял себе ни над кем смеяться, теперь хохотал вместе со всеми.

У ног Полищука уже лежала груда бинтов, а он продолжал их сматывать со своего пистолета ТТ.

— Он у вас что — ранен? — смеясь, спросил Стифеев.

— Да знаете, товарищ майор, сколько пыли было под Яссами.

— Знаю и верю, что ваш пистолет чистый. Заворачивайте его к чертям собачьим назад... — И, обращаясь к нам, добавил: — Учитесь, как нужно содержать личное оружие — когда уйдете на пенсию, если вам разрешат это оружие иметь...

Майор ушел. Офицеры еще некоторое время продолжали подшучивать над замполитом. Однако вскоре шуточки стихли — все мы помнили о горе, постигшем Полищука.

А он молча продолжал наматывать бинты на пистолет, чтобы уберечь его от пыли и грязи. На замечание друзей, что пистолет нельзя хранить в таком виде — а вдруг он срочно понадобится, он мрачно заметил:

— Вряд ли нам придется сойтись врукопашную, а если и случится, я их, гадов, зубами грызть буду!

Через несколько дней в междудесье для офицеров проводилось занятие по топографии. Около одиннадцати дня из зарослей раздалась автоматные очереди. Это было так неожиданно здесь, за тридцать километров от переднего края, что офицеры не сразу сообразили, что происходит. Но жужжание пуль быстро привело их в чувство, и через минуту началось прочесывание ближайшей опушки. Вот один из офицеров упал, раненный в плечо. К нему подбежал капитан Полищук, крича что есть мочи:

— Санинструктора!

Расстегнув гимнастерку раненого, он увидел, что у того из раны в плечо течет кровь. Достав бинт из сумки, он приложил его к ране и вновь закричал:

— Санитара!

Прибежала Маша Позднякова. Оторвав у раненого рукав, Маша быстро перевязала ему плечо. Лицо его стало бледным, искаженным от боли.

— Как нелепо... — проговорил раненый офицер.

При помощи Маши Поздняковой и капитана Полищука он медленно, пошатываясь, пошел в санчасть.

Вскоре из леса появилась группа солдат. Впереди, заложив руки за голову, вышагивал высокий белокурый немец. На лице его не было и тени страха, смущения или беспокойства. Он даже слегка улыбнулся доброжелательной, приветливой улыбкой, когда его подвели к замполиту.

Полищук, хмуро сдвинув брови, внимательно разглядывал немца. Затем, окинув взглядом окруживших их солдат и офицеров, злясь на самого себя, что не знает немецкого языка, спросил:

— Товарищи, кто говорит по-немецки?

И вдруг пленный оживился и на чистейшем русском языке за-
явил:

— Я знаю русский, господин капитан. Я «русский немец» из-под Одессы.

— Так ты, сука, в своих стрелял! — заорал Полищук, брызжа слюной.

— Я не стрелял, господин капитан. Я служил в комендантском взводе.

— Чем же вы там занимались? Расстреливали мирных жителей?

— Нет, господин капитан. Этим занимались другие — СС, их карательные отряды. Мы несли охранную службу...

— А из лесу кто стрелял? Ранил нашего офицера?

— У меня нет оружия. Это другие. Они бежали, увидев русских солдат...

Стоявшие вокруг солдаты подтвердили, что взяли его без оружия и что он сам поднял руки.

— А ты почему не бежал?

— Я не убил ни одного русского солдата, я вообще никого не убил. Меня мобилизовали...

— Что ж ты не бежал к партизанам?

— Это не так просто. Да и боялся, что партизаны мне не поверят. Наши люди оказались между молотом и наковальной...

— И ты думаешь я тебе верю?

Немец ничего не сказал. Пожав плечами, он опустил голову.

— Где стоял твой комендантский взвод? — продолжал допрос капитан.

— В Кременчуге, под Полтавой, — лениво ответил немец и вздрогнул, увидев, как дернулся капитан, как лицо его покрылось красными пятнами, а глаза стали безумными.

Теперь немец испугался не на шутку и смотрел на Полищука широко раскрытыми глазами.

Капитан же открывал и закрывал рот, пытаясь что-то сказать. Красные пятна на его лице исчезли, рот растянулся в злой ухмылке. Даже окружавшие его солдаты попятились.

— Ах ты, сволочь, так это вы там насильовали детей и расстреливали их родителей? — Капитан полез в кобуру.

Немец увидел движение руки капитана, понял его смысл, и желтизна покрыла его лицо. Глаза с ужасом следили за рукой капитана.

— Нет, господин капитан, я... мы... никого из русских мы не трогали, тем более детей. Это отряды СД и СС. Мы только охраняли.

— Врешь, собака! — кричал капитан. — Врешь, мразь! Все вы, попав в плен, выдаете себя за святых. Вы пришли за нашей землей? Вам земли мало?! — Он начал освобождать свой пистолет от бинтов. Бинты ложились ему под ноги, опутывали сапоги. Пытаясь переступить, он запутался в бинтах, упал на колено перед немцем. Картина была нелепая.

Немец помог ему подняться. Бледность не сходила с его лица, но на губах появилась улыбка. Воспринять всерьез всю эту картину было невозможно. Раздались смешки среди окружавших капитана и немца солдат и офицеров. Это еще больше разозлило капитана, он потерял остатки самообладания.

Наконец пистолет освободился от последнего бинта. Капитан поднял пистолет и приставил к голове немца.

— Прекратите, товарищ капитан! — раздались крики солдат и офицеров, стоявших вокруг. — Его нужно сдать в штаб. Там разберутся.

Полищук окинул товарищей безумным взглядом. Нельзя было допустить убийства безоружного, пусть даже немца, может, действительно безвинного человека.

— Прекратите! — Капитан Балакирев и еще несколько офицеров схватили Полищука за руки, за плечи, попытались выбить пистолет. — Это убийство, а не возмездие! Возьмите себя в руки!

— А они, они что делали?! Им что, все дозволено — детей насильовать, стариков убивать?! Кого защищаете? — набросился Полищук на Балакирева, пытаясь вырваться из рук товарищей. — Фашисты — это не люди! Даже звери не позволяют себе того, что делали они на нашей земле!..

Полищук рванулся изо всех сил. На какое-то мгновение руки его упустили — раздался выстрел. Немец, открыв рот, очевидно, чтобы что-то сказать, упал замертво. Полищук схватил горсть земли и, запихивая ее мертвому в рот, истерично кричал:

— Вам земля была нужна? Нате, ешьте, сволочи!

Ошеломленные происшедшим, солдаты и офицеры подавленно молчали, глядя кто с сожалением, кто с сочувствием, кто с негодованием на Полищука. А тот вдруг обмяк, выронил пистолет, испуганно оглянулся и побрел, не разбирая дороги, к опушке леса, сгорбившись, как от непосильной ноши.

Через два дня капитана Полищука отправили в госпиталь с глубоким психическим расстройством. Он уехал с твердой уверенностью, что найдет свою Оксану. Дай-то ему Бог...

А война, громохочая, катилась дальше, подминая под себя человеческие судьбы и жизни. Впереди был штурм Берлина.

Последние жертвы

Недолго простояли мы в лесу на магнусшевском плацдарме, наслаждаясь красотами польской осени.

С января 1945 года наш полк занял огневые позиции, и начались ожесточенные бои. Немцы переживали катастрофу: остановить нас сил у них уже не было, и этот недостаток они старались восполнить ожесточением обороны, тем более что приближалось время расплаты — до Берлина оставалось триста километров.

Вторая гвардейская армия с ходу завернула на северо-запад своим левым крылом и с запада ворвалась в Варшаву. С востока навстречу, в направлении на юго-запад, наступала 47-я армия. Первая польская армия наступала на Варшаву с востока. В середине января столица Польши была освобождена. От города остались лишь груды развалин, и трудно было встретить жителя-варшавянина. Я видел, как плакали солдаты Войска Польского, глядя на взорванную фашистами Варшаву.

Все мы жаждали одного — взять Берлин. Однако после взятия Варшавы армия не повернула на запад. Сухачев, Быдгощ, Шнайдемюль... Ребята где-то раздобыли географическую карту — мы явно шли на северо-запад. Настроение солдат и офицеров упало: Берлин останется тем, кто идет южнее.

Не прекращаются ожесточенные бои. Каждый немецкий населенный пункт превращен в крепость с системой оборонительных сооружений. Все способные носить оружие вооружены фаустпатронами, и танковые подразделения ничего не могут против них предпринять. Пехоты, которая могла бы своим огнем подавить фаустников, явно не хватало. И тогда на выручку приходили мы: три-четыре дивизионных залпа по населенному пункту — и «вход свободен».

В начале февраля мы в Шнайдемюле. Контрудары вражеских войск весьма ощутимы: мы даже вынуждены отойти на три—пять километров. Идут жестокие бои. Дивизион каждый

день дает по несколько залпов. Однако вскоре мы начинаем ощущать: немцы выдыхаются. Из приказов узнаем, что это померанская группировка немцев пыталась прорваться на юг. Но тут подоспели войска 2-го Белорусского фронта, и с немецкой группировкой было покончено.

Армия резко сворачивает влево и устремляется к Пирицу. Солдаты и командиры повеселели: все-таки направление на Берлин.

К этому времени капитана Каменюка назначили начальником штаба дивизиона, меня — командиром второй батареи. Воспринял все спокойно: это уже третье назначение, считая с битвы под Поньями.

Взяли Пириц. Армия поворачивает на юг, и через несколько дней мы под Кюстрином. Здешний плацдарм забит войсками. Советские истребители барражируют в небе, не позволяя немецкой авиации бомбить наши войска.

Нас собирает командир дивизиона. Все вместе едем на плацдарм выбирать огневые позиции. Это, оказывается, не так просто — все забито войсками. Нашли небольшую площадку, где тесно даже одной батарее. Решили с нее стрелять всем дивизионом — иного выхода нет.

Вернулись на стоянку. Не успели перекусить, нас снова собирает майор Иноземцев, который стал командиром дивизиона после гибели майора Аверьянова под Корсунь-Шевченковским. Пришли.

— Курите, — разрешил майор и сообщил: — Ситуация такая: наши войска сосредоточиваются на кюстринском плацдарме для решающего броска, однако город Кюстрин нами еще не взят. Какой-то фанатик, озверевший штурмбанфюрер, а скорее всего, этот чурбан-фюрер, пытается превратить город в крепость. Понаделали в домах амбразуры, всех, даже детей, вооружили фаустпатронами. У армии просто нет времени. А наших парламентаров фашисты расстреляли...

Приказано бить прямой наводкой, расстреливать каждый дом. Подойдите к карте. Вот этот сектор, Зукин, твой, а вот этот, Грунсковой, — твой. У других тоже есть свои объекты. Все ясно?

— Так точно!

— Ну вот и добре, — по-казачьи заключил майор. — Идите, готовьтесь. Начало в семь ноль-ноль.

Вышли мы из землянки комдива в растерянности. Куда тут идти готовиться? На улице крошечная тьма, прорезаемая осветительными ракетами, которые без конца пускают немцы, да трассирующими пулями, летящими во всех направлениях.

— Ничего мы сейчас не сделаем, — начал Зукин, — идемте спать. Часов в пять, с рассветом, соберем командиров орудий, подберем огневую позицию и все им объясним.

Я с таким предложением согласился, и мы разошлись по батареям.

В пять утра мы уже бодрствовали. Несмотря на конец февраля, утро выдалось довольно теплым. Выстроились цепочкой, десять командиров орудий и помощников командиров взводов пошли прямо в сторону Кюстрина.

До города оставалось километра два, когда мы набрали на удобную ложину с пологими скатами.

Зукин стал объяснять задачи наших батарей.

— Там же женщины, дети! — возмутился командир орудия Горобец — самый старший из нас.

— Василий Васильевич, — вмешался я, — наших парламентариев немцы расстреляли. Мы пойдем на Берлин, а врага оставим в тылу?

— Вот варвары... — опустив голову, тихо произнес Горобец.

В семь утра мы с помощником командира взвода Арменаком Саркисяном на одной установке уже были на огневой. Быстро навели установку на обреченный дом... Вместе с нашим залпом раздается оглушительный грохот, и весь силуэт города покрывается клубами разрывов. Тут же подъезжает вторая установка. Первая уехала. И снова залп... Затем третья, четвертая... И вновь первая. Каждая расстреливала свой дом. То же самое делали и многочисленные орудия ствольной артиллерии...

Через два часа такого обстрела все дома, обращенные к нам, забелели простынями, наволочками, полотенцами. Пехота без единого выстрела вошла в город. Было взято много пленных.

О последствиях нашего обстрела Кюстрина не знаю. Говорили, правда, что нашелся какой-то обер-лейтенант, подговорил своих друзей, они арестовали наиболее фанатичных фашистов и застрелили штурмбанфюрера, после чего город и выбросил белые флаги...

Начало апреля. У нас в эту пору еще могут быть холода. Здесь же отличная теплая погода. Если долго смотреть в воду Одера, то перистые облака, отражаясь в реке, создают иллюзию плавного полета. Командир батареи Борис Осташкин, его старшина Георгий Гочайлешвили и я сидим у самой воды.

Одер равнодушно катит мимо свои свинцовые воды. Иногда белыми пятнами в реке мелькают остатки льдин. Река уже перепоясана пятью или шестью переправами. Собираются навести еще несколько.

Погода — самая удобная для авиации: слышен гул вражеского самолета, но его пока не видно. И вдруг он выскакивает из-за облаков — и ну бомбить переправы. Наши зенитки встречают налетчиков массированным огнем. Результаты стычек тоже извест-

ны: или самолет, пуская шлейф черного дыма, идет в смертельное пике, или вдребезги разносит участок переправы, который тут же восстанавливают саперы.

Мы сидим молча. В руках кружки, в каждой граммов по пятьдесят чистого спирта. Угощает Гочайлешвили. Закусываем шоколадом. Старшина сегодня уходит от Осташкина: командир полка Зафирный вызвал Георгия Романовича на беседу и назначил его командиром взвода полка.

— Борис, Ванья, — нарушил молчание Георгий, — что молчите, будто покойника провожаете?..

Он старше нас лет на двенадцать и, когда никого рядом нет, называет нас по именам, произнося мое имя через мягкий знак и делая ударение на последнем слоге.

— Что тут сделаешь? Командир полка говорит: видишь, как немцы живут? Им, если не помогать, погибнут, как мыши. Страна уже шлет им хлеб. Нужно создавать подсобные хозяйства. Всего не привезешь. Нужно хлеб растить на месте... Хотел я отказаться, так вы же знаете нашего командира...

У нас действительно ходила поговорка: «Наш командир Зафирный никому не даст жизни смирной». Он был не только толковым командиром, но и энергичным, деятельным человеком. Наша армия заранее готовилась к длительной работе в Германии.

— Ох, Георгий, — задумчиво говорит Борис, — у меня ощущение, будто я теряю тебя навсегда. У нас с тобой теперь разные эшелоны. А она, костлявая стерва, уже поджидает меня. Обидно загнуться в конце войны...

С Осташкиным мы прошли всю войну рядом, начиная со Сталинграда. Он командир взвода — я командир взвода, он командир батареи — вот и я командир батареи. Его мрачноватое настроение меня возмутило:

— Да брось ты, Борис, что вы тут панихиду развели?

— Дорогой Ванья, не мы развели, а Борис. Эх, не затем мы пришли, чтобы здесь остаться. Давайте, друзья, выпьем за встречу после войны в Ткибули, — произнес старшина.

Мы дружно выпили, закусив шоколадом. Потом обнялись и расцеловались.

Грандиозное наступление наших войск, начавшееся 16 апреля 1945 года, многократно описано, и не в одной книге. Самым неповторимым явлением стала иллюминация. Когда были включены 140 прожекторов и передний край немцев оказался как на ладони, для нас это стало полной неожиданностью.

Прорвав первую линию немецкой обороны, наши войска завязали ожесточенные бои у Зееловских высот. Два или три дня мы штурмовали эти высоты, по три-четыре дивизионных залпа дава-

ли по оборонительным позициям немцев, но те яростно сопротивлялись. Наконец на третий или четвертый день вражеская оборона рухнула, и лавина советских войск неудержимо покатилась к Берлину.

Наши солдаты в отличие от немецких войск в занимаемых населенных пунктах вели себя по-рыцарски. Считаю своим долгом это подчеркнуть. Говорю это и потому, что уж слишком много горя пришлось нам увидеть на дорогах войны.

23 апреля наш дивизион дал первый залп по Берлину. Надо было видеть, с каким воодушевлением делали это наши солдаты!

Мы еще не однажды стреляли по Берлину: по Имперской канцелярии, по Министерству иностранных дел.

Однако возникали и неразрешимые проблемы. Мы не могли вести своими «катюшами» огонь в городе: высокие дома мешали выбрать необходимый прицел, невозможна была и точная корректировка огня.

Борис Осташкин попробовал эту проблему решить. Взяв с собой трех разведчиков, он выбрал самый высокий дом из тех, которые уже были взяты нашими войсками, и решил забраться на крышу дома.

Зайдя в подъезд, он достал свой ТТ, дослал патрон в патронник и предупредил разведчиков о возможных неожиданностях. Поднялись на восьмой этаж. Оставалось лишь найти люк на чердак.

Открывает он первую попавшуюся дверь. Успеваешь заметить длиннющий коридор, а навстречу ему немецкий офицер метров с восьми из пистолета в Бориса — бах... бах...бах... Хорошо, что из-за спины Осташкина разведчик успел ударить из автомата — та-та-та-та... Немец упал. А Борис все так же с пистолетом в руках стоял и с недоумением смотрел на немца.

Потом он еще рассказывал об этом: «Я стоял, открыв рот от неожиданности, с пистолетом в руке, и единственная мысль была в моей голове: вот оно, прощание с Гочайлешвили...» На этот раз Борису повезло.

Поскольку наши установки не могли быть эффективно использованы в городском бою, наш полк за два-три дня до падения Берлина вывели из боя и мы сосредоточились в лесу под Лихеном. Все понимали: Победа близка.

Восьмого мая пришел Гочайлешвили, посмотрел, как мы устроились, поздравил нас, похлопал Бориса по плечу:

— Ну вот, генацвале, а ты хотел нас отпевать. Будем жить. Завтра еду в фольварк какого-то барона. Буду подбирать землю и рабочих для подсобного хозяйства.

На утро, взяв с собой четырех бойцов, Гочайлешвили отправился в какое-то немецкое село. Нам уже объявили об одержанной Победе...

Старшина с бойцами отъехал от места дислокации на пять—семь километров. Машина ходко бежала по грунтовой дороге, как вдруг из ближайшего леса раздались автоматные очереди. Неожиданно охнув, старшина вмиг осунулся и побледнел... Солдаты открыли ответный огонь, но нигде никого не было видно.

Так в один из последних дней войны, уже зная о нашей Победе, погиб старшина Георгий Романович Гочайлешвили, который за всю свою жизнь делал окружающим только добро.

И радостный день Победы оказался для нас не без жертв.

У войны такие разные лица...

ЛЕОНИД ВЕГЕР

ЗАПИСКИ БОЙЦА – РАЗВЕДЧИКА



Курсантская бригада

После того как немецкие войска летом 1942 года взяли Ростов и хлынули на кубанские просторы, из курсантов военных училищ Северного Кавказа и Закавказья стали срочно формироваться курсантские бригады. При этом в каждом училище, в том числе и в моем Орджоникидзевском, курсантов разделили на «чистых» и «нечистых». Я оказался в числе последних. Среди них преобладали полууголовные ребята из казачьих станиц, а также бывшие заключенные.

Как попал в их компанию я, отличник боевой и политической подготовки, было непонятно. Национальность не являлась, по крайней мере, главной причиной, так как одноклассник, Яша Рихтер, попал в основной состав. Кстати, после 10-го класса ему было 17 лет, и он не подлежал призыву. Но Яков пошел в военкомат, похлопотал, и его взяли вместе с нами.

Перебирая другие свои «грехи», вспомнил, что месяца за два до этого у меня случилась стычка с командиром отделения. Он обозвал меня «пархатым», я толкнул его в грудь, и началась обычная мальчишеская драка (он был мой ровесник). Прекратил ее проходивший мимо комиссар нашего батальона. На вечерней поверке нам объявили наказания: командира отделения вернули в рядовые, мне дали десять суток гауптвахты. Впрочем, это не такой уж большой «грех» и не такое уж редкое взыскание, чтобы из-за него отчислять из основного состава.

Сейчас я думаю, что причиной этого стала биография моей мамы. Девятнадцатилетней девушкой она оставила свою добропорядочную еврейскую семью и ушла в революцию бороться за свободу и справедливость. Примкнула к анархистам. Установившуюся советскую власть они не признали и продолжали бороться и с ней. После нескольких арестов ее в 1922 году отправили на Соловки, где я и родился. Заполняя при поступлении в училище свою первую в жизни анкету, я, как честный, принципиальный комсомолец, указал, что родители были репрессированы.

Нас, человек пятьдесят «нечистых», погрузили в вагоны и отправили в Баку. Там уже собрались подобные группы из других училищ Кавказа. Из них и была сформирована 167-я курсантская бригада.

Мне, как оказалось впоследствии, повезло — я попал в артиллерийскую батарею. Артиллерийское дело мы постигали теоретически, на пальцах, поскольку орудий не было. Зато в мое распоряжение попал крупный костлявый конь (батарея считалась на конной тяге). Отношения у меня с ним сложились непростые. При чистке коня я пару раз задел скребком его сбитую холку, жалел делиться с ним сахарным пайком. Он при каждом удобном случае старался лягнуть меня копытом, не желал признавать своим хозяином.

Вскоре положение на фронте еще более ухудшилось. Немцы стремительно продвигались к нефтяным промыслам Грозного. Нашу бригаду спешно собрали и погрузили в вагоны. Вечером мы тронулись. Орудий нам так и не дали, сказав, что получим по прибытии на место. Батальоны тоже были вооружены кое-как. Даже винтовки дали не всем.

Состав всю ночь безостановочно двигался к фронту. По пути проявился необузданный характер наших ребят. Несколько человек на ходу поезда каким-то образом вылезли на крышу вагона, прогулялись по составу и вычислили, непонятно как, вагон с продовольствием. Вагон был «взят», и вскоре мы все уже жевали хлеб с колбасой.

Выгрузились мы рано утром в каком-то осетинском селе. Батальоны начали рыть окопы в паре километров от села, а наша батарея осталась в селе, ожидая прибытия орудий.

Несколько дней стояло затишье — ожидали подхода немцев. Здесь произошел следующий эпизод. Старшиной нашей батареей был бывший зэк с Беломоро-Балтийского канала. Надо сказать, что командирами отделений и старшинами, как правило, стали бывшие зэки. Наверное, это было закономерно, учитывая схожесть лагерной жизни и армейской службы. Они были взрослее, лучше знали жизнь, могли заставить нас подчиняться.

Когда старшина, поручавший мне самые неприятные задания, вопреки уставу в третий раз подряд назначил меня в ночной караул, я возмутился, вышел из себя — мол, пристрелю его, как только придем на передовую. Старшина опешил, как мне показалось, даже испугался и доложил о моей угрозе политруку.

Вечером политрук вызвал меня к себе. Надо сказать, что «нечистыми» в нашей бригаде были не только рядовые, но и командиры. В основном это были, видимо, в чем-то провинившиеся уже воевавшие офицеры. Должность политрука занимал суровый, молчаливый человек с тремя кубиками в петлицах. Политзанятия он с нами не проводил и в чем-то даже был мне симпатичен.

Идя к политруку, я ожидал любого наказания. Угроза застрелить командира на передовой была нешуточной, тем более что, судя по разговорам, такое случалось. Выслушав мои объяснения

и оправдания, политрук вместо разноса отечески объяснил мне, что батарея не укомплектована, посылать в ночные караулы некого, у него самого нет пистолета и он рад, что обзавелся карабином. В конце концов политрук дал мне несколько нарядов вне очереди, и этим все кончилось.

На следующий день немцы вышли на нашу оборону. Начались бомбежки и артобстрелы. Поддержать наших — подавить вражеские огневые точки — нам было нечем, орудий нам так и не дали. Потом пошли танки, и 167-я курсантская бригада перестала существовать. Большая часть из двух тысяч восемнадцатилетних ребят, вчерашних школьников, погибла. Кем-то приходилось жертвовать в первую очередь — пожертвовали ими.

Конечно, они были далеко не ангелы. Их вольнолюбивые натуры не принимали ни законов, ни моральных норм. Они были порождением еще оставшейся казацкой вольницы, полубандитами, признававшими только закон силы. В прошлые времена они пополнили бы рати Ермака, Разина, Пугачева. В нашей регламентированной законами и правилами жизни им приходилось трудно. Бог судья и им, и их земным судьям, пославшим их неподготовленными и плохо вооруженными на закланье...

Ближе к вечеру затихающие шумы боя звучали уже позади. Мы, необстрелянные юнцы, не представляли себе опасности, не понимали, что мы в мешке и нас ждет участь наших товарищей. Отдать приказ об отступлении никто не решался. (К тому времени уже действовал известный приказ Сталина о расстреле отступающих на месте). Да и некому было отдать такой приказ. Командиры куда-то исчезли. Выручил нас все тот же политрук. Он просто вывел из сарая своего коня и стал седлать. Мы поняли это как указание «делай, как я» и последовали его примеру. Без седел (их у нас и не было) мы забрались на своих лошадей и потрусили вслед за ним. Как он ориентировался ночью, на незнакомой местности, среди всполохов света и разнообразных шумов, оставалось непонятным. Среди ночи, правда, у нас появился проводник. Им стал примкнувший к нам молодой, лет тридцати, приветливый чеченец. Он сказал, что в селе вдруг объявился односельчанин, с которым у него кровная вражда и который должен его убить. Дело, видимо, было нешуточное, и он, бросив дом и семью, ударился в бег. Держаться он старался в середине группы и никуда не отходил.

Всю длинную, бесконечную ночь, не спешиваясь, мы трусили за своим политруком. Когда рассвело, решили сделать привал. Слезть с коня оказалось почти невозможно. Мы стерли до крови лошадям холки, а их хребты содрали кожу с нас. Все это сохлось, спеклось, и мы превратились почти в одно целое с нашими

лошадьми. После того как все-таки слезли, передвигались мы, наклонившись вперед и широко расставив ноги, — на полусогнутых.

Нас оказалось заметно меньше, чем предыдущим вечером. Часть ребят, видимо, повернула лошадей и отправилась в родные станицы. Я разнуздal свою лошадь и пустил ее пастись. Какой-то листок бумаги белел в траве. Я поднял его. Это была листовка, сброшенная с немецкого самолета. Текст был такой: «Горцы! Вспомните заветы Шамиля. Гоните русских с вашей земли...» и что-то еще в этом роде.

Вскоре к нам прибежали подростки из соседнего, как оказалось, чеченского села. Они стали предлагать нам еду в обмен на оружие. Мы были голодны и меняли, что могли. Я сменял пригоршню патронов на чурек и быстро его сжевал.

Потом мы сделали невозможное: опять взобрались на своих лошадей и отправились дальше. К полудню наткнулись на заградотряд. Нам приказали сдать лошадей и идти на переформировку. С политруком я даже не попрощался, его отправили куда-то, и, как это часто бывает на фронте, мы разошлись, не успев узнать даже имени друг друга. Со своей лошадью, фактически спасшей мне жизнь, я тоже не попрощался, даже не потрепал ее по шее. Война неотвратимо делала из нас жестоких одиноких волков.

Первая атака и первая клятва

Наконец-то настоящий бой. Я лежу в углублении, поблизости — никого, пули свистят над головой. Да, это настоящий бой. До этого было не то. В артиллерии, куда я попал вначале, мы посылали снаряды неизвестно куда. Позже, в минометной части, я опускал мины в ствол миномета, они куда-то летели, но ощущения настоящей схватки тоже не возникало. Неделю назад на переформировке я утаил, что артиллерист и минометчик, и попал в обычную пехотную роту. И вот моя первая атака.

Впереди, метрах в пятистах, — немецкие окопы. Пока мы сделали первый бросок. Стрельба была еще не очень густой. Я бежал быстрее и оказался впереди других. Лежу в углублении, гордый собой. Федор слева и Петр справа отстали, я впереди всех. Но вот Федор поравнялся со мной.

Надо готовиться к следующему броску. Огонь стал плотнее, прежней готовности оторваться от земли уже нет. Но надо. Намечаю бугорок, до которого должен добежать. Чуть правее — место, в которое я потом переползу. Сосредоточиваюсь, собираюсь и вскакиваю. Согнувшись в три погибели, несусь вперед, добегаю

до бугорка, падаю. Огонь становится еще плотнее. Впечатление такое, что пули задевают шинель на спине.

Федор и Петр залегли на одной линии со мной. Сейчас надо будет подняться и опять подставить себя под пули. Как это возможно? Но выхода нет. Федор уже впереди. Переползаю боком, как краб, на несколько метров вправо, вскакиваю, бегу. На ходу высматриваю укрытие, за которым можно будет залечь. Вижу впереди труп, бегу к нему. Пронесло, добежал. Я все еще жив и опять впереди всех. Можно расслабиться.

Неожиданно в голове всплывают прошлогодние школьные размышления о бренности бытия. В 17—18 лет мысли, навеянные Байроном и лермонтовским Печориным о никчемности жизни, о ее обыденности, о том, что ты повторишь путь миллионов других, что ничего нового в твоей судьбе не будет, одолевают, как известно, многих. Появлялись мысли об уходе из жизни и у меня. И вот тут под свист пуль, когда жизнь висит на волоске, я вспомнил об этом. Мною почему-то овладел нервный смех. Если бы кто-нибудь увидел меня в этот момент, подумал бы, что я сошел с ума.

И тут я дал первую в своей жизни клятву. Лежа, вжимаясь изо всех сил в землю, упираясь головой в труп, который вздрагивал от вонзающихся в него пуль, зная, что сейчас надо будет встать и подставить себя под огонь, я сказал себе: в какие бы условия я в будущем ни попал, как бы мне ни было трудно, я не допущу даже мысли о добровольном уходе из жизни. Изо всех сил я буду держаться за нее. Не для того я пришел в этот мир, чтобы так легко уйти из него.

Справа недалеко — Петька. Федора нет. Надо подниматься. Как это сделать? В очередной раз жалею, что на голове нет каски. Пару недель назад, в очередном марш-броске, шатаясь от усталости, мы сбросили с себя все, что было можно — каски, противогазы, штыки, гранаты, патроны.

Не поднимая головы, скашиваю глаза, смотрю: Федора слева по-прежнему не видно. Но чуть дальше справа и слева кто-то равняется со мной. Пора. Сжимаюсь, подтягиваю под себя руки и ноги. Опять боком отползаю в сторону, немного выжидаю, вскакиваю, бегу...

Разведка боем

— Поступаете в распоряжение капитана, — говорит, указывая нам на незнакомого артиллериста, комвзвода Ваня.

Тот скептически оглядывает наш малочисленный разведвзвод и ведет нас на передовую.

За минуту до этого ординарец комбата, выйдя из штабной землянки, мимоходом бросил:

— Пойдете в разведку боем.

Для нас это самое худшее, что может быть. Разведчики привыкли действовать ночью, скрытно. А тут иди в атаку открыто, без артподготовки, ради того, чтобы кто-то засек огневые точки, из которых по тебе стреляют. Обычно разведчиков берегут и на такие операции не посылают. Недотепа-Иван не смог настоять, чтобы вместо нас отправили пехотный взвод, а сам-то, как всегда, с нами не пошел.

Капитан ведет нас грамотно. Это — не ночной путь, когда на передовую можно пройти напрямую, а сложный дневной маршрут, избегающий открытых мест. С полкилометра идем параллельно передовой под прикрытием откоса. Затем коротким броском перебегаем в соседний овраг (это место простреливается снайперами, и каждый день здесь появляются новые трупы). Оврагом доходим до нашей передовой. По окопу продвигаемся до самого конца и спускаемся к ручью. Вдоль него, за зарослями ивняка, движемся к речке, разделяющей нейтральную полосу.

Берег реки почти весь усеян трупами наших солдат. Все они почему-то азербайджанцы. Видимо, рано утром их часть сконцентрировалась здесь для атаки, но промедлила и попала под сильный огонь с противоположного высокого берега. Через день-два этим же путем должен будет идти и наш батальон. Поэтому выявить немецкие огневые точки, конечно, необходимо. Вот только жаль, что ценою жизни кого-то из нас.

Место знакомое. Мы несколько раз в предрассветные часы ходили здесь, рассматривая содержимое полевых сумок убитых. Но однажды снайперский выстрел раздробил автомат на животе помкомвзвода Ключкова. С тех пор мы обходим это место. Сейчас мы тоже обошли опасный участок стороной и по короткой ложбине пошли к реке.

Не доходя метров десяти до берега, сели, и капитан произнес:

— Объясню задачу. По моей команде форсируете реку. Немцы открывают огонь. Я засекаю огневые точки.

Капитан достал планшет, вытащил карту и карандаш,скомандовал:

— Вперед!

Что будет дальше, я представлял себе четко. Хотя мне восемнадцать, я уже месяц воюю в разведвзводе и опытный боец. Сначала ребята будут тянуть время. Один станет перематывать обмотку. Нельзя же бежать в атаку с болтающейся обмоткой! Другой начнет поправлять патрон в диске автомата. Третий будет

подтягивать ремень и плотнее натягивать ушанку. Новички, глядя на старших товарищей, тоже найдут неотложные дела, чтобы оттянуть роковую минуту. Глядя на это, капитан повторит команду, сопровождая ее матом, — и взвод побежит к реке. Пока мы будем ее форсировать, по нас будут бить из винтовок и пулеметов. И для кого-то из нас это будет последняя купель.

Итак, отдана команда «Вперед!». Не дожидаясь повторения, я вскочил и один помчался к реке. Краем глаза засек недоуменные взгляды сидящих ребят. Но я уже влетел в воду и что было сил понесся вперед. До немецкого берега, густо заросшего ивняком, метров пятьдесят. Все время сверлила мысль, что вот-вот справа, с холма, в меня ударит пуля. Бежать было трудно. Вода доходила до пояса и казалась очень плотной. Шинель облепила колени. Галька выскальзывала из-под ног. Холода я не чувствовал, хотя дело было в декабре. Но противоположный берег приближался, река становилась мельче. И вот я, невредимый, уже плюхаюсь на берег между двух корней. Оглядываюсь. Ребята входят в воду. Справа застрочил пулемет...

Вечером везучий Клочков, опять оставшийся в живых, выхлопотал у старшины две фляги спирта. Каждый получил двойную порцию. В нашей части было принято давать спиртное не до, а после атаки. Перед первой помянули уплывших по реке. После второй я задумался: а честно ли я поступил, когда бросился первым, не дождавшись остальных? Ведь я был уверен, что немцы не сидят, прильнув к прицелам, и я, скорее всего, успею проскочить. Вспомнились слова из старой присяги: «Не пожалею живота своего». А ведь я пожалел.

Через час меня вызвал комвзвода:

— Тут нам выделили награды. Я решил представить тебя к медали «За боевые заслуги».

— Не надо, Вань, — сказал я, все еще мучаясь сомнениями. — Я ее не заслужил.

Иван взглянул на меня оценивающе и, решив, что я недоволен столь малой наградой, произнес:

— Ладно, дадим «За отвагу».

Я продолжал отказываться.

— Ну, больше я дать не могу. Орден выделили только один — для меня. А медаль ты вполне заслужил. Капитан рассказал, что ты первым бросился в атаку, и за тобой пошел взвод.

— Ну, хорошо, — сказал я.

А про себя подумал: «Пусть будет как будет. Как решит судьба». Медаль я так и не получил.

Становлюсь оптимистом

Сальские степи. Декабрь 1942-го. Очередной марш-бросок. Уже 10 часов молотим и молотим ногами. Усталость овладела всем телом. Периодически кто-то падает, через него переступают, идут дальше. Более сознательные, прежде чем упасть, делают два шага к обочине и валятся там. Говорят, что сзади идет машина и подбирает лежащих. Большой соблазн тоже отдаться во власть усталости и свалиться. Гордость не позволяет.

Давно выброшены противогазы и штыки, выбрасываем каски, освобождаемся от всего, что хоть что-то весит, выбрасываем патроны и гранаты.

Я расстался со своим штыком месяц назад, едва придя на фронт. Расставание было драматическим... В училище благодаря быстрой реакции я хорошо фехтовал. Комвзвода на занятиях по штыковому бою вызывал для демонстрации именно меня. Поэтому в мечтах я представлял себе, как на фронте отличусь в штыковом бою. Попав на фронт, я бережно относился к своему трехгранному другу, хотя остальные солдаты выбросили штыки после первых же походов. Мой штык создавал для них неудобства. Особенно ночью, когда мы вповалку и в тесноте спали на полу. Но, несмотря на их «просьбы», я его не выбрасывал и ждал рукопашной. Проснувшись однажды утром позже других, я увидел, что штыка нет. Ребята ухмылялись.

Утром начштаба еще шутил: «Война выигрывается ногами», а мы смеялись. Сейчас не до шуток. С неба сыплется то ли дождь, то ли снег, дует ветер. Под ногами то раскисшая глина, то песок. Работительности почти никакой. Только засохший бурьян. Населенных пунктов тоже нет.

Дали сухой паек: по селедке и куску кукурузного хлеба. После привала подняться почти невозможно. Темнеет. А мы все идем и идем.

Наконец голоса: «Пришли». Падаем на землю. Через какое-то время мокрый снег и ветер заставляют подняться. Оглядываюсь вокруг. Никаких строений. Голая степь. Солдаты лежат на земле. Становится нестерпимо холодно. Бьет дрожь. Ветер и дождь со снегом не прекращаются. Видны следы старой, обсыпавшейся оборонительной линии.

По укоренившейся разведческой привычке обхожу окрестности. В поисках какого-либо укрытия отхожу все дальше и дальше. Ура! Натыкаюсь на отдельный небольшой окопчик около метра глубиной. Из последних сил ломаю бурьян, укладываю его на дно. Нахожу какие-то стебли и делаю из них крышу, закладываю ее листьями бурьяна, присыпаю сверху землей. Дворец готов. За-

бираюсь внутрь. Снег не проходит, очень уютно. Снимаю шинель, накрываюсь ею и постепенно согреваюсь. Усталость уходит.

В преддремотном состоянии всплывают старые воспоминания о прошлой жизни, недовольстве ею. Но сейчас же их вытесняет благодное чувство тепла и уюта. И тут даю себе вторую Великую клятву: если даже в самых тяжелых обстоятельствах у меня будет возможность вырыть окопчик и жить в нем, я буду считать себя счастливым и ни за что не стану роптать на судьбу.

Новый год

31 декабря 1942 года наша 7-я гвардейская бригада шла пустынной Сальской степью. Опять бесконечная ходьба. Вдобавок есть хочется больше, чем всегда. Рацион урезан. Грузовики с нашими продуктами и новогодними подарками попали пару дней назад к немцам. А нам так хотелось получить эти подарки! Заблудившихся шоферов можно понять. В Сальской степи, где нет никаких ориентиров, это немудрено.

Нескончаемая дорога вьется между песчаными холмами. Все однообразно и монотонно. И вдруг в небе, пересекая наш путь, появились две большие птицы, похожие на кур. Чувствуется, что они упитанны. Раздался выстрел, другой, третий. Птицы продолжают лететь. Раздалось несколько автоматных очередей. Затем началась сплошная стрельба. Почти все подняли свои автоматы, винтовки, карабины и начали палить по птицам. А они продолжали лететь, как ни в чем не бывало.

Вся степь огласилась таким гулом, что казалось, идет серьезный бой. Несколько командиров метались между стреляющими и что-то кричали. Но ничего не было слышно. Всеми овладел азарт, две тысячи стволов продолжали стрелять. Казалось чудом, что птицы еще машут крыльями и летят.

Но вот одна как будто ударилась о невидимую стену. Одно крыло перестало махать. Она не может понять, что случилось, машет крылом и пытается как-то восстановить равновесие. Видимо, еще одна пуля настигла ее — она начала падать. Вторая птица почти тут же замерла в полете и заскользила вниз.

Несколько десятков солдат кинулись за ближайший холм к месту их падения. Что там происходило, не знаю. Но обошлось все же без жертв.

Движемся дальше, обсуждая случившееся. Спускаются сумерки. Делаем еще переход и останавливаемся на ночлег. Вокруг все та же степь с песчаными, поросшими бурьяном холмами. Мы, человек десять из взвода разведки, расположились в лощине, сели на землю, молчим, отдыхаем. Пытаемся из сырых веток кустар-

ника разжечь костер. Ничего не получается. Сказали, что ужина не будет. Пронизывающий ветер донимает все больше. Сидение в холоде, да еще во влажной одежде, становится неудобным.

Вспоминаю, что это новогодняя ночь, наша невеселая новогодняя ночь. Спать еще не хочется. Мы, разведчики, привыкли, что основная деятельность проходит по ночам: то боевое охранение, то попытки взять «языка», то доставка боеприпасов в роты, то ведешь кого-то ночью на передовую, то сопровождаешь туда повара с кухней, то что-то еще.

Когда усталость немного проходит, вскидываю автомат и иду в темноту прогуляться по окрестностям. Замечаю в соседней ложбине что-то вроде привязи, около которой стреножены лошади. Иду туда. Лошади одни, никого нет. На мордах у них болтаются торбы то ли с овсом, то ли с чем-то еще. Они периодически их встряхивают и жуют содержимое. Подхожу ближе. Щупаю торбу у одной из них и определяю, что там кукурузные початки. Засовываю руку в торбу, предварительно дав лошади шлепок, чтобы не вздумала кусаться, и достаю кукурузный початок. Он в зеленой лошадиной слюне и до половины изгрызен. Вытираю початок о полу шинели и пытаюсь жевать. Зерна высохшие, твердые как камень. Таким же образом достаю еще початок, кладу его в карман и, жуя, иду дальше.

Уже совсем темно. Недалеко светится какой-то огонь. Иду к нему. Это костер. Вокруг сидят несколько командиров из штаба нашего батальона. У костра лежит часть железнодорожной шпалы. Штаб возит их с собой на подводе и при ночевках в степи использует для костра. Стою какое-то время в темноте, потом берусь за костыль, торчащий из шпалы, и начинаю понемногу оттаскивать ее от костра. Движение — пауза, движение — пауза, и вскоре я уже нормальным шагом тащу шпалу к нашему bivouaku.

Ребята по-прежнему лежат, сжавшись, на земле. Достаю штык-кинжал, откалываю от шпалы щепки. Когда их становится достаточно, бужу помкомвзвода Ключкова, у которого хорошее кресало, и разжигаю костерок. Вдвоем расщепляем шпалу, добавляем щепок в огонь, и вскоре он уже горит ярким, горячим пламенем. Пододвигаемся к нему как можно ближе, потому что в спину дует пронизывающий ветер. Становится тепло. Дожевываю кукурузные зерна, кажущиеся уже вкусными, и укладываюсь. Засыпая, опять вспоминаю, что это новогодняя ночь, и решаю, что она не так уж плоха.

Просыпаюсь от ощущения, что у меня горит нога. Действительно, я лежу почти в костре, шинель тлеет и ее правой полы уже нет. Несколько дней нового года хожу в шинели с одной поллой.

За «языком»

Уже несколько часов февральской ночью 1943 года мы ходим по нейтральной полосе с заданием добыть «языка». Действуем прямолинейно. Идем в сторону немецкой передовой в надежде ворваться в окопы и захватить в плен немца. Но вот уже два раза нарываемся на немецкое боевое охранение. Те открывают по нас огонь, затем присоединяются остальные, и мы отходим. Убитых и раненых среди нас пока нет. В темноте перемещаемся на полкилометра левее и опять движемся к немецким позициям. Нас снова обнаруживают, открывают огонь, и мы опять отходим. Раненых и убитых по-прежнему нет.

Скорее всего, «языка» мы сегодня не добудем. Группа захвата составлена из новичков, которые пополнили наш батальон несколько дней назад. Командир группы — капитан, тоже из невоювавших. В нашем батальоне такого высокого звания ни у кого нет. Даже комбат у нас лейтенант. Наверное, капитану приказали возглавить эту операцию «на новенького», чтобы не очень задавался. Поэтому группа действует не очень настойчиво, отходя преждевременно. Мы, несколько бывалых бойцов из разведвзвода, держимся в тени и не высовываемся.

После третьей неудачной попытки группа еще раз сместилась влево. И тут оказалось, что мы вышли на место, которое нам, разведчикам, знакомо. Предыдущей ночью мы успели побывать здесь и, встретившись с разведчиками из соседней части, разговорились.

— Хорошее место для атаки, — сказал я, глядя на пологий спуск к реке от наших окопов и такой же пологий выход к немецким.

— Да, — ответил разведчик соседней части. — Место удобное, но, говорят, заминированное.

Теперь с группой захвата мы подошли к этому месту. Ночь была на исходе. У нас оставалась последняя попытка. На дне ложбины мы немного отдохнули, покурили и собрались идти в сторону немцев.

— Здесь вроде минное поле, — неуверенно сказал я.

Чей-то кулак пнул меня в бок.

— Тебя что, за язык тянут? — прошипел помкомвзвода Ключков.

Я опешил и усиленно зашевелил извилинами. Действительно, положение, как сказали бы теперь, сложное. Целую ночь мы пытаемся достать «языка», и нет ни его, ни потерь. Могут подумать, что мы отсиделись в укромном местечке. Надо, чтобы кого-то хотя бы ранило.

Группа пошла. Я пристроился в середине к одному из солдат и пошел за ним след в след. Идти ночью по минному полю — не сахар. Ужас сковывал меня при каждом шаге. Как только я делал шаг и выносил ногу вперед, меня охватывал страх. Казалось, именно в этот момент раздастся взрыв, и у меня оторвет...

Почти физически ощущалось, как это произойдет. Что может быть страшнее для восемнадцатилетнего юноши? Я старался изменить походку, пытаюсь идти не раздвигая колен. Пусть лучше оторвет ноги. Но при такой походке я не доставал до следа предыдущего солдата.

Так мы прошли еще минут пять. Потом неожиданно из земли вырвалось черно-красное пламя. Раздался взрыв. На мгновение я инстинктивно зажмурился. Когда открыл глаза, шедшего впереди солдата не было. Только что он был — и нет его.

Вокруг тишина. Ни стоны, ни звука. Все замерли в оцепенении. Затем повернулись на одной ноге на сто восемьдесят градусов и зашагали обратно. Скоро дошли до дна ложбины и начали подниматься к нашим окопам. Где-то в глубине сознания шевельнулась мысль: все позади, мы сделали все, что могли, и наконец-то можно будет поспать.

Дезертир

— Увольнительную не имею права дать, — сказал командир батальона. — Ее может дать только комбриг, а он еще где-то в пути. А что, тебе так уж надо увидеть свою тетку?

— Да, она была мне вместо матери.

Тетя взяла меня к себе после смерти мамы, и я жил у нее в Эссентуках последние три года.

— Иди без увольнительной, но к утру возвращайся.

Часа за два до этого наш батальон вошел в Железноводск, откуда до Эссентуков, освобожденных от немцев днем раньше, километров двадцать. Одна из улиц вела в нужном направлении, и я весело зашагал по ней, предвкушая встречу с одноклассницами. На окраине я подошел к последнему дому и забарабанил в дверь. В это тревожное время да еще к ночи никому не открывали, даже не подавали признаков жизни. Но в конце концов, убедившись, что я не уйду, старческий голос произнес:

— Чего надо?

— Где дорога на Эссентуки?

— Да вот по этой дороге и иди.

Я зашагал дальше. Через пару километров наткнулся на стаю шакалов, грызущих валяющуюся на дороге дохлую лошадь. До них оставалось метров десять, а они не разбегались. «До чего обнаглели», — подумал я и, передвинув автомат из-за спины на бедро, дал по ним очередь.

Сколько шакалов развелось! Впрочем, немудрено — пищи-то навалом. Табуны лошадей лежат вдоль дорог со вздувшимися животами. Жалко их. Очень уж они не приспособлены к современной войне. Не могут спрятаться ни в окоп, ни в подвал, залечь не могут. А над землей летят пули, осколки, снаряды.

Недавно рядом с нами стояла батарея на конной тяге. Так там породистому красавцу-тяжеловозу, которым мы все любовались, когда по вечерам его водили на водопой, во время бомбежки осколком срезало половину морды. Глаза были на месте и смотрели на нас, а вместо передней части — носа и рта, белели кости. Конюх, пожилой солдат, со слезами на глазах вел его за станицу, чтобы пристрелить. И хотя мы привыкли к смерти, лошадь почему-то стало жалко...

Топаю дальше. Вот и Эссентукский английский парк, переезд через пути. Вхожу в городской парк, где еще полгода назад гуляли с друзьями, слушали концерты на открытой эстраде, танцевали на танцплощадке. Совсем немного, и я постучу в родную дверь. Вот удивится тетя. Предвкушая радостную встречу, запел. Почему-то привязалась джазовая песенка:

Моя красавица мне очень нравится
Походкой легкою, как у слона,
Немножко длинный нос, макушка без волос,
Но все-таки она милее всех.

— Товарищ боец! — раздалось вдруг в ночной тишине. — Ваши документы!

Ко мне подошел патруль. Солдаты были какие-то чистенькие, гладенькие. Видимо, еще не воевали. Веселым голосом объясняю, что я боец взвода разведки 1-го батальона 7-й бригады 10-го гвардейского авиадесантного корпуса, что иду к своей тетке, которая живет здесь, за углом, и что к утру должен вернуться в свою часть.

— Давай увольнительную, — говорит старший.

— Да вы что, ребята?! Какая увольнительная? Штаб бригады далеко — комбат разрешил мне сходить без нее.

— Ничего не знаю. Предъявляй увольнительную.

Довольно долго мы так препирались.

— Пошли в комендатуру. Там разберемся.

Понимая, что выхода нет, иду с ними.

Комендатура помещается в здании городской поликлиники. Дежурный офицер, одетый почему-то в морскую форму, сидит в кабинете заведующего.

— Задержали дезертира, — докладывает старший патрульный.

Я в который раз рассказываю, как было дело. Офицера клонит в сон, и он вполуха слушает мои объяснения.

— Заберите оружие, отведите к остальным. Утром разберемся.

Патрульные, стоявшие у дверей, идут ко мне. Тут я теряю самообладание, и все дальнейшее происходит, как во сне. Я отскакиваю в угол, привычным движением перевожу автомат на бедро, взвожу затвор и направляю автомат на патрульных. Сам не знаю почему, говорю с пафосом:

— Гвардейцы оружия не сдают! Буду стрелять!

Патрульные в недоумении замерли. Установилась напряженная тишина. Рука офицера потянулась к кобуре. Я перевел автомат на него. Тут он оказался на высоте. Неожиданно спокойным голосом произнес:

— Ладно, отведите его как есть...

В зале стояло, сидело, лежало человек тридцать безоружных солдат опустившегося вида. Некоторые были пьяные. Я нашел свободное место и улегся. Мрачные мысли бродили в голове. Вместо того чтобы гулять по городу, красоваться перед одноклассницами, сижу в каталажке. Завтра меня, скорее всего, отправят в штрафбат, я расстанусь с родным батальоном, с товарищами. Наконец дала знать о себе усталость, и я заснул.

Утром новые, сменившиеся караульные вывели нас во двор оправиться. Потом арестованные стали возвращаться в здание. Я стоял в дальнем конце двора и игнорировал происходящее, как будто оно не имело ко мне отношения. Караульный пропускать мимо себя одного задержанного за другим и, когда прошел последний, вопросительно посмотрел на меня. Я продолжал стоять вполоборота к нему, ненавязчиво демонстрируя свой автомат. Внутри у меня все дрожало, я боялся встретиться с ним взглядом. Какое-то время он еще смотрел на меня, потом повернулся и пошел догонять ушедших.

Помещение поликлиники мне хорошо знакомо. Здесь год назад мне делали двадцать четыре укола в живот после укуса собаки. Погуляв еще немного по двору, я уверенной походкой поднялся на крыльцо и через боковой служебный вход вышел на улицу.

Как на крыльях, я несся от этого здания.

— Товарищ боец! — раздался над ухом грозный голос.

Душа ушла в пятки. Неужели обнаружилось мое бегство? Поворачивая голову. Рядом стоит направлявшийся к комендатуре майор невысокого роста, одет с иголочки.

— Почему не приветствуете старшего по званию?

«Милый! — пронеслось в голове. — Да я готов тебя облобызать, не то что приветствовать. Только не отводи меня обратно в комендатуру». Проникновенным, даже заискивающим голосом я прошу у него прощения, обещаю исправиться и никогда больше не нарушать устав. Он читает мне короткую нотацию и отпускает.

Боковыми улочками подхожу к своему дому и стучу в дверь. Раз, другой. Тишина.

Справка

В документах архивного фонда Ставропольской краевой комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников в г. Ессентуки за период оккупации с 11 августа 1942 г. по 11 января 1943 г. в списке граждан города Ессентуки (еврейской национальности), расстрелянных оккупантами, значится Вегер Мария Моисеевна, 43 года, проживавшая по ул. Фрунзе, 8.

Свой батальон я догнал только через три дня. Встретившийся начальник спецчасти удивленно на меня посмотрел и сказал:

— А я отправил бумаги наверх, что ты дезертировал.

Атака-показуха

С наступлением темноты наша часть пришла сменить измотанный, почти выбитый кавалерийский полк. Он ушел на пополнение, а мы начали размещаться в его окопах. Почему-то они были усеяны казацкими шашками. Видимо, убедившись в их ненужности, кавалеристы обошлись с ними так же, как мы со своими штыками. Наши офицеры, ребята чуть старше нас, тут же нацепили шашки и портупее и весь вечер щеголяли в них.

Наш взвод разведки занял несколько окопов около блиндажа, где располагался штаб батальона. До утра, когда, по-видимому, намечалось наше наступление, делать было нечего. Мы, несколько ребят из взвода, вылезли из окопов и пошли «прогуляться» на нейтральную территорию.

Сейчас я даже не могу понять, что нас толкало на такие действия. Приказов никто нам не отдавал; понимания того, что знание этой местности может пригодиться, у нас не было. Наверное, нами двигало любопытство, мальчишеская жажда приключений.

Итак, мы шли в сторону немецких позиций, осторожно всматриваясь в темноту и прислушиваясь к отдаленному шуму фронта: гулу артиллерийской канонады, разрывам мин и снарядов. Позже, когда я оказался в госпитале и утром впервые пришел в себя, меня поразила и даже испугала именно тишина. Сейчас, когда мы двигались к немецким окопам, с их стороны тоже почему-то не доносилось обычных звуков стрельбы.

Уже видна линия окопов. Мы подошли к ним метров на пятьдесят, но оттуда не доносятся ни выстрелы, ни голоса. Можно

было повернуть назад, но мы все-таки крадучись продвигались вперед, каждый момент ожидая пули в живот.

Наконец подошли к окопам и увидели, что они вроде бы пустые. Надо проверить: может, немцы спят в блиндаже?

Мы разделились. Двое ребят пошли вправо, а я влево по брустверу, не спускаясь в окоп. Вскоре я наткнулся на отходящую в глубь позиций траншею и пошел над ней. Она упиралась в блиндаж. Его дверь была закрыта. Я остановился в раздумье: открывать дверь рискованно, в блиндаже могли оказаться немцы. Вначале хотел бросить через трубу дымохода гранату, но потом все же решил войти через дверь.

Держа наготове автомат в правой руке, левой осторожно, стараясь не скрипеть, открыл дверь и вошел внутрь. Там было тихо. Через минуту, когда глаза привыкли к темноте, я убедился, что в блиндаже никого нет.

Он был оставлен, как всегда, в идеальном порядке. Все бутылки пустые, ничего съестного. Я вышел наружу и присоединился к ребятам. Мы осмотрели еще несколько блиндажей, ничего интересного не нашли и не торопясь двинулись к своим, тем более что уже светало.

Не успели мы вздремнуть, как нас разбудил шум. Батальон готовился к атаке. Атака выглядела необычно: в рядах атакующих находился весь штаб батальона во главе с комбатом. Я подошел к комбату и сказал, что немецкие окопы пусты.

— Откуда ты знаешь? — спросил он недоверчиво.

— Ночью мы там были.

Я увидел сомнение в его глазах. Надо все-таки сказать, что пули вокруг нас свистели. Вообще, эти пули, пули на излете, летят на передовой всегда, неизвестно почему и откуда. Кажется, немцев нет, а пули почему-то свистят. Впечатление такое, что они возникают из воздуха. Бывалые фронтовики не обращают на них внимания — нельзя же все время, да и не к чему, ползать по-пластунски. Те, кто попадал на передовую впервые, реагировали на эти пули и тем выделялись.

Атака тем временем развивалась по всем правилам. Атакующие бросались вперед, потом залегали и снова бросались вперед, связной тянул связь вслед за комбатом. Мы шли рядом в полный рост и чувствовали себя крайне неудобно: взрослые, солидные, уважаемые командиры залегали на землю, а мы стояли рядом и стыдливо отворачивались. Комбат в телефонную трубку докладывал комбригу, что атака при участии всего штаба развивается нормально, что они готовы к последнему броску.

За личное участие в атаке офицеры штаба были награждены орденами.

Атака ради «галочки»

Уже две недели наша гвардейская бригада вела наступление вместе с бригадой морских пехотинцев. Поочередно, то они, то мы выходили вперед, взламывали немецкую оборону и отходили на пополнение.

На этот раз морские пехотинцы атаковали особенно отчаянно. Они всегда ходили в атаку не так, как мы. Если мы ходили молча, то от их «ура-а-а!» мурашки пробегали по коже даже у нас, хотя мы находились сзади. Казалось, их невозможно остановить, даже ранеными они будут ползти вперед, чтобы зубами вцепиться во врага.

В это утро так и произошло. Сначала немцы оставили свои окопы, потом несколько барачков МТС, стоявших перед станицей, а затем и саму станицу. Бегство произошло в такой панике, что в станице остался грузовик, нагруженный бутылками со шнапсом. Скептики потом говорили, что это было сделано специально. Но как бы то ни было, через час моряки поголовно лежали без чувств.

Когда через некоторое время немцы пошли в контратаку, отражать ее было некому, и они вновь заняли станицу. Моряков, валявшихся на видных местах, застрелили, а лежавших в огородах и других укромных местах пока не обнаружили.

Наша бригада в это время начала занимать оставленные немецкие окопы, а взвод разведки обосновался впереди, в барачке МТС. Из станицы прибежал один из уцелевших морских пехотинцев и рассказал о случившемся. Командир взвода повел его в штаб. Через час комвзвода вернулся, позвал меня и говорит:

— Бери взвод и веди в атаку.

Ко мне он обратился неспроста. Я был сознательным и наивным восемнадцатилетним комсомольцем, стремящимся вдобавок доказать себе и другим, какой я смелый. Сомнений, что надо атаковать и выручать моряков, не было. Я начал готовиться к атаке, но тут увидел, что взвода нет. Ребята «замаскировались».

— Где взвод? С кем идти?

Комвзвода огляделся и убедился, что взвода действительно нет.

— Возьми партизан, — сказал он.

Группу партизан влили в наш взвод несколько дней назад после освобождения Минеральных Вод.

— Как же мы будем атаковать всемером?

— Что делать? Надо. Приказ. А батальон только разворачивается. Давай иди, не бойся.

— За мной! — скомандовал я партизанам и выскочил из ворот барака.

Партизаны двинулись следом. Мы пробежали метров сто, пока по нас не открыли стрельбу. Залегли. Второй рывок пришлось делать под огнем, и мы легли метров через тридцать.

К следующему броску я начал готовиться серьезно. Наметил метрах в двадцати место, до которого я должен добежать, присмотрел рядом углубление, куда потом переползу. Все так и произошло. Лежу в углублении, бывшей луже, и чувствую, что-то неладно. Не отрывая голову от земли, оглядываюсь и вижу, что я один. Партизаны, непривычные к открытым действиям, исчезли.

Итак, я лежу один посреди площади. Из крайних домов, до которых метров двести, по мне стреляют. Я изо всех сил прижимаюсь к земле, сдвигаю на бок запасной диск и еще плотнее вдавливаюсь в бывшую лужу. Лихорадочно работает мозг: «Что делать? Подняться и бежать назад — бессмысленно, подстрелят. Открыть стрельбу по немцам. Они близко и хорошо видны». Включился инстинкт самосохранения: «Конечно, ты убьешь нескольких немцев, но живым отсюда уже не уйдешь».

В конце концов решил изображать убитого. Через какое-то время стрелять перестали. Скосил глаза на немцев и увидел, что они сбегаются к крайним домам. Понял, что готовится атака. Первой ее жертвой буду я. Надо уматывать. Еще раз огляделся. Слева и чуть сзади, в метрах в тридцати—сорока, курятник. Я метнулся туда и залег за ним. Опять началась стрельба. Глинобитные стены прошивались насквозь, но это уже был неприцельный, не столь опасный огонь. Когда он стих, я выждал еще с полчаса и, петляя как заяц, помчался к бараку. Немцы были заняты подготовкой к атаке и почти не стреляли. В бараке я отыскал комвзвода и доложил о неудавшейся контратаке. Вместо ожидаемых упреков, я услышал похвалу.

Потом знакомый штабной телефонист передал мне: комбат доложил наверх, что приказ о проведении контратаки выполнен, но она была отбита. После этого я понял, что на фронте бывают атаки для «галочки».

Атака из последних сил

Весь день наш батальон пытался пробить немецкую оборону. Почему-то ничего не получалось. Обычно, когда мы очень нажимаем, они отступают; когда они очень нажимают, мы отступаем. А тут они почему-то держатся и не отходят. Впрочем, атаки наши довольно слабенькие. Артподготовка не проводится, танковой поддержки нет. Да и пополнение, которое мы получили, не такое

уж упорное. Пройдут полпути до немецких окопов, а дальше их не поднимешь.

К вечеру оказалось, что в ротах почти не осталось живых. Уже после ужина, когда мы сидели за своими котелками, пришел связист из штаба батальона и сказал, что произошел серьезный разговор со штабом бригады. Опять получили приказ взять немецкие окопы во что бы то ни стало. Комбат чуть не плакал, говорил, что атаковать некому, что приказ выполнить невозможно. Но атаку повторили, и завтра с утра надо будет снова идти вперед. Будут собирать все остатки, кого только можно.

Действительно, через какое-то время пришел командир взвода и сказал, чтобы мы перебазировались в окопы первой роты. Вместе с нами пошел взвод автоматчиков, человек десять, наскребли несколько человек связанных от командиров, которых обычно в атаку не посылают. И мы, человек тридцать, в темноте пошли в расположение рот.

Опять идти в атаку. Когда я попал в пехоту и в первый раз сходил в атаку, я понял — это мясорубка, самое худшее, что может быть на фронте: от тебя ничего не зависит, ты обязан подниматься под пулеметным огнем и идти вперед. Служба в авиации, танковых частях, артиллерии и т. п. — санаторий по сравнению с пехотой, воюющей на передовой. Шансов остаться в живых у пехотинцев в десятки раз меньше.

Поэтому, попав на какую-то очередную переформировку, я решил, что пойду куда угодно, только не в пехотную роту. Когда нас выстроили на площади и начали отбирать кого куда, вдруг появился какой-то лейтенант, прошел перед строем, посмотрел на нас, отошел и сказал:

— Смелые, два шага вперед!

Считаться смелым мне очень хотелось. Что-то меня подтолкнуло, и я сделал два шага вперед. Еще какой-то парень сделал то же самое. Лейтенант критически нас осмотрел и сказал:

— Пошли!

Так я попал во взвод разведки.

Пришли в окопы передовой, кое-как подремали и, как только рассвело, начали готовиться. Поле впереди совершенно ровное. Единственное укрытие — множество трупов наших солдат, накопившихся за дни атаки. Вылезаем из окопов и безмолвно идем вперед. В отличие от морских пехотинцев, о которых я говорил, мы атакуем без криков «ура». Мы, 7-я гвардейская авиадесантная бригада, атакуем молча, настойчиво продвигаясь вперед. Кстати, клич «за Родину» или «за Сталина» я слышал только в кино.

Метров через тридцать по нас начинают стрелять, потом все интенсивнее и интенсивнее. Залегает. Бросок за броском мы приближаемся к немцам. Начался минометно-артиллерийский обстрел. Впереди встает непреодолимая стена из земли, осколков и пуль. Вжимаюсь в землю и жду, когда канонада прекратится. Наконец минометный обстрел кончается. Надо делать очередной бросок. Хотя пули свистят всюду, готовлюсь, набираюсь решимости, потом сжимаюсь в пружину, выскакиваю и несусь вперед.

Линия немецких окопов уже близко. И вдруг чувствую: что-то произошло. Непонятно что, но потом догадываюсь: из немецких окопов перестали стрелять. Неужели немцы убежали? Не верится. Чудо. Это бегство всегда воспринимается как тайна. Непонятно, почему они убегают? Сидят в укрытиях, в безопасности. Мы идем на них почти в полный рост и представляем собой хорошую мишень. Они могут спокойно нас расстрелять. Зачем убежать?

Я понял это, когда сам оказался в роли атакуемого. Сидишь в окопе и стреляешь в бегущего на тебя немца. Вроде ты верно прицелился, стреляешь в него раз, другой, а он, как заколдованный, снова встает и идет на тебя. Появляется мысль: может, в твоём автомате мушка сбита, ствол искривлен. И когда немец приближается, ты уже уверен, что он неуязвим, что его нельзя убить.

Сила слова

После многих дней наступления наконец-то выдалось утро, когда не надо ни идти в атаку, ни совершать марш-бросок. Мы остановились во взятой накануне станице и ждали пополнения. В это утро мы, несколько бойцов, оставшиеся от взвода разведки, продолжали спать, хотя время шло к полудню. В избу вошел командир взвода, разбудил нас и сказал, что на взвод выделили орден Красной Звезды и медаль.

— Леонид, придется тебе орден дать, — обратился комвзвода ко мне.

Вынув из планшета наградной лист, он начал его заполнять, описывая один из эпизодов последних дней. Потом заполнял наградной лист на другого бойца, а я вышел во двор. Из-за сарая высунулась голова Николая Махачкалинского, тоже бойца нашего взвода, исчезнувшего с началом горячих дней. Позвав меня за сарай и оглядываясь, он спросил:

— Меня хватились? Обо мне разговор был?

— Нет. Все в порядке. А где противотанковое ружье? — поинтересовался я.

В ответ на мой вопрос Коля, выругавшись, только рукой махнул.

С противотанковым ружьем связана целая история. Когда-то еще до моего прихода в эту часть, как рассказывали старожилы, во время атаки немецкие танки прорвались к штабу батальона. Наш комбат, лейтенант Каноненко, лег за противотанковое ружье и, лично подбив, как говорят, один или два танка, отразил атаку. Его представили к званию Героя Советского Союза, а нашему взводу разведки дали на баланс противотанковое ружье. Давали его «на новенького» — вручили Николаю. После нескольких походов он возненавидел его лютой ненавистью.

Николай попал в наше подразделение не по своей воле. Предыдущий командир взвода, как я уже писал, отбирал бойцов в разведку так: он выходил перед строем солдат и объявлял:

— Смелые, два шага вперед!

Таким образом попал в разведку я.

Новый комвзвода, Ваня, ходил перед строем и отбирал тех, кто ему нравился. Коля, довольно рослый парень, оказался из их числа. Он отличался от нас тем, что мог красочно расписать то, чего вовсе не случалось, и был большой мастер по «маскировке» — исчезновению в опасные моменты.

Когда комвзвода увидел Николая, он набросился на него:

— Где ты пропадал?

Николай снова оказался на высоте — и выдал чудесную байку.

— Утром, когда началась немецкая атака, я находился в окопах у соседей. Немцы подошли близко. Я бросил одну за другой две гранаты. Остальные солдаты были совсем свеженькими, не умели с гранатами обращаться и боялись бросать. Они подносили гранаты мне, и я, швыряя их одну за другой, отбил атаку.

— А где противотанковое ружье?

— Понимаешь, после следующей атаки немцы нас почти окружили, и я увидел, что с ружьем выйти не удастся. Я вытащил из ружья затвор, бросил его в овраг и кое-как спасся. А командир их роты приказал быть все эти дни при нем.

Весь этот рассказ, пересыпанный яркими подробностями, которые я уже не помню, комвзвода слушал с большим интересом. По окончании он восхищенно посмотрел на Николая и, повернувшись ко мне, сказал:

— Слушай, а ведь орден надо дать Николаю?

Я неуверенно кивнул. Мы вошли в дом, Ваня сел за стол, достал планшет, разорвал наградной лист на меня и стал заполнять новый — на Николая.

Солдатская рулетка

Игра со смертью, в которой человек добровольно рискует жизнью без всякой необходимости, характерна для юношества. В рассказе одного американского писателя «Русская рулетка» два подростка выясняют отношения, приставляя поочередно к виску револьвер, и, крутанув барабан, в котором оставлен один патрон, нажимают на спусковой крючок. Судя по названию, подобные игры — одно из проявлений загадочной русской души. Во всяком случае, трудно представить себе, например, немецкого юношу с его повышенным инстинктом самосохранения и отсутствием комплекса неполноценности, поскольку он вырос в атмосфере любви и уважения, участвующим в такой игре.

На фронте подобную игру я наблюдал всего раз: возможностей доказать свою смелость здесь было предостаточно, а смерть и без того подстерегала на каждом шагу.

В этот день мы, несколько ребят из взвода разведки, оказались в окопах первой роты. Ночью я привел сюда полевую кухню. Кстати, сопровождать повара было необходимо, так как предыдущей ночью он, то ли заблудившись, то ли испугавшись, скормил еду неизвестно кому, и роты целые сутки оставались голодными.

В штаб возвращаться не хотелось. Я нашел отдельный окопчик и завалился спать. Проснувшись, увидел, что погода чудесная — стояло бабье лето. Я заметил в соседнем окопе другого разведчика, Колю Карлова, и перебежал туда. День был спокойный, перестрелка редкая, и мы болтали, вспоминая довоенную жизнь.

Окоп оказался мелким, и Колина голова периодически мелькала над бруствером. Вдруг ушанка слетела у него с головы. Мы не поняли, в чем дело, но когда он поднял ее, увидели, что на том месте, где обычно прикалывают звезду, была маленькая дырочка, а на обратной стороне — большая дыра, из которой торчали ключи ваты. Самое странное, что на голове у Коли не оказалось даже царпины. Какой-то дотошный снайпер даже в такой прекрасный день, вместо того чтобы наслаждаться природой, исполнял свой долг. Мы посмеялись и порадовались Колиному везению. Вечером, когда Коля осознал, что был на волосок от смерти, он напился и всем демонстрировал свою шапку.

Продолжая смеяться, я огляделся вокруг. В соседних окопах находились молодые солдаты-сибиряки, которыми пополнили наш батальон несколько дней назад. И тут мы увидели то, что заставило нас перестать смеяться. Один из них вылез из окопа, встал в полный рост, прицелился в сторону немцев и выстрелил. Чтобы представить необычность происшедшего, вообразите, что увидели на улице человека, ползущего на четвереньках. На пере-

довой, где все время свистят пули и осколки, нормой является сидение в окопе, ползание по-пластунски, быстрые перебежки, согнувшись в три погибели. Встать в полный рост — безумие. Я подумал, что он выискал особо важную цель и выглянул из окопа. В полукилометре от нас виднелись немецкие позиции, но там ничего необычного не обнаружилось.

После выстрела сибиряк спрыгнул в окоп. Мы с Николаем недоуменно переглянулись и продолжали беседовать. Но тут из окопа выскочил второй сибиряк, не целясь, выстрелил, передернул затвор, выстрелил еще раз и спрыгнул обратно. Тут до нас дошло: ребятам стало скучно сидеть в окопе, и они играют в своего рода рулетку: кто дольше простоит под пулями. Такую игру со смертью мне видеть еще не приходилось.

Надо сказать, что смелость у ребят-новобранцев обычно проходит три стадии. Вначале они безрассудно храбры, не понимая и не чувствуя опасности. В своем юношеском эгоцентризме каждый из них не осознает, что могут убить именно его, такого неповторимого. После участия в атаке, когда они видят падающих мертвыми товарищей, когда пули и осколки прошивают их шинели, наступает вторая стадия — панического страха. Немецкий танк может быть еще за два километра, а боец, находящийся в таком состоянии, в панике выскакивает из окопа и несется прочь. И только потом некоторые вступают в стадию холодной трезвости, умения различать подлинную и мнимую опасность, приобретают способность подавлять в себе страх и, наконец, совершать смелые поступки, когда этого нельзя избежать, не уронив себя в глазах ребят.

Тут из окопа опять выскочил первый сибиряк, не целясь, быстро щелкая затвором, сделал три выстрела и спрыгнул вниз. Одновременно с третьим выстрелом несколько пуль просвистели рядом. Немцы включились в игру.

Ребятам, конечно, везло. Голубое небо и яркое солнце расслабляли. И мы, и немцы наслаждались хорошей погодой, и стрельба была редкой.

Второй сибиряк дозаряжал винтовку, намереваясь продолжить. Мы с Николаем начали давать советы, «болея» за игроков.

— Подожди, не торопись, выжди время, — вспомнив о снайпере, который сшиб с него шапку, крикнул Николай. — Пусть немец расслабитсЯ и опустит винтовку.

Наконец сибиряк выскочил. С молниеносной быстротой он передергивал затвор и, не целясь, нажимал на спусковой крючок. Четвертый выстрел он делал, уже спрыгивая в окоп.

Даже нам в соседнем окопе было видно, как побелело его лицо. Мы решили, что игра на этом кончится. Но тот, первый, сосредоточенно начал загонять патроны в магазин.

— Убьют, — сказал Николай.

— Необязательно, — из чувства противоречия возразил я. — Ну, может, после четвертого выстрела.

— Спорим, что раньше, — сказал Николай.

— Идет.

— Выскочи из другого места, — крикнул я сибиряку.

Он посмотрел на меня отрешенным взглядом, но все же передвинулся в другой конец окопа. Чувствовалось, как борются в нем гордость и осторожность. Лицо поочередно выражало то решимость, то растерянность.

Пятый выстрел он сделал, уже падая в окоп. Мы с Колей перебежали к нему. На шапке, чуть ниже того места, где прикрепляют звездочку, виднелась дырка.

На следующий день Коля Карлов как член партбюро батальона отправил похоронную со словами: пал смертью храбрых.

Что пили на фронте

Стремление выпить присутствовало на фронте всегда и всюду. Пили все, что удавалось достать. Пока наше училище стояло в Грузии, пили виноградный самогон — чачу. Хорошая чача, как говорили знатоки, чем-то похожа на шотландское виски. Когда воевали в Северной Осетии, пили самогонку из кукурузы — араку. В подвалах оставленных осетинских домов часто стояла одна, а то и две двадцатилитровых бутылки довольно крепкой араки.

Когда бои переместились на Кубань, основным напитком стала самогонка из свеклы. Сразу чувствовалось, что вековых традиций в технологии ее производства у казачества еще не накопилось. Тонкий слой ценителей ее не уважал. В районе Краснодара стала встречаться пшеничная. Иногда вполне приличная.

Официально нас поили в двух случаях: фронтовые «сто грамм» перед атакой или, когда «его» оказывалось столько, что некуда было девать. Помню, в районе Пятигорска после захвата винных подвалов нам несколько дней давали по стакану прекрасного десертного вина, если не изменяет память, «Сильванер». Ничего лучшего с тех пор мне не попадалось.

Фронтовые давали не до, а после атаки, вечером: оставшимся в живых доставалось больше. Никто против такого порядка не возражал, поскольку каждый перед атакой считал, что его-то уж не убьет. Тем более что в нашей гвардейской авиадесантной поднимались в атаку и без них. И не потому, что были сознательными, а потому, что поступали «как все», общиной. А вот кто принимал перед атакой как следует, так это командир, который должен был подняться первым.

В связи с выпивкой происходили и курьезные случаи. Ворвавшись однажды первым в немецкий блиндаж, я, как было принято, начал высматривать трофеи. Потребность взять что-то с побежденного, по-моему, заложена в человеке генетически. Африканский воин съедал печень побежденного. Наполеон, понимая это чувство, отдавал захваченный город на разграбление солдатам. Войцы Первой Конной, — как рассказывал один из них, профессор Венжер, известный тем, что вступил в дискуссию со Сталиным, — ворвавшись в Крым, первым делом бросались грабить усадьбы.

Итак, оглядев блиндаж, я не увидел ничего интересного. На перевернутом ящике, заменявшем стол, стояли почти пустые бутылки, лежали подмоченная пачка горохового концентрата и какая-то картонная коробочка. Убедившись в очередной раз в немецкой аккуратности, я быстро допил из бутылок остатки шнапса и, засунув в карман концентрат и коробочку, присоединился к остальным.

На следующий день обстановка стала более спокойной, и я, сидя в окопе, стал изучать содержимое коробочки. Там оказались какие-то голубоватые прямоугольные таблетки и складная металлическая подставка. На самой коробке было написано: «Сухой спирт», и более мелко: «Две таблетки на стакан».

«До чего же все-таки дошлый народ немцы, — подумал я. — Надо же до такого додуматься. Две таблетки — и готова выпивка». Я бросил в кружку две таблетки, измельчил их ложкой, налил воды и начал помешивать. Порошок оседал на дно, не растворяясь. Я сделал глоток. Вкус воды. Начал снова изучать инструкцию на коробке. Там была изображена кружка, стоявшая на подставке, под которой горел маленький огонек. Все понятно. Недаром же у меня было «отлично» по химии. Я собрал вокруг окопа сухие веточки, развел костерок и начал подогревать кружку.

В это время раздалась команда строиться. Я начал лихорадочно мешать содержимое кружки. Осадок не исчезал. Надо было заканчивать. Я приложился к кружке и осушил ее. Вода как вода. Крепости никакой. Подобрал ложкой осадок. Почти безвкусный, скрипит на зубах. Шагаю в строю и жду кайфа.

Через тридцать лет мой друг-химик, которому я поведал эту историю, сказал: «Вполне мог отдать концы».

Мораль. Дети! Хорошенько овладевайте иностранными языками и не стремитесь к кайфу любой ценой.

Самообучаемость

В наш век научно-технической революции свойство, называемое самообучаемостью, признается весьма ценным. На фронте оно тоже было крайне необходимо, помогало быстро осваиваться в новых опасных ситуациях.

Для примера опишу поведение некоего юноши во время двух бомбежек. Когда он попал под бомбежку впервые в жизни, в нем все дрожало от страха. Казалось, каждая бомба летит именно в него. Он то метался по окопу, собираясь выскочить из него и бежать, то прижимался к его стенкам. И в то же время, помимо его сознания, какой-то центр в мозгу собирал информацию: фиксировал порядок захода немецких самолетов на бомбежку, действия, предшествовавшие сбросу бомб, траекторию их полета.

Спустя месяц этот юный, но уже опытный солдат вел себя во время бомбежки совсем по-другому. Эскадрилья «юнкеров» приближалась к колонне автомашин, застрявших в пробке. Группа солдат, остаток разбитой части, искавшая сборный пункт, отдыхала в двухстах метрах от шоссе. Все эти дни их никто не кормил, каждый питался, как получится, и они были постоянно голодны.

Увидев, что немецкие самолеты собираются бомбить колонну, солдат помчался к ней, под бомбежку. Навстречу бежали шоферы и солдаты, сопровождавшие грузы автомашин. «Юнкеры» уже образовали, как обычно перед бомбежкой, круг. Начинать бомбить они собирались с хвоста колонны, и солдат помчался к голове. Все это время он следил за самолетами. Продолжая бежать, отметил, что первый самолет вошел в короткое пике и выпустил серию бомб. «Это не мои», — отметил солдат и вскочил в стоящий рядом грузовик. Ничего интересного. Быстро выскочил и запрыгнул в следующий. Наконец-то. Взял из большого фанерного ящика буханку хлеба и посмотрел в небо: очередной «юнкер» сбросил очередную порцию бомб. «Не мои». Оглядел кузов. Многообещающий мешок. Потыкал его кинжалом — посыпался сахарный песок. Подставил карман.

Круг «юнкеров» сместился к центру колонны, взрывы уже недалеко. Пожалуй, пора. Но тут ему попался на глаза ящик банок с маринованными огурцами. Гурманство победило осторожность. Он отодрал кинжалом несколько планок, хватил банку. Бросил взгляд в небо. Летят. «Мои». Кинулся к борту, спрыгнул и что есть сил понесся от шоссе. Боковым зрением уловил яркую вспышку там, где только что стояла машина, и бросился на землю. Пронесло.

Надо сказать, что на фронте встречались люди, не умевшие или не желавшие приспосабливаться. На передовой их жизнь довольно скоро прерывалась...

Командир первой роты вызывал всеобщее уважение солдат. Это был статный, широкоплечий, среднего роста мужчина с открытым доброжелательным лицом. Он выделялся среди других командиров тем, что носил белоснежный полушубок — даже командир батальона, значительно реже попадавший в опасные ситуации, носил неяркую серую шинель. Но главное, чем он за-

служил наше уважение, он сам водил роту в атаку. Как сейчас помню его выбирающимся ранним утром из окопа, поднимающимся в полный рост и идущим на немцев. За ним поднималось его ближайшее окружение, а потом и вся рота. Несмотря на предупреждения, он не менялся. Все также носил белый полушубок и сам водил роту в атаку.

Вообще-то, после каждой атаки выбивало — убивало и ранило — подавляющую часть роты. Но ему сильно везло, и он воевал чуть ли не месяц. За это время освобождались должности в штабе, и он, как и другие, мог бы перейти туда, но он почему-то оставался ротным. Мы, разведчики, понимали, что так долго продолжаться не может. Командир нашего взвода разведки как-то вечером сказал: «Бинокль у него хороший. Вы присматривайте за ним».

...Подбирать бинокль выпало на мою долю. Мы пошли в очередное наступление. Рота выбила немцев из окопов и должна была захватить населенный пункт. Я увидел командира роты вышедшим из-за угла дома и что-то рассматривающим в бинокль. «Зачем он вышел? Ведь немцы совсем близко», — подумал я. И вдруг он упал. Я подбежал. Он лежал на спине, раскинув руки. Над переносицей виднелась рана. Из нее периодически вырывался фонтанчик красно-серого вещества.

Рядом лежал бинокль.

Тот, второй

Боря Римбург был солидный двадцатилетний разведчик, служивший в части со дня ее формирования. Взяли его в армию со второго курса математического факультета Минского университета.

В февральскую метельную ночь 1943 года я стоял в проеме окна барака МТС и давал короткие очереди, когда какие-то силуэты — то ли немцы, то ли снежные вихри — появлялись в поле зрения. С другого конца барака меня кто-то поддерживал и тоже пускал автоматные очереди. Так, помогая друг другу, мы удерживали барак. Вообще-то, его можно было давно оставить. Еще засветло отсюда ушли наши солдаты, а потом и наш взвод разведки. Метрах в ста позади здания проходили бывшие немецкие окопы, и наш батальон обосновался там. Мы тоже имели полное право уйти, но чувствовали, что можем еще держаться, и не отходили. Немцы стремились отбить свои окопы, но вначале им надо было занять барак.

Вот застрочил опять тот, другой. Я посмотрел в окно. Впереди снова металась то ли вихри, то ли фигуры в белых маскировоч-

ных халатах. Я начал давать длинные очереди. Потом тот, дальний, замолчал, и я последовал его примеру.

Захотелось расслабиться. Я опустил автомат и прислонился к притолоке. И тут меня что-то насторожило, хотя никаких звуков не было слышно. Я бросил взгляд на дверной проем. В нем вырисовывались силуэты в маскировочных халатах. Немцы. Они стояли неподвижно, видимо, всматриваясь в темноту барака. В одно мгновение несколькими беззвучными прыжками я пересек помещение и выскочил в противоположное окно. Благополучно добежав до окопов, присоединился к разведзводу.

О том, что случилось с тем, вторым и кто он, я даже не подумал. На фронте это было в порядке вещей. Война так быстро тасовала нас, что мы не успевали узнать друг друга. После каждой атаки в батальоне почти поголовно выбивало рядовой состав. Фронтная дружба, о которой часто пишут, возникала в более стабильных частях: авиации, артиллерии.

В эту же ночь, когда я находился в боевом охранении, на меня вышел немецкий патруль. В схватке с ним я был ранен и попал в госпиталь. Он помещался в станичной школе. Мы лежали на полу на матрацах. В окна светило солнце, гул боя доносился издалека. По проходу время от времени на костылях ковыляли раненые. И тут показалась странная фигура. Человек передвигался на четвереньках, на пятках и руках, коленями вверх. Когда он подполз ближе, я узнал Борю Римбурга.

— Как, ты жив! — воскликнул я. — А мне сказали, что ты сут-как как пропал.

И тут Боря рассказал, что с ним произошло. Оказывается, тем, вторым в барак был он. Ворвавшихся в барак немцев он заметил слишком поздно. Бежать было невозможно. Он скользнул в находившуюся около него ремонтную яму и затаился. Через какое-то время один из немцев посветил в яму фонариком, но, приняв Борю то ли за труп, то ли за обтирочное тряпье, отошел и расположился рядом. Периодически, пытаюсь согреться, немец топал ногами над Бориной головой.

— Боря, а как же твой кашель? — спросил я.

Дело в том, что он иногда сильно закашливался, причем в самых неподходящих ситуациях. Из-за этого его могли вывести из разведки, но перевешивали его ценные качества, и он оставался самым старым разведчиком в нашем взводе.

— Ни разу не кашлянул и не шевельнулся за всю ночь.

— А что у тебя за ранение?

Боря показал на стопы ног и, усмехаясь, похлопал себя по мягкому месту:

— Отморозил.

Пока он сидел в яме долгую февральскую ночь, его в этой позе и приморозило.

В дверях появилась медсестра и, посмеиваясь, сказала:

— Римбург, в операционную.

Раненные оживились, раздались советы, подбадривающие возгласы:

— Боря, не разгибайся, а не то отрежут не сзади, а спереди.

— Боря, не давай резать до конца.

— Боря, — спросил я, — ты и его отморозил?

— Да нет, это они шутят. Мне опять будут ягодицы урезать. Никак до здоровой ткани не доберутся.

Боря пополз в операционную.

Все время Борина попа была в центре внимания раненых, шуткам не было конца. Боря добродушно посмеивался и, как всегда, отмалчивался.

Через пару дней нас отправили в разные госпитали, и я Борю больше не видел.

Ранение

— Где ты пропадал? — набросился на меня командир взвода разведки. — Комбат приказал выставить боевое охранение, а ни одного бойца нет.

— Да мы барак удерживали. Отбили две атаки. Сейчас немцы его заняли. Я едва успел выскочить в окно.

— Ладно, хватит байки травить. Иди!

— Вань, напарника дай.

— Обойдешься.

Я вылез из окопа и пошел в сторону барака, из которого только что убежал. Метров через сто наткнулся на трансформаторную будку и залег за ней. Борясь со сном, я то смотрел в сторону немцев, то клевал носом.

Вдруг показались человеческие силуэты. Я приложил к плечу автомат и стал ждать, когда они подойдут ближе. Я уже был готов нажать на спусковой крючок, когда уловил что-то похожее на русскую речь. Подпустил их поближе и убедился, что это наши. Вышел из-за будки и позвал их к себе. Они сначала замерли от неожиданности, потом подошли. Оказалось, что ребята из бригады морских пехотинцев, которая накануне заняла станицу, а захватив грузовик со шнапсом, перепилась. Оклемавшись где-то в огороде, они выбрались из станицы, снова занятой немцами, и пробирались к своим. Я показал им, куда идти, и снова залег за будку.

Через час или два история повторилась. Еще два морячка вышли на меня в поисках наших.

Потом опять показались силуэты. Когда они подошли ближе, я, не поднимая автомата, вышел навстречу.

— Сюда, ребята.

«Ребята» сделали какое-то непонятное движение — и справа от меня сверкнуло пламя. Как будто обухом кто меня по плечу ударил. Я выронил автомат и кинулся назад. Но тут осознал, что бегу без автомата, и вернулся. Немцы исчезли. Я схватил автомат и побежал к своим.

Разыскав комвзвода, доложил, что приближаются немцы и что ранен. Мне казалось, что у меня просто нет правой руки, и я начал умолять командира взвода пристрелить меня. Вместо этого Иван позвал санитаров. Санслужба была готова к приему раненых, поскольку через пару часов должна была начаться атака. Я оказался первым. Прибежавшая медсестра быстро перевязала меня. Санитары под руки довели до дороги, положили на подводу. Подвода тронулась — я потерял сознание. Пришел в себя на операционном столе.

Швейцарская система

Персонал военно-санитарного поезда состоял в основном из женщин. Это были сестры и санитарки, совсем еще девочки, недавние школьницы. Мужская часть включала нескольких человек охраны и проводников. В поезде царила атмосфера влюбленности. Жизнь персонала складывалась из изнурительных рейсов, когда раненых везли с фронта в госпиталь, и отстоев в ожидании следующих поездов к фронту. Во время отстоев жизнь была почти беззаботной. Проходили репетиции самодеятельности, хора. Соревновались с хорами других поездов, давали концерты местному населению. По вечерам собирались в купе первого вагона, где было что-то вроде клуба.

Однажды среди девочек разгорелся спор, как надо целоваться и кто целуется лучше. Решили проверить теорию практикой и устроили соревнование. Поскольку в тот вечер я оказался единственным мужчиной, меня назначили судьей. Возражать я не стал, хотя опыта у меня не было.

Полученные в первом туре соревнования семь поцелуев повергли меня в замешательство: определить лучший было невозможно. Тогда я стихийно изобрел что-то вроде швейцарской системы и назначил второй тур. После него я отбраковал Нину: она лишь нежно прикоснулась к моей щеке и смущенно упорхнула в дальний угол купе.

После третьего тура отстранил Веру: она поцеловала меня не так, как мне бы этого хотелось. Оправдываясь через несколько дней, она сказала, что не могла целоваться как следует в присутствии других.

Финальную пару составили младший лейтенант Тася и вольнонаемная Рая из Баку. Их поцелуи были на уровне: долгие и с объятиями. Аудитория возражала против объятий, считая, что это не предусмотрено программой. Но я, как судья, авторитетно заявил, что поезд качает и оценить качество поцелуя я могу только, когда меня поддерживают. Определить лучшую было невозможно. Я назначал все новые туры, пока зрители не запротестовали. Пришлось вынести решение, что победили обе.

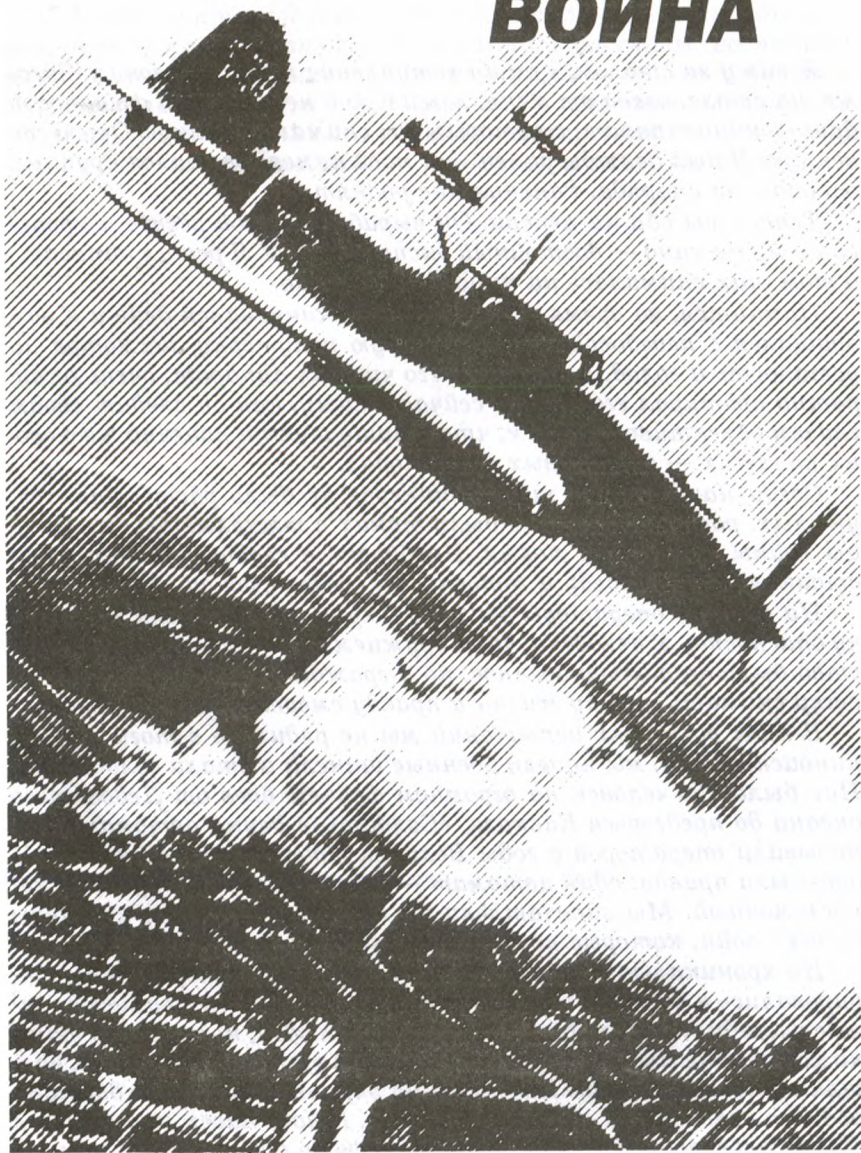
Утром, проснувшись, я поймал на себе пристальный взгляд врача.

— Что у вас с губами?

Я хотел объяснить, но губы не двигались.

СЕМЕН ШКОЛЬНИКОВ

В ОБЪЕКТИВЕ – ВОЙНА





Я сижу за столом и пишу вступление к моим очеркам. Здесь же, на столе, слева от меня, лежит мой неизменный фронтовой друг — киноаппарат, с которым мы снимали Великую Отечественную. Я был дважды ранен — и моей камере достался крупный осколок от снаряда. Ранения нас роднят.

Теперь мы оба на пенсии. Он выработал свой ресурс и прописан в музее кино — достойный экспонат. А я? Я решил написать о том, как снималась на кинолентку война.

Помнится, во время войны, когда заканчивался день и я возвращался с передовой в свою крытую полуполторку, несмотря на усталость и голод, я прежде всего чистил аппарат, очень аккуратно протирал его. Вот и сейчас я вижу, как он следит своим глазом-объективом за тем, что я пишу о нем и конечно же о своих коллегах — фронтowych операторах.

Среди нашей рати кинохроникеров не было растерявшихся, унылых, равнодушных. Не было таких в тяжелые первые месяцы войны, не было и позже. Наоборот, в сердце каждого была стойкая вера в победу и готовность сражаться за нее.

На фронте операторы вели себя мужественно, шли навстречу опасности. У человека, чьим оружием была кинокамера, мужество было не только военное, но и гражданское, творческое: честно снимать правду жизни и правду смерти — правду войны.

В годы тяжелых испытаний мы не рядились в тоги жрецов киноискусства, мы надели военные шинели и стали солдатами. Нас было 258 человек на огромном фронте боев от Ледовитого океана до предгорьев Кавказа. «Солдаты с двумя автоматами» называли операторов в годы Великой Отечественной войны. И это была правда: один автомат — огнестрельный, другой — киносъёмочный. Мы запечатлели на кинолентку самую кровавую из всех войн, которые когда-либо велись на Земле.

На хроникальные фильмы и киножурналы, которые демонстрировались в кинотеатрах во время войны, выстраивались длинные очереди полуголодных, измученных людей, которые не только хотели посмотреть, что происходит на полях сражений, но и шли с надеждой, вдруг мелькнет на экране лицо самого дорогого, родного человека. И видели, узнавали. Много писем приходило в Лихов переулочек с просьбой прислать фото с той кинолентки. И

*студия разыскивала «ту киноплёнку», печатала фото и высы-
лала.*

*За время войны погиб каждый пятый кинооператор, многие
были ранены по нескольку раз, контузии в расчет не брали.*

*Закончилась война. Наступил такой радостный, такой дол-
гожданный мир. Был отснят Парад Победы.*

*С середины прошлого века в Москве стали собираться бывшие
фронтовые кинооператоры. Я слушал их рассказы, воспомина-
ния, а у операторов были еще свежи в памяти эпизоды, которые
они снимали на войне, и записывал их. Те зарисовки, которые по-
лучились у меня, есть объективная картина войны, увиденная
через объектив кинокамеры — увиденная и запечатленная.*

Выступление товарища Сталина

Шел первый год войны. С каждым днем немецко-фашистские войска приближались к Москве. И вот наступил день 16 октября. Именно в этот день в столице началась вселенская паника.

Я тогда находился в Саратовской области, в военном госпитале, после ранения на фронте. Уже поправлялся и с трудом, но выходил на улицу подышать свежим воздухом. И в тот день, 16 октября, когда я вышел за ворота госпиталя, увидел двух женщин — они стояли неподалеку и горько плакали. От них я узнал, что немцы подошли к самой Москве и вот-вот войдут в город. Об этом уже передали по радио и еще сказали, что город на осадном положении.

Мне стало не по себе. Неужели мой город «откроет ворота» противнику? Потрясенный, я вернулся в госпиталь...

О том, что в это время происходило в Москве, мне рассказал Иван Иванович Беляков, старейший кинооператор «Союзкинохроники». Все, кто имел мало-мальски движущийся транспорт, грузились и двигались поспешно из Москвы. Шоссе, которое вело в город Горький (ныне Нижний Новгород), напоминало густодвижущийся транспорт в час пик.

Московская студия «Союзкинохроника» тоже нашла грузовичок-пикап и, загрузив в него десять человек, вклинилась в поток беженцев. Предложили эвакуироваться и оператору Белякову, но он отказался, сославшись на то, что жена его очень больна. За отказ эвакуироваться из Москвы Иван Иванович приказом директора студии был уволен. Вскоре жена его умерла. Он остался совсем один и без работы.

Беляков многие годы был аккредитован как оператор, снимающий в Кремле.

5 ноября к Белякову домой пришли двое военных из органов государственной безопасности, полковник и майор, и приказали следовать за ними. Ивана Ивановича привезли на станцию метро «Маяковская». Когда они спустились по эскалатору, станция была совершенно пуста. Оператору сообщили, что здесь, а не в Большом театре, завтра, 6 ноября, состоится торжественное собрание, посвя-

ценное 24-й годовщине Октябрьской революции, и здесь выступит товарищ Сталин. Беляков сказал, что уволен со студии и потому не может принять участие в киносъемке. Военные сообщили: он может считать себя восстановленным на работе.

Съемка прошла успешно. А на следующий день, 7 ноября 1941 года, несмотря на близость фронта, на Красной площади должен был состояться военный парад. Традиция не должна быть нарушена.

Обычно парад начинался в десять утра. Операторы приходили за полчаса до начала. Ассистенты же привозили съемочную аппаратуру загодя, часам к восьми. И на этот раз они прибыли в восемь, но были крайне удивлены, что войска уже построены. Так рано? На Мавзолее уже был Сталин и все члены правительства. Ассистенты не растерялись и начали снимать. А Сталин произнес речь. Но так как синхронную аппаратуру для записи речи не было времени установить, да и звукооператор еще не пришел, ассистенты сняли парад и выступление Сталина внемую, то есть без звука.

Когда на Красную площадь, как обычно, пришли операторы, она была уже пуста. Парад закончился. Войска с Красной площади ушли прямо на передовые позиции. На опустевшей площади кинохроникеры стояли с унылым видом, подавленные. Что теперь будет? Ведь Сталин никогда не выступал с речью с трибуны Мавзолея. В общем, съемка и выступление вождя были сорваны. Чем это обернется для них, трудно было даже предположить...

И тут к оператору Белякову подошел генерал Кузмичев: правительство знает, что выступление товарища Сталина не снято. Иван Иванович аж побледнел от ужаса. А генерал продолжал: не по вашей вине, вас не предупредили об изменении времени начала парада. Начальник охраны Сталина генерал-лейтенант Власик предложил операторам к семнадцати часам прибыть в здание НКВД на площади Дзержинского. В этот момент, рассказывал Беляков, ноги у него стали ватными.

В НКВД пришли режиссер Леонид Варламов, операторы Иван Беляков и Марк Трояновский. Генерал Власик сказал им: товарищ Сталин придает большое значение своему выступлению на Красной площади и предлагает снять его заново. Но как, где? Не выведешь же Сталина днем на Мавзолей. И тогда кому-то пришло в голову решение.

В Большом Кремлевском дворце построили из фанеры часть трибуны Мавзолея, покрасили под мрамор и поставили микрофоны. Открыли в зале все окна, чтобы в помещение поступал холодный воздух и изо рта выступающего шел пар, как на площади. Кинематографисты были готовы к ответственной съемке.

В двенадцать ночи в зал вошел Сталин. Он сказал, что готов повторить свою речь. Снимали двумя синхронными камерами. Звукооператором был Виктор Котов. Когда съемка закончилась, Сталин вышел.

На студии отснятую пленку срочно проявили, отпечатали позитив и увидели, что этот материал, конечно же, отличался более высоким качеством, чем отснятый ассистентами на рассвете на Красной площади, но, как ни остужали зал, раскрыв все окна, пар изо рта оратора не выходил. Однако зритель этого не заметил, зритель воспринял весь сюжет как единое целое.

Отснятый парад и досъемка выступления Сталина были вмонтированы в полнометражный документальный фильм «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» — первый советский фильм, который американская Киноакадемия признала лучшим иностранным фильмом 1942 года. Он был награжден «Оскаром» и имел огромный успех во всех странах антигитлеровской коалиции.

Сталин не любил сниматься, особенно в кино — пленку не подретушируешь, как фото. Но в 1941-м он пошел на это, потому что хотел, чтобы его выступление увидел и услышал народ.

Свою речь на Красной площади Сталин начал с обращения: «Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры...» Никогда до этого вождь не обращался так к народу, и после войны ничего подобного уже не было...

Блокада

Солнечный день 22 июня оператор Ленинградской студии кинохроники Ансельм Богоров встретил в Центральном парке культуры и отдыха — снимал сюжет о комсомольском кроссе. В полдень загремели репродукторы. Война...

Уже вечером Ансельм снимал на площади перед Московским вокзалом. Люди заполнили все помещения вокзала, платформы. Из города на восток отправляли детей. Идут крохи парами, держа друг друга за руки. У каждого через плечо сумочка или мешочек, на них мамы вышили имя и фамилию. Дети идут сквозь строй родителей. Растерянные, плачущие мамы, бабушки, молчаливые отцы. Дети веселы, беззаботны...

Митинг на заводе «Светлана». Заводской двор заполнен до отказа. Практически одни женщины. На лицах тревога, боль. Женщины стоят молча, но кричат, кричат их глаза...

Жизнь города меняется, появляются тревожные штрихи: на газонах вырыты щели — укрытия от бомб, в подвалах домов укрепляют стены, навешивают обитые железом двери, замуровывают окна. На Марсовом поле поднялись к небу дула зенитных орудий. Защитной краской покрылись купола Исаакиевского собора, брезентом — шпиль Адмиралтейства, мешки с песком «укутали» великолепные памятники.

А сводки с каждым днем тревожнее. В Ленинград, спасаясь от немецко-фашистских захватчиков, прибывали жители Прибалтики, Пскова, Новгорода. На десятки тысяч человек увеличилось население за первые недели войны.

Город жил напряженной, тревожной жизнью. Ленинградцы знали, что враг уже бомбит Москву, и каждый день ждали налетов. 24 августа гитлеровцы заняли станцию Чудово и перерезали Октябрьскую железную дорогу, 30 августа захватили станцию Мга — последняя нить, соединяющая Ленинград со страной, прервалась...

В начале сентября Ансельм выехал на передовую, в одну из зенитных батарей. Эта батарея сбила самолет противника. Летчик погиб. Богоров заснял бой зенитчиков. Когда он подошел к сбитому вражескому самолету, увидел на его фюзеляже любопытный рисунок: на острове стоял английский лев, поджав хвост и со страхом глядя вверх, откуда фашистский орел бросал на него авиабомбу. Значит, самолет этот участвовал в налетах на Лондон, решил Ансельм и крупно снял рисунок.

Вернулся домой уже вечером. День кончался, но было еще совсем светло и по-летнему жарко. В квартире тихо и пусто — все эвакуированы. Вдруг истошно завывли сирены — воздушная тревога. Раздались выстрелы зенитных орудий. И тут телефонный звонок. Звонили со студии:

- Камера у вас дома?
- Дома.
- А пленка есть?
- Есть.
- За вами заедут.

Только в машине по дороге на съемку Ансельм узнал, что произошло.

Прорвавшись сквозь заградительный огонь наших зениток, фашистские самолеты совершили массированный налет на Ленинград. В городе горели сто семьдесят восемь объектов, в том числе склад имени Бадаева.

Подъехали к месту пожара. От зажигалок запылали деревянные складские помещения, построенные еще в 1914 году. Расстояние между помещениями небольшое — десять метров. Огонь быстро распространялся, образуя гигантский костер.

Кипели и таяли запасы маргарина, по грязной земле текли ручьи расплавленного сахара, горела и тлела мука. В удушливый запах гари и дыма неожиданно врывались ароматы корицы и гвоздики. Все кругом сверкало, шипело, трещало.

Первым желанием операторов было помочь людям, гасившим этот страшный костер. А съемка? И Богоров работал с камерой. Ни он, и никто из ленинградцев, боровшихся с огнем, в те минуты даже предположить не мог, что скоро на этом пепелище они будут разгребать грязный смерзшийся снег, выбирая крохотные кусочки недогоревших продуктов. И это сохранила киноплёнка...

Зоологический сад. Здесь тихо. Хищников вывезли в самом начале войны. Пустые аллеи, сгоревшее здание обезьянника, разрушенный слоновник. Под рухнувшими колоннами лежала любимица ленинградских малышей слониха Бетти.

Неожиданно Богоров увидел в раковине для оркестра маленькую обезьянку. Она сидела на задних лапах, а передние прижимала к брюшку. Чтобы не спугнуть обезьянку, Ансельм снял ее издалека, а потом стал осторожно подходить. Обезьянка сидела не двигаясь и смотрела на человека с камерой грустными глазами, по ее мордашке текли крупные слезы. Обезьянка была ранена в живот и, видимо, зажимала лапками рану, чтобы хоть немного успокоить нестерпимую боль. Ансельм стоял подавленный — ни помочь, ни отойти...

В конце сентября — начале октября фронт стабилизировался. Передний край обороны проходил по окраинам города. Бомбежки, пожары. Много горьких и страшных кадров сняли военные операторы: разрушенный фугасными бомбами госпиталь на Суворовском проспекте — там погибли шестьсот человек, изувеченные женщины и дети, извлеченные из-под обломков разрушенных домов, изувеченный вагон трамвая на углу Невского и Садовой улицы — большинство людей в нем погибли. Необычно рано началась зима — снежная, морозная. На улицах появились сугробы, городской транспорт не работал. Постоянно стояла очередь за водой, бившей из лопнувших водопроводных труб прямо на мостовую.

25 ноября была назначена съемка в гастрономе на углу Невского и Владимирского проспектов. Снимали выдачу хлеба — тех 125 граммов, которые в конце ноября начали получать ленинградцы.

Осветительную и съемочную аппаратуру завезли в магазин накануне, а 25-го утром начали работать. В магазине никто на киношников внимания не обращал. Глаза всех были прикованы к хлебу. Надо было видеть, с какой точностью, по-аптекаарски отрезали и взвешивали его продавцы. Блокадный хлеб — кусочек темной,

ноздреватой, сырой массы с отстающей корочкой, в нем кроме муки было еще много суррогатов.

Шла очередь. Одна за другой подходили к прилавку женщины. С благоговением брали они этот кусочек так, чтобы не уронить даже крошку. Изредка в очереди появлялся мужчина. И опять женщины — суровые, молчаливые...

Съемка в Публичной библиотеке имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. Холодно. В помещении температура не выше четырех-пяти градусов. А зал полон. Работники библиотеки в шубах, валенках, платках, перчатках. Среди посетителей люди в военных шинелях и полушубках. Здесь привычная тишина...

В декабре город погрузился в темноту. На улицах стояли засыпанные снегом трамваи, автобусы, троллейбусы. На столбах висели обрывки проводов. По занесенным снегом улицам медленно двигались сгорбленные фигуры. Но в нечеловеческих условиях продолжали работать заводы. В цехах, согреваясь у костров, истощенные рабочие ремонтировали танки. Вместе с ними трудились женщины и подростки.

Ленинградские кинохроникеры ни на один день не прекращали съемок. Транспорт для перевозки аппаратуры стали детские саночки. Ансельм Богоров на студию уже не ходил. Опухли ноги, кружилась голова, каждый шаг давался огромным напряжением воли. И все же он продолжал снимать. Позже он говорил: камера спасла мне жизнь. А результатом этой работы стал фильм «Ленинград в борьбе», удостоенный в 1943 году Государственной премии СССР. Ансельм Богоров был главным оператором этой картины.

Крейсер «Червона Украина»

Фронт неотвратимо приближался к Севастополю. В последних числах октября немцы заняли Симферополь. Фашистские танки вышли в район Евпатории. Наши войска отступали через горный хребет на Алушту и Ялту, с тем чтобы выйти к Севастополю по Южному берегу Крыма. По горным тропам и перевалам они могли пройти дня через три-четыре. А пока город прикрывали отдельные батальоны, отряды моряков и береговые батареи.

Еще 26 октября оператор Дмитрий Рымарев снимал на Ишуньских позициях. Положение было напряженным, но не казалось безнадежным. Когда группа возвращалась, проезжая через Симферополь, город вовсе не оставлял впечатления обреченного.

И вдруг — в Симферополе немцы, почти весь Крым — немецкий, враг стоит у стен Севастополя. Было тревожно, но надежда

не умирала. Защитники Севастополя даже мысли не допускали, что фашисты ворвутся в город.

Вечером группа Дмитрия Рымарева, уставшая после съемки бесконечных бомбежек, зенитных залпов, горящих зданий, собралась на своей базе. Снятый на Ишуньских позициях материал нужно было срочно отправить на киностудию.

Дмитрию очень не хотелось в этот напряженный момент оставлять осажденный Севастополь. Второй оператор, Владислав Микоша, предложил бросить жребий.

Везти материал на Большую землю выпало Владиславу. Через пару дней отходил в Новороссийск транспортный корабль «Чапаев». На нем уходили из Севастополя Микоша и его ассистент Соболев. Снятую плену упаковали в железный ящик. Ящик заклеили водонепроницаемой изоляцией, обернули крест-накрест двумя пробковыми поясами, чтобы пленка не утонула в случае гибели судна.

Вот вспенился белый бурун за кормой, транспорт ходко двинулся к воротам бухты, прошел мимо Константиновского равелина и растворился в осенней хмари моря. Дмитрий Рымарев и Федор Короткевич остались на причале Графской пристани...

Жить в Севастополе стало невозможно. Готовясь к генеральному штурму, гитлеровцы днем и ночью бомбили город. Не работали электростанция и водопровод. Улицы загромождены обломками зданий, телеграфными столбами, перевернутыми трамваями.

Операторы по рекомендации Владислава Микоши решили обратиться к командиру крейсера «Червона Украина» с просьбой поселиться на корабле.

В результате захвата гитлеровцами крымских аэродромов над нашими боевыми кораблями нависла угроза потопления вражеской авиацией. По решению Военного совета Черноморского флота в ночь на 1 ноября основные силы флота покинули Севастополь. Под покровом темноты эскадра ушла в порты Кавказского побережья.

Для поддержки Севастопольского оборонительного района были оставлены крейсера «Червона Украина» и «Красный Крым», четыре эсминца. Крейсер «Червона Украина» стоял на якорях в Северной бухте, вблизи Графской пристани.

Операторы явились на крейсер к капитану третьего ранга Зарубе.

— Милости прошу. У меня как раз есть свободная стажерская каюта, — любезно принял киношников командир корабля.

На корабле было тепло, горел яркий электрический свет, можно было принять горячий душ. В стажерской каюте две заправленные койки с чистым бельем. Вечером можно послушать по радио вести с фронтов.

Однако «уютная жизнь» продолжалась недолго. Утром 12 ноября прозвучал сигнал боевой тревоги. Пронзительно звенел «колокол громкого боя». Звонко застучали матросские ботинки. Краснофлотцы занимали боевые посты.

Не успели операторы одеться, как грянул первый бортовой залп. От мощного удара вздрогнул, задрожал корабль. Казалось, заклепки выскочат из стальных листов обшивки. Крейсер открыл огонь всей артиллерией правого борта.

Солнце еще не взошло. Еще зеркально гладкие сиреневые бухты тонули в утренней дымке, а вокруг Севастополя разгорелся бой.

В общем грохоте выделялся мощный голос корабельных пушек «Червоной Украины». Тяжело ухая, снаряды медленно улетали на Северную сторону и гулко взрывались где-то за совхозом имени Софьи Перовской. Густые клубы дыма и пыли поднимались над горизонтом.

Вскоре было получено сообщение от корректировщиков:

Атака немцев захлебнулась. Пять танков противника подбиты, остальные повернули назад. Наши сухопутные части переходят в контратаку.

Крейсер перенес огонь своей артиллерии по тылам противника.

— Может, попросим катер у командира, снимем залпы с воды? — спросил Федор.

— Пойдем к командиру, — согласился Дмитрий.

Выслушав просьбу операторов, Заруба отдал распоряжение по телефону.

Операторы, взяв аппаратуру, спустились в катер и отплыли на такое расстояние, чтобы в кадре уместился весь корабль. Крейсер дышал огнем. Пламя и дым выстрелов отражались в зеркале бухты. Закончив съемку с катера, кинооператоры поднялись на кормовой мостик, чтобы снять стрельбу орудий с верхней точки.

— Двенадцать самолетов противника по правому борту! — прокричал сигнальщик.

Зенитные пушки, быстро разворачиваясь, извергая пламя, яростно загрохотали. Эскадрилья «юнкеров», покачиваясь среди зенитных разрывов, но не теряя строя, шла прямо на крейсер. Одна машина из первого звена вдруг вспыхнула ярким пламенем и штопором пошла вниз.

От самолетов отделились черные точки. Бомбы разворачивались носом вниз, увеличивали скорость и исчезали из глаз. Не было слышно звука разрывов, только какое-то шипение.

Взрывная волна подняла Дмитрия в воздух, затем швырнула в сторону. По обоим бортам взметнулись в небо фонтаны воды. Одна из бомб попала в левый проход на верхней палубе, пробила железную переборку и разорвалась в машинном отделении крейсера.

Черный едкий дым окутал кормовой мостик. Языки пламени жгли лицо и руки. Дышать было нечем. Затаив дыхание, на ощупь Дмитрий нашел поручни трапа, быстро спустился вниз, побежал в сторону кормы и вырвался наконец из удушливого дыма.

Столб дыма с корабля поднимался высоко в небо. Выползая снизу из пробоины, полыхало пламя пожара. Рядом с местом пожара — корабельный склад боеприпасов. Еще несколько минут...

Вверху на мачте в дыму пожара появилась фигура человека в офицерской шинели, без фуражки, русые волосы развевались по ветру. Это был третий помощник командира корабля старший лейтенант Попов. Он энергично распоряжался аварийными командами, которые боролись за жизнь корабля. Матросы раскатали брезентовые шланги, пустили воду и упругими струями сбивали пламя.

Зенитчики, больше всех пострадавшие от бомбовых осколков, перевязывали друг другу раны. Матрос, которому осколком перебило голень, поднял лежащий на палубе стул. Опираясь на него коленом, он шагал в санчасть. Ногой — стулом, ногой — стулом... Молодое лицо было перекошено от боли. Из машинного отделения выносили обгоревших и раненых.

Дмитрий Рымарев едва успевал заводить ключом пружину своего аппарата и снимал, снимал все, что происходило вокруг. Оператору некогда было думать об опасности, о грозящем взрыве, о том, наконец, что вновь могут появиться самолеты противника. Он заботился, чтобы все было в фокусе, чтобы правильной была диафрагма, чтобы камера в руках не дрожала. Пожар вскоре был укрощен.

И снова:

— Фашистские самолеты по правому борту!

Дмитрий снова снимал огонь наших зениток и сбитые немецкие самолеты. Снова крейсер дрожал, как в лихорадке, а палуба уходила из-под ног. А когда схлынула вода с перекошенной палубы, она была розовой от крови...

Крейсер искалечен. Нос его в результате подводной пробоины погрузился ниже ватерлинии. Появился сильный крен на левый борт. По наклонной и скользкой палубе трудно было передвигаться. По левому борту зияла большая рваная рана. Торпедный аппарат, заряженный тремя боевыми торпедами, сломан взрывом у основания и упал в море вместе с торпедами.

Командир корабля приказал команде покинуть крейсер...

Проснувшись утром, Дмитрий Рымарев бросился к окну, чтобы взглянуть на «Червону Украину». У причала Графской пристани корабля не было. Только торчала из воды стальная мачта. Ночью героический крейсер «Червона Украина» затонул.

К своим

Колонна двигалась лениво, как вязко текущая по равнине река. Люди шли с поникшими головами. Кто-то опирался на палку, кому-то посчастливилось раздобыть костыль. Те, кто мог двигаться самостоятельно, подставляли плечо товарищу. Многие были в грязных бинтах с бурыми пятнами. Сбитые в кровь ноги месили холодную дорожную грязь...

В этой колонне шел фронтовой кинооператор Аркадий Михайлович Шафран. Он был самым знаменитым в мире кинохроникером — член экипажа парохода «Челюскин», Шафран так снял драму, разыгравшуюся в арктических льдах, что фильм его «Челюскин» получил первый приз на кинофестивале в Венеции, а сам он был награжден орденом Красной Звезды, получил квартиру в Москве, легковой автомобиль, а создатель кинокамеры «Дебри», которой Шафран снимал «Челюскина», подарил ему объектив с золотой пластиной...

Как только началась война, Аркадий Михайлович в составе фронтовой киногоруппы выехал на Западный фронт. С ним были оператор Владимир Ешурин и ассистенты Владимир Комаров и Андрей Николаевич.

Группа снимала под Оршей: артиллерийскую батарею, которая вела огонь по противнику с расстояния трех километров; прифронтовой аэродром и наших летчиков, бомбивших наступающие немецкие колонны; танкистов на пустынном шоссе под Борисовом.

Танк шел с повернутой назад пушкой, потому что буквально за горкой его догоняла большая колонна немецких войск. Аркадий Михайлович снял и эту колонну, которая вытянулась на извилистой дороге как змея. Немцы обнаружили группу и обстреляли.

В октябре 1941 года фронтовые кинооператоры находились на Брянщине, в 50-й армии. Аркадий Шафран и Андрей Николаевич отправились в штаб фронта. Как раз в это время танки Гудериана прорвали нашу оборону южнее Брянска. Когда машина неслась через Брянск, офицеры удивились: какая-то тревожная тишина, улицы безлюдны. Только при въезде в город заметили красноармейца. Он стоял на посту, охраняя мост через речку. Город недавно бомбили. Разрушенные дома, пожарища, битое стекло и кирпичное крошево на асфальте...

В восточной части города увидели воинскую колонну. Она двигалась навстречу. Когда сблизилась с колонной, разглядели: немцы! Улица узкая, машину не развернуть. Шафран крикнул шоферу:

— Давай в сторону!

Шофер резко вывернул руль вправо. Машина передними колесами перескочила придорожную канаву и безнадежно заглохла. Немцы открыли пулеметный огонь. В первые месяцы войны операторам оружие не выдавали, поэтому ответить на огонь им было не из чего...

Так Аркадий Шафран и Андрей Николаевич попали в плен. Забрали киноаппарат, содрали сапоги. Очки у Аркадия Михайловича сбили, слышал только, как они хрустнули под сапогом. Втолкнули в какой-то загон для скота. Там уже было много красноармейцев. Три дня без пищи и воды их продержали в этом загоне. Кругом колючая проволока и наблюдательные вышки...

Потом немцы начали пленных сортировать. В первую группу отобрали коммунистов и комиссаров, во вторую — командиров. Все остальные — третья группа. Тех, кто попал в первую и вторую группы, сразу же увезли.

Кормили в лагере раз в день баландой из гнилой капусты. У некоторых солдат в вещмешках были еще кой-какие продукты, у Аркадия Михайловича с Андреем — ничего. Не было и котелков. До тошноты хотелось есть. И они отправились на поиски посуды. Случайно за углом барака Андрей нашел старое помойное ведро. Долго его оттирали песком, но до конца так и не отчистили.

Поначалу вонючая лагерная пицца вызывала рвоту. Но верно говорят, человек ко всему привыкает. По очереди они брали ведро, через край хлебали жижу, все остальное выгребали пятерней. Надо было как-то существовать, потому что Аркадий Михайлович и Андрей на что-то еще надеялись.

Зима в сорок первом наступила в октябре. На ночь пленные стремились втиснуться в барак — там было немного теплее, чем на улице. Людей набивалось так много, что можно было только стоять. Когда ноги затекали, выходили наружу, устраивались за углом барака с заветренной стороны. Стелили одну шинель на землю, другой укрывались. Ложились обязательно на левый бок, чтобы не застудить легкие. Немцы больных просто пристреливали.

Каждое утро из лагеря выводили небольшие группы пленных — на работу. Аркадия Михайловича с Андреем в них почему-то не включали. А они пришли к мысли, что с таких работ, когда выводят за колючую проволоку, легче всего убежать. Поэтому решили на следующее утро самовольно примкнуть к одной из таких групп. Хотели проверить, возможен ли побег.

Однако утром построили весь лагерь. Оказалось, пленных перегоняют в другое место. Колонна вытянулась по дороге на большое расстояние. В голове колонны и в хвосте следовали машины с пулеметами, по бокам шли конвоиры с собаками на поводках.

Вечером остановились на опушке леса, прямо на картофельном поле. Андрей отправился добывать картошку и не вернулся. Аркадий Михайлович всю ночь прождал его у костра.

Чуть рассвело, пленных погнали дальше. Пошел дождь со снегом. На ногах у Шафрана были лапти — снабдили хорошие люди, когда увидели его сбитые в кровь босые ноги. Портянки из лаптей все время вылезали, волочились по грязи, мешали идти.

Следующий привал был на болоте. Всю ночь едкий дым костра разъедал глаза, а отойти нельзя — место твое тотчас займет такой же бедолага. К утру Аркадий Михайлович почти ослеп. В голове билась страшная мысль: наступит утро, конвоиры заставят подняться, а сможет ли подняться он, сможет ли переставлять ноги? Уж лучше скорая смерть при побеге, чем медленное умирание в лагере от голода и болезней.

Шафран решил бежать. Стелился утренний туман. Аркадий Михайлович открыто, не таясь, в полный рост вышел на дорогу. Осмотрелся. Никакой охраны. Перешел дорогу — никого. Тихо. И тут он понял: вырвался! А осознав это, вдруг испугался. Что, если следят, что, если он уже на мушке? Шаг, другой и... утреннюю тишину разорвет выстрел! Или по следу пустят собак? Кругом открытое поле — ни бугорка, ни кустика. И он побежал. Бежал долго, когда уже не было сил, когда сдавило грудь... И вдруг увидел перед собой несколько изб.

Постучался в крайнюю. Дверь открыла женщина с добрыми печальными глазами. Изба была буквально набита бежавшими пленными. Женщина отвела Аркадия Михайловича на сеновал. Здесь гулял ветер, проникавший через прорехи в кровле. Оператор зарылся поглубже в сено и мгновенно заснул.

Хозяйка еле его разбудила. Открыл глаза — белый день. Через прорехи в крыше прорывается солнце.

— Ты, вот что, парень, уходи! — вполне миролюбиво сказала женщина. — Не ровен час — немцы нагрянут. Как бы беды не случилось. Твои-то ушли. Еще ночью... Ты почти сутки проспал.

— Куда же идти?

— Иди через огороды. Увидишь деревеньку. Там немцев нет. Авось люди хорошие найдутся, пристроят... Свои ведь.

Шафран добрался до соседней деревни, постучался в первый же дом. Его приняли, оставили в домашнем тепле, накормили. А когда Аркадий Михайлович собрался идти к линии фронта, хозяйка извлекла из сундука старый домотканый армяк, холщовые штаны и новые лапти с онучами. Шафран облачился в это, перетянул армяк бечевкой, водрузил на голову какой-то невероятный треух. К тому времени у него отросла борода. Глянул в старенькое зеркало — прямо Иван Сусанин.

До линии фронта шел оператор больше месяца. Преодолеl больше пятисот километров. По дороге встречались солдаты-окруженцы, сбивались в небольшие группы.

С такой группой добрался Аркадий Михайлович до Оки. В районе Алексина проходила линия фронта. На той стороне реки были наши. Ока замерзла — можно было перейти по льду. Но немцы кругом...

Укрылись в разрушенном заводском здании. Стали думать, как преодолеть реку. Ничего путного не придумали.

Поздно вечером в развалинах заметили старика. Он собирал щепки, полубогоревшие доски. Решили расспросить, как попасть на ту сторону. Старик охотно указал:

— Вон в том месте люди часто речку переходят. Только идите днем, ночью и немец, и свои подстрелить могут. Давай вам Бог...

Подошли к реке, остановились, огляделись, сошли на лед. Вдруг пулеметная стрельба. Залегли. Стрельба прекратилась. Поднялись и пошли. Опять пулеметная очередь. Пули засвистели совсем рядом. Упали на лед. Минута, две... Кто-то скомандовал:

— Бегом!

Когда достигли своего берега, Аркадий Михайлович упал на колени, заплакал — неужели?..

А потом был допрос в отделе контрразведки.

— Как это вам удалось бежать из плена? — допытывался всех подозревающий оперативник.

— Я очень к своим хотел... — сказал знаменитый оператор Шафран и больше ничего объяснять не стал.

Трижды не повезло

Николай Лыткин работал до войны на Дальнем Востоке. Уже тогда он был известным в кругах кинохроникеров оператором. Он был много старше меня. А встретились мы с ним впервые на Калининском фронте.

Войну он начал снимать с первых дней. Снимал неистово, стараясь запечатлеть весь ее ужас и драматизм. Но все время хотел большего, хотел снять героизм наших солдат, но мы отступали. Находясь рядом с солдатом, изо дня в день снимая его труд, он уже свылся и со смертельной опасностью, и с тяготами окопной жизни.

Когда было получено задание снимать у партизан, Николай обрадовался: если сниму материал у народных мстителей, сделаю авторский фильм, сам буду монтировать и озвучивать. Привел в порядок съемочный аппарат, запасся пленкой. О переходе линии фронта договоренность с командованием уже была, но перед са-

мым уходом к партизанам была получена телеграмма с приказанием срочно прибыть в Москву — многих кинооператоров перебрасывали тогда под Сталинград.

Вечером следующего дня Николай был уже в Москве. Позволил на студию и услышал от заместителя директора Михаила Бессмертного:

— Приехал? В Москве? Завтра вечером с группой выезжаешь в Архангельск, а оттуда в Англию.

Вот это сюрприз! Открытие союзниками второго фронта в Европе!

К англичанам добрались благополучно на судах, которыми в наши северные порты доставляли военные материалы. Слава Богу, ни торпедных атак немецких лодок, ни бомбежек авиации.

В Англии работы нашим операторам не нашлось. Второй фронт в 1942-м не открыли...

По возвращении Николая Лыткина откомандировали во фронтовую киностудию Калининского фронта. Не успел он осмотреться, как поступило указание выделить оператора в распоряжение командующего фронтом. Выбор пал на Николая. Он прибыл на командный пункт, представился генералу армии Еременко. Командующий фронтом оказался добрейшей души человеком и храбрым солдатом — в сталинградских боях с автоматом в руках отстреливался от атакующих немцев.

Рано утром два «виллиса» отправились в путь. На первом — командующий, на втором — его охрана и оператор. Машины на большой скорости мчались по бездорожью. С трудом удерживаясь на жестком сиденье, Николай прижимал к груди «Аймо», оберегая камеру от толчков и тряски. Ехали долго, пока не остановились у въезда в совершенно разбитую деревню. Входя в уцелевший дом, командующий бросил:

— Вас вызовут. Ждите. Отдыхайте.

В укрытии был уже фотокорреспондент из «Известий». Познакомились. Вдруг увидели Берию. Стоит в стороне у машины. Догадались: здесь Сталин. Это было 5 августа 1943 года около Ржева, в селе Хорошево.

Неподалеку шоссе, по нему идут машины, пылят по обочине солдаты. Никто даже не подозревает, что здесь, в этом небольшом доме, находится сам Сталин. Охранников не видно — затаились. Светит солнце. За домом подбитый танк — хороший фон для съемки. А время идет. Николай встал, взял камеру, пошел к дому. Его тут же остановили:

— Вас вызовут. Сидите и ждите!

Солнце светит. Время идет. Танк на месте. И тут возникло движение. Заработали моторы. Одна «эмка» подъехала вплотную к двери дома. Не видно было, кто сел в машину. Одна за одной ма-

шины отъехали, а Николай с камерой остался. Вскочил, бросился к разворачивающемуся «виллису»:

— Гони!

Догнали колонну, но с задней машины их взяла на прицел ручного пулемета охрана, да так грозно, что «виллис» остановился...

Когда Лыткина принял генерал армии, кинооператор, всего лишь в звании капитана, упрекнул Еременко:

— История не простит, что не удалось снять товарища Сталина!

Командующий понял огорчение кинохроникера, тихо сказал:

— Товарищ Сталин не согласился сниматься потому, что не был одет в маршалскую форму. Поверьте, я просил товарища Сталина разрешить съемку, но он в сердцах заявил: «Вы военный человек? И я военный! Мне не пристало сниматься не в форме среди высших офицеров».

Что ж, и так бывает. Трижды не повезло Николаю Лыткину: хотел снимать партизан — не удалось, послали в Англию — второй фронт не открыли, поручили снять Сталина — и тут...

Славные ребята американцы

Погода стояла на зависть солнечная, теплая. За окнами шумела Москва, а я сидел в студийном подвале в Лиховом переулке со сбитыми в кровь ногами после скитаний по белорусским болотам с партизанским отрядом. Две комнаты подвала были переоборудованы под общежитие для операторов, приезжающих с фронта. Операторы приезжали, привозили отснятую пленку, запасались новой, уезжали.

Однажды меня разбудил мой друг Борис Шер:

— Сеня, нас отправляют к летунам. Будем работать с американцами.

— С кем? С американцами? Неужели второй фронт?

— Да какой второй фронт...

Оказалось, нам предстояло лететь под Полтаву. Американцам там оборудовали аэродром для челночных перелетов. «Летающие крепости» — бомбардировщики Б-17 — базировались у нас, управлялись, брали боезапас и летели в Италию, на аэродром около города Бари. А по пути бомбили Германию. Американцы — любители придумывать устрашающие названия, они закодировали эту акцию словом «Френик» (неистовый, бешеный).

Я обрадовался новому повороту судьбы. Ноги еще болели, но ведь летать не ходить. Чертовски надоело болтаться без дела.

Вылетели мы с подмосковного аэродрома на рассвете, а незадолго до полудня приземлились на полевом аэродроме под Полтавой. Представились начальнику аэродрома, предъявили удостоверение на право съемки. Он сказал, что все происходящее на летном поле можно снимать свободно, а воздушные съемки нужно согласовывать с американской стороной.

Для начала мы пошли знакомиться с аэродромом. Летное поле уложено стальными листами с круглыми дырками, сквозь которые прорастают трава, полевые цветы — отличная маскировка. Тут же стояли несколько самолетов. Подошли к одному из них.

Во время войны об этих «летающих крепостях» рассказывали чудеса, и мы с Борисом, естественно, стали искать броню, делающую самолет неуязвимым, однако самолет был обычный, хотя и выглядел очень внушительно — четырехмоторный бомбардировщик с экипажем одиннадцать человек. И запас бомб он брал немалый — семь тонн. «Летающей крепостью» самолет прозвали потому, что он имел до двадцати крупнокалиберных пулеметов, со всех сторон защищающих его от истребителей врага.

«Летающие крепости», базирующиеся на полтавском аэродроме, не раз бомбили противника — на их фюзеляжах были нарисованы маленькие свастики, обозначающие сбитые фашистские самолеты, и бомбочки — боевые вылеты.

Бомбардировщик, около которого мы остановились, совершил сорок четыре боевых вылета и сбил восемь немецких истребителей. На фюзеляже были изображены и забавные рисунки: удирающий солдат и подпись «Мощный Майк»; черная кошка с выгнутой спиной и задранном хвостом; томная девица с обнаженным бюстом...

Подошли американские летчики. Один из них говорил по-русски и лихо справлялся с двусторонним переводом. К тому же и американцы и мы сразу освоили язык жестов и восклицаний. На фронте знакомятся быстро и легко. Рассматривая наши награды, американцы спрашивали, за что мы их получили. Узнав, что за киносъемки в тылу врага у партизан, были поражены: «О, колодаль! Вери гуд!»

После обеда мы пошли за своей киноаппаратурой. По дороге увидели немолодого американского коллегу-кинооператора, очевидно, прикомандированного к летчикам. Он со штатива снимал сожженные дома на окраине Полтавы. Мы же с самого начала войны снимали все с ходу.

Поселили нас в классном вагоне, стоявшем на железнодорожных путях сразу за аэродромом. Американские летчики и технари жили за аэродромом в прекрасных палатках. Мы впервые увидели, что во фронтовых условиях можно жить с комфортом. В палатках были складные столы, стулья, койки. Посуда — из не-

ржавейки. Ложки, ножи и вилки — из мельхиора. Все блестело чистотой. Каждый имел по несколько комплектов обмундирования — рабочее, повседневное и парадное. Летчики жили в палатках на двоих, а механики вчетвером. Для нас это было необычно.

Готовясь к полету, мы старались как можно детальнее изучить «летающую крепость». Начали со съемки подвешивания бомб, заправки самолета горючим. Наши солдаты из подразделений аэродромного обслуживания работали толково и споро. Американские летчики их хвалили.

Вылетели мы с Борисом в разных самолетах. Летели на большой высоте. Я снимал через люк землю, едва видную в туманной дымке, потом снимал летчиков. Кабина пилотов была просторной и светлой, кругом плексиглас. Снимал стрелков. Они были все время начеку и не выпускали ручек пулемета: фашистские истребители появлялись, как правило, со стороны солнца и всегда внезапно. Требовалось предельное внимание, чтобы не пропустить их появление.

Кто-то похлопал меня по плечу. Я обернулся — это был парень, который говорил по-русски. Он прокричал мне в ухо:

— Скоро будем спускать бомбы!

Меня подвели к люку. Как только я услышал зуммер, сразу включил камеру. Бомбы, одна за другой, полетели вниз, в серое марево...

Наш самолет благополучно приземлился в Италии, в городе Бари. Пока шла заправка самолета и оснастка бомбами, экипаж отдыхал. А потом в обратный путь. До бомбежки я решил поснимать еще летчиков, но в это время меня окликнули штурманы:

— А нас почему не снимаешь? — обиделись они.

Штурманы сидели за большим столом, на котором были закреплены разные приборы. Меня предупредили, что эти механизмы у американцев засекречены. Еще до вылета начальник аэродрома проинструктировал: «В самолете можете снимать все, но только не штурманский стол».

— Ребята, — сказал я, — эти ваши приборы... Снимать их мне запретили!

— Плевать мы на это хотели. Ты снимай, отвечать будем мы. Не снимешь нас — мы тебя из люка выбросим, вместо бомбы! — Они расхохотались.

К общему удовольствию, я их снял: лица, глаза, смотрящие в окуляры, руки, вращающие какие-то лимбы, нажимающие какие-то кнопки...

Только раз, когда подлетали к Полтаве, в воздухе появилось звено «мессеров». Они зашли со стороны солнца и бросились в атаку. Они по очереди стреляли по нашей «крепости», как будто клевали ее. Я, устроившись около стрелка, снимал. Видно было,

что «мессеры» во что бы то ни стало хотят сбить наш самолет. «У, сволочи», — подумал я, но вдруг в визир камеры увидел: «мессеры» как по команде отвалили. Я понял: по фашистским истребителям был дан залп из всех бортовых орудий «крепости». Один «мессер» задымил. И в этот момент я подумал: «Вот прилетим, и на фюзеляже нашего самолета нарисуют еще одну свастику — знак сбитого фашиста».

На полтавский аэродром мы приземлились во второй половине дня. Летчиков встречали торжественно. Прибыли представители американского посольства. Были цветы, объятия. Мы сняли эпизод встречи. В честь удачных полетов посольство Америки устроило торжественный обед. Нас, как членов экипажа «летающей крепости», тоже пригласили.

А вечером, когда мы уже шли в свой вагон, в небе появился немецкий самолет-разведчик. Американцы еще не знали, чего ждать от «рамы», но мы-то поняли: жди неприятностей. За день я так устал, что, перезарядив кассеты и упаковав отснятую пленку, забрался на верхнюю полку и крепко заснул.

Проснулся от сильного грохота. Вагон весь содрогался. За окном уже кое-где полыхало. Я выскочил в темноту и сквозь грохот услышал крик Бориса:

— Сеня, прыгай сюда!

У самого вагона была вырыта глубокая щель-укрытие. Побежал на голос и свалился на что-то мягкое.

— Дубина, так и изувечить человека можно!..

На аэродроме все грохотало. Взрывы, как нам казалось, все приближались. Взрывной волной вышибло вагонные стекла. При каждом разрыве земля под нами как будто охала. Было страшно. Хотелось выскочить из щели и бежать из этого ада, но какая-то сила вдавливала Бориса и меня в землю.

Волны немецких бомбардировщиков следовали одна за другой. В адском грохоте слышалось частое хлопанье наших зениток. А на аэродроме все горело, лопалось, взрывалось. Это была самая жестокая бомбежка из всех, которые я пережил за время войны.

Перед рассветом все стихло. Потрескивали догорающие самолеты, по всему аэродрому стлался дым. Настроение было пакостное, мы ведь ничего не сняли. Правда, была непроглядная ночь, а чувствительность нашей кинопленки невелика.

Как только стало светать, мы схватили киноаппараты. По всему аэродрому зияли воронки. От большинства «летающих крепостей» остались лишь остовы, фантастически деформировались пропеллеры, резина колес растеклась. Самолеты стояли, накренившись в нелепых позах. Одну «крепость» я опознал сразу — опознал по рисунку на фюзеляже. На этом самолете я вчера летел над Германией...

Пожарники тушили то, что еще можно было спасти. На краю аэродрома наши зенитчики чистили орудия. Но что поразило, мы не увидели на летном поле ни одного «виллиса», ни одного американца.

Только когда солнце поднялось уже довольно высоко, я встретил пилота, с которым вчера летал. Он, как и другие американские летчики, только что приехал на аэродром.

— Где же ты был ночью? — спросили мы.

— Да мы на «виллисах» сразу смотались. Издалека смотрели на это светопреставление. Думали, на аэродроме все погибли. А вы живы! — Он бросился обнимать нас.

— Самолеты жалко, — сетовали мы.

— Ничего, — сказал он улыбаясь. — Из Штатов новые «крепости» пришлют, а мы пока отдохнем.

Славные ребята американцы: в воздухе — серьезные и сосредоточенные, на земле — веселые, общительные, жизнерадостные. Мы, конечно, другие. Но мы им тоже нравились.

Атакуют катерники

Всю войну Борис Маневич снимал на Северном флоте. Приходилось ему браться и за автомат. Он был отважный, бесстрашный человек, талантливый кинооператор, энергичный, оперативный. На фронте чувствовал себя в родной стихии и ни о какой другой работе не помышлял.

На Северном флоте он много снимал в морской авиации, воевал в морской пехоте, ходил в разведку и на задания с подводниками. Но не было случая снять боевую работу торпедных катеров. Борис обратился к командующему флотом адмиралу Арсению Григорьевичу Головко, попросил дать ему возможность снять операцию с участием нескольких групп катеров.

Вскоре вызвали Маневича в оперативный отдел, и капитан 1 ранга Румянцев направил его в ту часть, где назревали интересные дела.

Катерники встретили Бориса душевно, приписали на катер Виктора Домысловского.

Как раз в то время были получены новейшие катера с двумя торпедами по носу. Баренцево море, как известно, суровое и почти никогда не бывает спокойным, а эти катера могли свободно ходить при пяти-шести баллах и при этом давать скорость до 55 узлов — это примерно 100 километров в час. Когда такой катер идет на полном ходу, такое впечатление, что ты мчишься по ухабам на телеге без рессор. Брызги бьют в лицо с такой силой, словно кто-то палит по тебе из дробовика.

По донесениям нашей разведки, ожидался выход большого конвоя противника из Петсамо. Приказ: катерникам найти и потопить немецкий конвой в районе Варды — это Норвегия.

Но шли день за днем, а караван все не выходил из своей базы. Пришлось набраться терпения и ждать, хотя катерники просто рвались в бой.

А пока собирали грибы на полуострове Средний, при отливах с надувных лодок самодельными гарпунами били камбалу. А коки угощали моряков вкуснейшей ухой с грибами. Единственными гостями на катерах были крикливые чайки — боцман подкармливал их остатками заплесневевшего хлеба.

Так в томительном ожидании прошло одиннадцать суток.

И вдруг приказ: командирам дивизионов произвести морскую разведку. В разведку ушли три катера, а всего их было четырнадцать.

Катер Домысловского, к которому был приписан кинооператор, получил задание ставить дым. Этот катер самый опасный, по нему больше всего будут бить. Как только катера будут обнаружены противником, Домысловский должен вырваться вперед и поставить дымовую завесу, чтобы прикрыть боевой строй. Катер командира отряда тоже ставит дым, перерезав курс противника. Катер командира дивизиона «дымит» вдоль боевого строя. Таким образом, немецкие корабли должны оказаться в дымовом треугольнике. В это время остальные катера выбирают позицию, врубают скорость, пробивают дымзавесу и идут на цель.

Командир дивизиона предложил Борису перейти на другой катер, менее опасный, но тот подумал: «С катера Домысловского я больше увижу, а значит, и лучше сниму эту операцию» — и отказался.

Наконец дана команда к выходу на боевое задание. Катера строятся ромбом — это противолодочный строй. Идут на малом ходу. Глушитель опущен в воду. Идут тихо — рядом противник. Впереди Петсамо, чуть дальше Киркенес — оккупированная Норвегия. Мористее катерам забираться нельзя, идут близко к берегу, скрытно.

Темно. Впереди разведка. Вдруг впередсмотрящий кричит:

- Товарищ командир, вижу корабль противника!
- Смотреть внимательней!
- Товарищ командир, вижу второй корабль противника!
- Смотреть внимательней!
- Товарищ командир, вижу еще корабль противника!

Командир долго всматривается в горизонт, потом как бы сам себе говорит:

- Скоро начнем...

На горизонте уже 18 транспортов и около 30 кораблей охранения. Катер Домысловского заметил головной миноносец немцев, немцы засемафорили:

— Кто идет? Сообщите позывные!

Но огонь пока не открывают. Домысловский кричит:

— Боцман, пиши! Пиши все равно что! Надо время выиграть!

Противник какое-то время разбирался в галиматье, которую писал боцман. И тут команда врубить полную скорость. Катер задрал нос и, как норовистая лошадь, встал на дыбы.

А боцман продолжает писать чепуху. Немцы ничего не понимают, но видят, что катера набрали скорость и стремительно идут на сближение. И тут загрохотало. Немецкий эсминец открыл огонь.

Катер Домысловского взял чуть мористее и понесся вдоль каравана противника. За ним — огромный дымовой шлейф.

Немцы открыли огонь с других кораблей, но почему-то мазали, особенно их крупный калибр. Бог знает куда улетали их снаряды.

А наши катера продолжали ставить дым. Маневич снимал во-все, снимал все, что еще было видно.

Среди шума боя часто слышалось радио:

— Вышел на противника. Торпедировал. Наблюдаю взрыв.

— Вышел на транспорт противника. Наблюдаю взрыв. Отвалил на обратный курс.

Катер Домысловского продолжает лететь вдоль каравана — «занавес» вытянулся уже на несколько километров. Вдруг на него устремляется немецкий тральщик, открывает огонь. Катер проскакивает мимо.

— Ну куда мы? Мне ведь это снять нужно!.. — кричит с досадой Борис.

Катер резко разворачивается и с лету оказывается с левого борта немецкого тральщика.

— Залп!

Обычно торпеды выпускают с небольшим интервалом, в расчете на поправку: если первая торпеда прошла мимо цели, то вторую выстреливают уже с поправкой на цель.

В сложившейся ситуации у Домысловского нет времени на поправку, и он дает залп двумя торпедами. Маневич все это время снимал. А после залпа, когда катер на полном ходу вдруг замер, свалился на палубу и не мог даже сразу подняться. Когда встал на ноги, впереди ничего не было, чисто, нет объектов для съемки. Командир кричит:

— Куда смотришь? Смотри на корму!

Оказывается, пока оператор приходил в себя, катер развернулся. В визир Борис увидел взрыв — значит, попали.

Немцы берут катер под обстрел. Снаряд разрывается от борта в нескольких метрах. Осколками ранены пулеметчик, радист и боцман.

Звучит радио:

— Общая команда — отход!

Контркурсом на катер идут два неопознанных самолета.

— Пулеметы — товсь! — командует Домысловский.

Но слышатся голоса летчиков:

— Молодцы морячки! Идите спокойно по курсу, мы вас прикроем.

Над катером почти на бреющем проносятся красnozвездные истребители. Под прикрытием истребителей пришли в базу.

Тепло, радостно встречали отряд на пирсе. Забросали цветами. Топтать цветы неудобно и жалко. Катерники перешагивают через них, перепрыгивают.

К общей радости примешивается горечь — отряд потерял один катер. Правда, потопил четырнадцать кораблей противника.

Об этой операции много писали. Особенно восхищались советскими катерниками американцы и англичане — наши союзники. Вскоре героев вызвали к командующему в Полярное. Встречал их сам адмирал Головкин. Крепко пожал командирам руки, а оператору Борису Маневичу сказал:

— Молодец кинооператор, спасибо!

С большим волнением Маневич отправил пленку в Москву для проверки, ждал результата. И вдруг сообщение:

Ваш материал «Торпедники» интересен, принят, сдан в фильмотеку.

Борис огорчился: так тяжело и с риском отснятая пленка не будет показана зрителю?! Ребята так надеялись, что их родные там, в тылу, увидят своих мальчиков. Но материал сдан в фильмотеку... И только позже, в Москве, в редакции, ему объяснили: запретил военный цензор — катера новейшие, военная тайна.

Но через некоторое время был сделан фильм «Десятый удар. Карельский фронт». В этот фильм вошел эпизод действий торпедных катеров, отснятый Борисом Маневичем.

Оператор-танкист

Перед фронтовыми киногруппами Воронежского, Степного, Центрального, Западного и Брянского фронтов стояла труднейшая задача — передать масштабы и ход танкового сражения на Курской дуге. Десятки опытейших фронтовых операторов выполняли эту задачу. Среди них был и Ефим Лозовский.

До войны Лозовский работал оператором на Киностудии научно-популярных фильмов, увлекался техникой, придумывал разные приспособления для съемки в сложных условиях. И теперь Ефим мечтал снять танковую атаку камерой, установленной на башне боевого танка. В бою с брони танка незащищенный оператор, конечно, ничего не снимет — будет убит раньше, чем сделает первые кадры.

Лозовский придумал бронированный бокс для камеры, который укрепил к башне танка. В этом боксе установил киносъемочный аппарат. В поле зрения объектива — ствол пушки и часть правой гусеницы. Аппарат снабдил электромотором, а привод от него провел внутрь машины. Получилось, что оператор видит поле боя в смотровую щель и может включать аппарат в нужные моменты.

Утром должно было начаться большое наступление. Кинооператор Лозовский собирался испытать свое съемочное устройство.

В ожидании сигнала к атаке танкисты сидели на броне своих машин и с аппетитом хлебали из котелков горячий суп, который привезла походная кухня. Ефим, в кожанке и шлеме, завтракал вместе со своим экипажем. Говорили мало. Каждый думал о своем. Предстоял бой. Лозовский беспокоился: не откажет ли в бою аккумулятор, сработают ли контакты электропривода?

Ровно в шесть напряженную тишину нарушила артиллерия. Задрожала земля. Вдали, в расположении вражеских позиций, появились огромные шапки вздыбленной земли.

Экипаж «тридцатьчетверки» занял свои места. Оператор сел на место стрелка-радиста.

Артподготовка прекратилась так же внезапно, как и началась. В наступившей тишине прошипели, уходя в небо, три красные сигнальные ракеты. Танки рванулись вперед. Машина, в которой находился оператор, шла за головным танком. Ефим в левой руке держал контакт аппарата, правой — гашетку пулемета, из которого он должен был стрелять в случае необходимости. Позади оператора на коленях стоял заряжающий.

В смотровую щель Лозовский видел деревню. Из нее предстояло выбить гитлеровцев. В клубах дыма и пыли наши танки мчались на передовые траншеи противника. Ведя огонь из пулемета, Лозовский включил съемочный аппарат. Танки перевалили через немецкие окопы. В дыму метались фашистские солдаты. Впереди Ефим увидел противотанковую пушку. Она стреляла по нашим танкам. Аппарат снимал, когда снаряд из головного танка разорвался у самой пушки. Идущий впереди КВ своими гусеницами раздавил пушку вместе с прислугой. И этот эпизод был снят.

Зажглась контрольная лампочка — в аппарате кончилась пленка. Пришлось укрыться за ближайшим холмом и перезаря-

дить кинокамеру. Отснятую кассету Ефим заботливо спрятал в карман своей кожанки.

Выйдя из укрытия, танк помчался догонять своих. Первые машины уже ворвались в деревню. Гитлеровцы открыли по ним ураганный огонь. Танк с оператором мчался к деревне на предельной скорости. Ефим включил киноаппарат.

Вдруг мощный взрыв потряс машину. На спину навалился зарывающий — убит. Тут же второй взрыв. Из башни осел командир — тоже убит. Танк наполнился черным удушливым дымом.

— Прыгай!.. — крикнул механик-водитель, открывая нижний люк.

Они вывалились из люка и, прячась за горящей машиной, поползли к ближайшей бомбовой воронке. Только теперь Лозовский почувствовал резкую боль в животе — ранен. Он расстегнул кожанку, достал пистолет. «А кассета?.. Где она?» Он с ужасом обнаружил, что потерял кассету.

— Серегин, уходи! Я кассету выронил, надо найти, — прохрипел Ефим.

Он пополз назад, но от потери крови потерял сознание.

Лозовского вынесли санитары. И кассета с отснятой пленкой обнаружилась — ее нашли вблизи танка его товарищи из киногруппы.

Едва зажили раны, неугомонный Ефим Лозовский уже просился на фронт, в крупное танковое соединение. Попал в Тацинский танковый корпус. Снимал боевые операции корпуса, снимал армейский быт. Закончил войну с кинокамерой в руках на улицах поверженного Кенигсберга.

Радиограмма от фюрера

В разбитом Сталинграде Роман Кармен и Борис Шер с трудом нашли землянку оперативного отдела 10-й армии. Дежурный вручил Кармену телефонограмму от Рокоссовского. Было приказано немедленно выехать в расположение штаба 64-й армии генерала Шумилова.

— Что там, в шестьдесят четвертой?

Дежурный бросил сквозь зубы:

— Кажется, Паулюс сдается.

В те дни в Сталинграде все мечтали пленить Паулюса. И вот шумиловцы всех обскакали...

Через минуту операторы уже мчались по разбитому городу, ориентируясь по карте. По дороге увидели колонну машин. Впереди колонны — огромный серебристый «хорьх». Догадались: в

этой машине едет Паулюс. Обогнав колонну, погнали вперед. На карте был отмечен квартал и дом, где помещался штаб 64-й армии. Найти штаб оказалось нетрудно. Около дома стояла группа офицеров, поджидая пленных. Вскоре подъехала колонна немецких машин и машин сопровождения. Роман Кармен и Борис Шер стояли с камерами наготове.

Из серебристого «хорьха» вышел высокий худой человек в длинной, похожей на больничный халат немецкой шинели, мятой фуражке. С усталым растерянным видом осмотрелся. Светило яркое солнце — он жмурился, переминаясь с ноги на ногу. Потом, медленно ступая большими фетровыми ботами по хрустящему снегу, пошел к крыльцу. Часовой-автоматчик проводил его внимательным взглядом.

Это был командующий 6-й немецкой армией Фридрих Паулюс. Роман Кармен с волнением снимал идущего усталой походкой Паулюса. Он шел сутулясь, со страдальческим выражением на изможденном лице...

Медленно раздевшись в сенях, Паулюс вместе с генерал-лейтенантом Шмидтом и полковником Адамом вошел в комнату. На счастье наших операторов, комната была залита солнечным светом, можно было снимать.

На пороге Паулюс стал навытяжку, стукнул каблуками, поднял руку в фашистском приветствии и, щурясь от ударившего в лицо солнца, шагнул на середину комнаты. За столом сидел командующий 64-й армией генерал Шумилов, вдоль стен на лавках — штабные генералы и офицеры. Кивком ответив на приветствие, Шумилов жестом указал Паулюсу на стул. Тот сел. Чекая каждое слово, Шумилов сказал:

— Генерал-полковник, вы пленены шестьдесят четвертой армией, которая сражалась с вами от Дона до Сталинграда. Командование армии гарантирует вам воинскую честь, мундир и ордена.

Паулюс внимательно выслушал переводчика, склонил голову. Шумилов продолжал:

— Можете ли вы предъявить документ, удостоверяющий, что вы являетесь командующим шестой германской армией генерал-полковником Паулюсом?

— Я могу предъявить свою солдатскую книжку.

Паулюс достал документ и передал его Шумилову. Когда Паулюс расстегивал пуговицы своего мундира, рука его заметно дрожала. В комнате была напряженная тишина. Шумилов внимательно прочел документ, положил его перед собой на стол и снова поднял глаза на своего знаменитого пленника.

— Вы разрешите мне сделать важное заявление? — спросил Паулюс.

— Прощу, — отозвался Шумилов.

— Сегодня ночью, господин генерал, я получил по радио от моего фюрера сообщение, что произведен в чин фельдмаршала.

Шумилов легким кивком дал понять, что принимает заявление. И потом уже обращался к Паулюсу «господин фельдмаршал».

Лицо Паулюса изредка сводила нервная судорога. Первый полководец гитлеровской армии, сдавший фельдмаршальский жезл победоносной Советской армии, словно только сейчас в полной мере отдал себе отчет в том, какая трагедия постигла его войска и его самого. Тишину нарушал только легкий треск киноаппарата, фиксировавшего этот исторический эпизод.

Боевой экзамен

В июле 1943 года Бориса Шера перевели на Западный фронт. Он имел большой опыт воздушных съемок, поэтому его направили в 224-ю штурмовую авиационную дивизию, которой командовал полковник Котельников.

Дивизия готовилась к большой операции, и кинооператор знал, что придется лететь в самолете Ил-2 на месте стрелка. Усиленно готовился к этому полету: с инженером занимался изучением пулемета и обязанностей стрелка.

В июльский день после полудня полк, к которому был прикомандирован Борис, получил боевое задание. Оператор должен был лететь с молодым, но уже имеющим боевой опыт летчиком лейтенантом Старченковым. Перед отлетом, помогая Борису надеть парашют, Старченков сказал:

— Ну, капитан, идем на большие дела. Не подкачай.

Забравшись в кабину стрелка, Шер проверил пулемет, пристегнулся ремнями и положил на колени киноаппарат.

Загудели моторы — в воздух поднялись двадцать четыре штурмовика под прикрытием тридцати истребителей. Пока шли строем, Шер снимал боевую армаду, которая вскоре должна была нанести сокрушительный удар по вражескому аэродрому. Кончилась пленка, он начал перезаряжать камеру и в то же время зорко следил за хвостом самолета, чтобы не пропустить появление вражеского истребителя.

Самолеты уже подходили к цели, когда в шлемофоне прозвучало предупреждение:

— Внимание! Истребители противника!

Небо перечеркнули пунктиры трассирующих пуль. Истребители прикрытия завязали бой. «Идем на цель», — просигналил Бо-

рису легчик. Штурмовики, набрав высоту, стали пикировать на цель сквозь шквал зенитного огня противника.

Борис нажал кнопку своего аппарата и почувствовал, как вздрогнул самолет, освобождаясь от груза бомб. Выпустив вслед за бомбами реактивные снаряды, Старченков стал плавно выводить самолет из пике, а Шер не отрывал глаз от визира, продолжая снимать взрывы бомб и пожары внизу.

— Держись, капитан! Нас атакуют! — услышал он тревожный голос летчика.

Сунул камеру под сиденье и взялся за рукоятки пулемета. Фашист набрал высоту и зашел «илу» в хвост.

— Нас атакуют слева! — Борис поймал фашистский самолет в крестик прицела.

Прицеливаться и вести панораму за движущимся объектом — привычное дело для оператора. В тот момент, когда он старался держать «фоккер» в прицеле, он волновался, пожалуй, не больше, чем если бы снимал его длиннофокусным объективом.

Когда самолет стал достаточно крупным в прицеле, Шер нажал на гашетку, дал несколько коротких очередей. И тут с удивлением увидел, как «фокке-вульф» вспыхнул, выпустил шлейф черного дыма и отвалил в сторону.

— Молодец, капитан! — крикнул летчик.

Борис наблюдал за фашистским самолетом до тех пор, пока он не врезался в землю и не взорвался.

Больше никто не осмелился атаковать штурмовик Старченкова. Приземлились уже в сумерках. Кинооператор вылез на крыло самолета. Командир крепко обнял его:

— Ну, капитан! Выдержал боевой экзамен!

Он дал команду технику нарисовать еще одну красную звездочку на фюзеляже самолета. За сбитый самолет Борис Шер был награжден орденом Отечественной войны.

На посту

Второй Украинский фронт. Зима 1944 года. Корсунь-Шевченковская операция. Солдаты назвали ее «Малый Сталинград». Страшная распутица, мокрый снег, дороги раскисли.

Кинооператор Михаил Гольбрих находился в штабе фронта, отправлял в Москву отснятую киноплёнку. За это время наши войска ушли далеко вперед — не догнать.

На его счастье, неподалеку базировалась 6-я воздушная армия, которой командовал генерал-полковник Горюнов. Пешком, с аппаратурой, увязая в грязи, Михаил добрался до штаба авиаторов.

С просьбой помочь догнать наступающие части, а заодно снять с воздуха грандиозное сражение с окруженной группировкой Михаил обратился к командующему. Легких самолетов У-2 не оказалось. Они выполняли ответственнойшее задание — доставляли на передовую боеприпасы. Однако генерал посочувствовал:

— Могу дать вам свой самолет, но не больше чем на два часа. Уж извините, самому до зарезу нужен.

Гольбрих вылетел в Умань. Пролетая большую узловую станцию Котош, увидел множество брошенных немецких эшелонов с боеприпасами, танками, военным имуществом. Летчик нашел место для посадки. Сели. Помня о двух часах, которые были отпущены генералом, Михаил выскочил из самолета и побежал к станции. С ходу стал снимать все, что бросили немцы, поспешно отступая. Во время съемки удивился: станция совершенно пуста — ну ни одного человека! Мертвая станция. Решил все же заглянуть в станционный склад, авось там найдется живая душа. Открыл дверь — и действительно, стоит солдат. Он был на посту — охранял склад. Весь склад забит сахаром. Солдат очень обрадовался, увидев офицера:

— Товарищ капитан! Третий день на посту — склад этот охраняю. Изголодался совсем. Хлеба у меня нет, а сахар этот проклятый видеть не могу! Может, у вас хлеба кусок найдется?..

Хлеба у Михаила не оказалось, да и вообще никакой еды с собой не было. Капитан объяснил бойцу, что сейчас торопится и улетает, но пообещал на обратном пути хлеб привезти.

Прилетев, Гольбрих случайно встретил члена Военного совета 2-й танковой армии, с которым познакомился еще под Сталинградом.

— Хочешь снять интересный боевой киноматериал, добирайся к переправе. Наше наступление развивается успешно, там как раз переправляются свежие силы. Завтра они вступят в бой, — посоветовал генерал. Он дал Михаилу танк.

Танкисты очень помогли оператору. Он снимал из люка танка и из смотровой щели и саму переправу, и сосредоточившиеся войска, и бомбежку переправы тоже. Михаил спешил — самолет-то даден всего на два часа. Но все время, пока он снимал, из головы не выходил голодный солдатик — бедолага.

Буханку хлеба капитан раздобыл у танкистов и прямо на танке подкатил к самолету.

Приземлились на тот же самый пятачок, с которого недавно взлетали. Гольбрих бегом бросился на склад и отдал хлеб солдату. Тот аж слезу уронил — так расчувствовался. Стоит, прижимает к груди буханку, а из глаз слезы:

— Большое спасибо вам, товарищ капитан! Я ведь уйти не могу. Приказа нет пост этот оставить...

Михаил обнял парня, вспомнил тех, кому в глубоком тылу, в блокадном Ленинграде куска хлеба для поддержания жизни не хватило...

А солдатик-то этот молоденький — настоящий боец!

Еще один дубль

По разъезженной до невозможности дороге ехала грузовая машина с крытым кузовом. На глубоких выбоинах она переваливалась с боку на бок — того и гляди, опрокинется. В машине кроме шофера ехали два фронтных кинооператора, Иван Панов и Зиновий Фельдман. На фронте в это время было затишье, и начальник киногоруппы предложил операторам снимать работу тылов.

Вдруг машина дернулась, накренилась и остановилась.

— Опять застряла, чертова колымага, — зло пробурчал Иван и спрыгнул на землю.

Зиновий, ехавший рядом с шофером, уже стоял возле машины.

— Вань, смотри какой кадр, — почти благоговейно сказал Фельдман.

И Панов увидел: у сгоревшего дотла дома, у закопченной печной трубы сидел дед. Он был седой до белизны, даже брови выделялись двумя белыми полосками на смуглом, с глубокими морщинами лице. Его ладони, натруженные, заскорузлые, были сложены лодочкой. Он смотрел на руки и беззвучно шевелил губами.

Операторы подошли к старику.

Дед внимательно посмотрел на них, скрипучим голосом запричитал:

— Вот, фашисты, бусурманы проклятые. Деревеньку спалили. Людей побили. Хлебушек пожгли. Как жить-то теперь?.. — Он показал операторам в сложенных ладонях горстку полусожженных зерен.

Иван сказал:

— Надо снимать. — Он подготовил камеру, выбрал точку для съемки, опустил ее на колено. — Давай...

— Погоди, Вань, — остановил его Фельдман, — пусть он во время съемки что-нибудь говорит. Впечатление с экрана будет такое, будто он рассказывает зрителю о своей горькой судьбе.

Иван согласился.

— Дедушка, — попросил Зиновий, — вы вот так и сидите, только говорите что-нибудь.

Камера застрекотала, и Фельдман подал команду деду. Дед запричитал:

— Вот, фашисты, бусурманы проклятые. Деревеньку спалили. Людей побили. Хлебушек пожгли. Как жить-то теперь?..

— Стоп! Надо еще дубль. Как же я не ту диафрагму поставил? — недоумевал Иван.

Услышав звук работающей камеры, дед снова завел:

— Вот, фашисты, бусурманы проклятые. Деревеньку спалили. Людей побили. Хлебушек пожгли. Как жить-то теперь?..

— Стоп! Я бы еще разок снял, — виновато сказал Панов. — Расстояние неправильно выставил.

Как только заработала камера, дед зачастил:

— Вот, фашисты, бусурманы проклятые...

Панов наконец закончил съемку и пошел к машине.

— Иван, я сейчас... — Зиновий сел рядом с дедом. Помолчали. Потом спросил: — Дедушка, как думаете, когда война кончится?

— А кто же ее знает? И началась-то она, распроклятая, неожиданно-негаданно.

— Ну а в Библии-то что о войне говорится? — не унимался оператор.

— В Библии? — переспросил дед, подумал и уверенно сказал: — Знаешь, сынок, пока существует капиталистическое окружение, войны неизбежны!

Ошеломленный этой фразой, комсомолец Фельдман встал и пошел к машине, забыв попрощаться.

— О чем это ты с ним?

— Знаешь, Вань, этот старик вполне бы мог лекции по марксизму-ленинизму читать...

На прорыв

Снег. Много снега. Это даже не снег — снега... Полусожженная деревушка утонула в них. Из белого савана поднимаются немногие уцелевшие избы. Сквозь свист пурги докатывается тяжелый орудейный гул, мрачный, раскатистый. Мы здесь уже вторую неделю. Ждем, когда нас перебросят к партизанам. Мы — это мой друг оператор Николай Писарев и я, Семен Школьников. Но вылет все время откладывается.

Для большого документального фильма об освобождении Белоруссии надо снять боевые действия белорусских партизан. Без этих кадров не может быть фильма, потому что вся республика ведет героическую борьбу с немецкими оккупантами. И нам с Писаревым хочется как можно скорее попасть к партизанам.

Но вот наконец получено разрешение на вылет. Партизаны сообщили — площадка для приема самолета у немцев отбита. Мы с Николаем втискиваемся в маленькую кабину. У-2 спокойно та-

рахтит в темном небе. Вдруг очередь трассирующих пуль едва не срезала левое крыло нашего самолета. А мы беззащитны. Только переглянулись с Николаем, словно попрощались. У-2 скользнул к земле, выровнялся и понесся над самыми верхушками деревьев. Фашистский истребитель скрылся.

Вскоре мы увидели внизу желтые огни сигнальных костров. Летчик, сделав круг, посадил самолет на лесную поляну.

Мы на земле Белоруссии, в Ушачской партизанской зоне.

Нас окружают плотным кольцом партизаны. Они шутят, смеются. Нас удивляет их спокойствие. На Большой земле предупредили: в партизанском крае обстановка сейчас очень опасная.

Нас направили в бригаду Алексея Федоровича Данукалова. Размещается бригада в деревне Великие Дольцы. Алексей Данукалов — еще молодой человек, волевой, быстрый, цепкий.

— Снимайте, что хотите, — говорит комбриг. — Вот с Зюковым держите связь. У него в отряде всегда много боевых дел.

Утро уже по-весеннему солнечное. С небесной выси доносятся трели жаворонка. Тихо, мирно. Какая там война?! Идем по лесной дороге. Деревушка. На огородах крестьяне роют ямы — прячут свои немудреные пожитки. Почему люди покидают деревню? Ведь даже признаков приближения немцев нет.

Ближайший лес ожил, зашумел — прямо цыганский табор. Люди готовят еду, доят коров, стирают белье. Но вот со стороны солнца появляется самолет — и лес затаился. По самолету не стреляют — не фронт.

Самолет сделал круг и сбросил листовки. Покачиваясь, они медленно опускаются в лесную чащу, белыми птицами рассаживаются на голых ветках деревьев. Содержание их известно: белорусы, братья и сестры, не оказывайте сопротивление «законным властям». Едва скрылся немец-пропагандист, как появилось звено «юнкерсов». Их «агитация» оказалась более весомой: бомба за бомбой ложилась на улицы, во дворы оставленной деревушки. Съемку мы вели среди грохота разрывов и пламени пожара. Это были горькие, жестокие кадры разрушения.

На передовую выбраться так и не успели. Передовая — это кольцо обороны вокруг партизанской зоны. Там шел бой. Однако к вечеру все притихло. Потемневшее небо перечеркивают немецкие осветительные ракеты. В этот день был убит Зюков...

Партизанские разведчики взяли «языка». Им оказался ефрейтор-власовец. Власовцы воюют против партизан. В моем сознании это никак не укладывалось.

— Ведь свой же, русский! — говорю я Николаю.

Писарев, всегда немногословный, бросает только:

— Сволочь!

Одиннадцатого апреля 1944 года немцы нанесли мощные удары по всему партизанскому району Полоцко-Лепельской зоны. Против партизан действовали пехотные дивизии, танки, артиллерия и авиация. Конечно, обо всем этом в то утро мы еще не знали, когда шли на передовую.

Мы уже давно слышим трескотню пулеметов, винтовочную стрельбу. Грохот нарастает, становится ближе.

— Чуете? Жмут! — говорит бывалый партизан, который ведет нас на передовую.

Я улегся за холмиком рядом с пулеметчиком. Из дальнего кустарника появляются фигурки. Немцы! Они неприцельно, на ходу, палят из автоматов. Грохоту много, но и только. Партизаны ответного огня по немецким автоматчикам не открывают.

Мы с пулеметчиком держим фашистов на прицеле. Только партизан смотрит сквозь прорезь прицела пулемета, а я через визир кинокамеры. Киноаппарат и пулемет заработали почти одновременно, когда по всей линии обороны открыли огонь пулеметные расчеты. Наступающая цепь сломалась. Кто-то упал, кто-то по инерции продолжает бежать, кто-то повернул назад, спасаясь от партизанских пулеметов. Вдруг тишина. Почему?

Опустились сумерки. В тяжелых, набухших от влаги шинелях возвращаемся в лагерь. Горящий лес бросает отсветы на низко плывущие облака. Эта картина свинцовой тяжестью ложится на душу...

Ближкий взрыв сорвал нас с постелей. Домишко качнулся, жалобно звякнули оконные стекла. Полуодетые, схватив кинокамеры, мы выскочили на улицу. На востоке небо чуть розовело. Утренний холод пронизывал до озноба.

И тут шум моторов и резкий скрежет заставили меня оглянуться. Я увидел танки. Первая машина, развернувшись, своротила угол дома. Ее широкие траки безжалостно смяли еще голые и беззащитные фруктовые деревья. Немецкие танки выползли на деревенскую улицу. Люди поспешно покидали свои дома и бежали вниз, к реке, за которой темнел спасительный лес. Мы побежали со всеми.

Пушки танков в упор расстреливали бегущих. Осколки с визгом резали воздух.

Укрываясь за домами, сараями, мы снимали ползущие стреляющие танки. А положение между тем складывалось нешуточное. Гитлеровцы заняли деревню. Партизаны начали отходить на новые позиции. Мы заняли оборону в районе озер Тетча и Березовое. Здесь в жестоком ночном бою удалось разгромить карательный отряд и даже захватить трофеи: минометы, пулеметы, автоматы.

Тогда немецкое командование решило крупными силами пехоты и танков нанести удар с юга. С утра до вечера бомбежка. Гул от разрывов бомб стоял непрерывный. Мы с Николаем много снимали. И вместе со всеми держали оборону.

Кольцо окружения сжималось. Партизанам не хватало оружия и боеприпасов. Поэтому все недостающее добывали в бою. Вчера я снимал орудие, которое партизаны сняли с подбитого немецкого танка. Его поставили на самодельный лафет, приладили к нему колеса от сеялки. Это было здорово.

Гитлеровцы под прикрытием артиллерии вышли к реке Шоша. Партизаны, экономя боеприпасы, подпустили их на близкое расстояние и встретили дружным огнем из пулеметов и автоматов. Бой длился около часа. Бросив на поле боя убитых и раненых, враг отошел.

И снова бой, долгий и тяжелый. Партизаны сражались самоотверженно, героически. Но с каждым днем, даже с каждым часом положение становилось все более тяжелым. Ряды партизан таяли. Все больше было раненых. В отряде один врач и несколько санитарок. Им помогали, как могли, местные жители. Нет медикаментов, бинтов. Эвакуировать раненых на Большую землю невозможно.

Иногда из-за линии фронта прилетали самолеты. У каждого на буксире было по два грузовых планера. Самолеты, не имея посадочной площадки, отцепляли планеры и, развернувшись, улета-ли. А планеры садились. Они доставляли боеприпасы и немного медикаментов. Партизаны быстро разгружали планеры и тут же сжигали их.

Однажды с Большой земли пришла радиограмма: «Зажгите костры по всему переднему краю. Поможем с воздуха». И костры зажглись. Ночь выдалась темная. Ждали. Наконец послышался отдаленный гул. Сначала мы увидели вспышки, затем донеслись и звуки разрывов. Горизонт был охвачен заревом.

А днем в небе появилась фашистская авиация. На израненную землю снова посыпались бомбы. В ушах звенело, стоял такой грохот, что не было слышно собственных голосов. Ударила вражеская артиллерия. Надо было предпринимать решительные меры.

К исходу дня 1 мая был получен приказ: прорываться из окружения. Прорываться решили в северо-западном направлении на участке железной дороги Полоцк—Крулевщина. Из добровольцев были сформированы штурмовые группы. Все ждали наступления темноты.

И вот выступили. Бесшумно идут колонны партизан, за ними обозы и тысячи мирных жителей. В ночь на 3 мая к участку прорыва подтянулись повозки с ранеными. Всю ночь партизанские бригады пробивались через фашистские заслоны. На рассвете вышли к деревне Рожновщина.

Деревня пуста. Вдруг я слышу отчаянный детский плач! Вбежал в избу — на полу сидит малыш. Зовет мать. Огляделся — никого. Я протянул крохе кусок сахара. Что дальше? Куда девать малыша? Выручил Вася Стрёмович — парень, скорый на решения. Он ворвался в дом с ручным пулеметом, долго не размышлял — сорвал с себя куртку, завернул в нее малыша, выскочил на улицу...

Сделали привал в лесу. Хоть и весна, но сыро, холодно. Костров не разжигали. Люди, выбившись из сил, падали на землю и тут же засыпали. Лошади грызли ветки с набухшими почками.

Весь день дождь. Немцы бомбят лес, с бреющего обстреливают все, что можно обстрелять. Идем по болоту. Артиллерии по топи не пройти — орудия пришлось взорвать. В сумерках двинулись в сторону большака Ушачи — Кубличи. Отряд шел всю ночь. На рассвете остановились в редком лесу на высотке. Заняли круговую оборону.

Первую попытку прорваться предприняли утром, но она успеха не имела. Группу прорыва смяли танки противника. По радиации наш командир связался с другими отрядами. Договорились в четырнадцать тридцать начать разрыв вражеского кольца. Командование рассчитывало на внезапность дневной атаки.

Партизаны пошли на врага врукопашную. И фашисты не выдержали, побежали.

Мы продвигаемся по редкому леску. Впереди одинокий домик. Опережая партизан, я со всех ног бросился к домику, прислонился к стене, включил киноаппарат. Вдруг несколько партизан упали на бегу, другие залегли. Над моей головой протрещала пулеметная очередь, еще одна... Да ведь на чердаке немцы засели!

— Эй, оператор, поджигай дом! — кричат мне свои.

Легко сказать. Я положил камеру на землю и стал осторожно продвигаться вдоль стены к входной двери. В кармане нащупал спичечный коробок. Распахнул дверь, дал в темноту короткую очередь. Никто огнем не ответил.

Потолок обит фасонными досками. Над столом висит керосиновая лампа. Я осторожно влез на скамью и снял лампу. Керосина много. С силой подбросил лампу в потолок. Чиркнул спичкой. Пламя вспыхнуло яркое, быстрое.

Я выскочил из дома, прижался к стене. С чердака повалил густой черный дым. Вражеские пулеметчики высунулись из чердачного окна и тут же попали под партизанские пули.

В небо взлетают белые ракеты. Одна за другой. Мертвым светом освещают пространство перед нами, которое нам предстоит преодолеть под огнем противника. Я понимаю: прорыв — это когда надо встать и идти навстречу смерти. Страшно? Не знаю. Мы

все так устали за эти дни, что чувства, которые всегда тревожат человека, притупились.

В двадцать три часа тридцать минут мы поползли по вспаханному мокрому полю. До шоссе оставалось совсем немного, когда в небо взвились ракеты. В тот же миг заработали пулеметы, прижав нас к земле. В белый свет ракет ворвались невесть откуда взявшиеся две белые лошади. Они мчались по дороге с развевающимися гривами. Это было фантастическое зрелище. Даже гитлеровцы на какое-то мгновение прекратили стрельбу. И тогда первая группа партизан перемахнула через шоссе.

Я бежал вместе со всеми, зажав в руке перепачканный грязью киноаппарат. Силы мои таяли. Я бежал все медленнее и наконец перешел на шаг. Странное чувство абсолютного безразличия вдруг охватило меня. Вокруг, как светящиеся шмели, летали трассирующие пули. Что-то крича, партизаны обгоняли меня. Кругом все рвалось и грохотало. Мучительно хотелось пить. Я вдруг увидел себя на проселочной дороге, которая вела в лес. До леса — рукой подать, но я упал перед лужицей и стал с жадностью пить... Сзади еще слышались выстрелы.

В глухой влажный бор, в котором мы оказались, поодиночке и группами сходились партизаны. Все были настолько измотаны, что казалось, уже никакая сила не заставит их продолжить путь. А впереди лежал заблокированный немцами большак...

Прозвучал приказ строиться по одному в затылок. Партизанская нитка растянулась на добрый километр. Нудный морозящий дождь не перестает ни на минуту. Мы опять идем по болоту. Малейшее отклонение от тропы грозит гибелью. Партизанская цепочка время от времени останавливается. Командиры уточняют маршрут. Мы шагаем из последних сил.

Наконец лес начал редеть. Послышался шум автомобильного мотора. Подбираемся ближе к шоссе и, убедившись, что оно пустынно, разом перемахиваем на другую сторону. Левее раздаются выстрелы. Там тоже прорываются наши. Бежим долго, стараясь как можно дальше оторваться от шоссе. Потом переходим на шаг. Ветер качает темные кроны деревьев.

Лес кончился. Пересекли поле и вышли к деревне. Точнее, к тому, что от нее осталось. У обгоревшей печной трубы сидит старик. Его длинную белую бороду треплет ветер. По всему чувствуется, что он ждал гостей из леса. Мы здороваемся. Вместо ответного приветствия он спрашивает:

— Все прорвались?

Кто сейчас может сказать что-то определенное? Молчим. Дед тяжело вздыхает. Потом кряхтя ковыляет куда-то за трубу. Появляется с большим чугуном горячей картошки:

— Проголодались небось. Поешьте, что Бог послал...

Каждому досталось по две картофелины. Обжигаясь, с жадностью проглатываем их прямо с кожурой.

— Ждать еще наших? — спрашивает дед.

— Засветло навряд ли, — отвечаю я.

Дед согласно кивнул и уселся на прежнее место. А мы отправились дальше — в Чашники, а оттуда самолетом на Большую землю.

Станция Лиски

Это было зимой 1944 года. Кинооператор Михаил Гольбрих получил задание отправиться под Харьков, в 6-ю армию. Она находилась между Изюмом и Барвенково. Хорошо оснащенная, армия готовилась к прорыву на центральном направлении, чтобы освободить Харьков.

Недалеко от Воронежа есть большая узловая станция Лиски. Кинооператор и представитель политуправления фронта из отдела агитации и пропаганды узнали, что скоро отправится эшелон по нужному им маршруту. Они забрались в товарный вагон с каким-то оборудованием и ждали отправления.

Пути узловой станции Лиски были тогда забиты эшелонами с вооружением, боеприпасами — всем, в чем нуждался фронт. К вечеру, когда солнце уже заходило, на станцию Лиски неожиданно налетели немецкие бомбардировщики. Их было много, они шли волнами.

Это была жесточайшая бомбежка. Офицеры выскочили из вагона и стали пробираться между колесами составов. Камеру Михаил все время держал в руках, готовый к съемке. Петля в хаосе взрывов и огня, они все-таки благополучно выбрались из этого ада. На станции горели цистерны, рвались снаряды — треск, пламя. Гольбрих снимал.

Тут он почувствовал сильный удар в плечо. Оператор не удержал аппарат. К счастью, камера упала в снег и не разбилась. Первая мысль: неужели ранен? Михаил нагнулся за аппаратом и увидел перед собой военного с совершенно разъяренным лицом и направленным на него пистолетом. Офицер был в таком бешенстве, что ему ничего не стоило пустить пулю в кинооператора.

Михаил понял: его приняли за шпиона! И неудивительно: все кругом горит, взрывается, грохочет, самолеты сбрасывают бомбы, а человек с киноаппаратом снимает всю эту жуть. Не иначе заброшенный диверсант.

Тут к офицеру подоспели двое солдат. Они мигом сорвали с Михаила капитанские погоны, отобрали табельный пистолет и кинокамеру. Офицер потребовал документы. Гольбрих возмутился:

— На каком основании? Кто вы такой?

— Военный комендант станции, полковник. Вы арестованы. Оператора отвели в подвал и заперли. Несколько часов он провёл в полном одиночестве в темном сыром подвале.

В это время офицер из политуправления фронта стал разыскивать своего спутника, обратился к коменданту станции:

— Не видели? Молодой человек, капитан, небольшого роста — фронтовой кинооператор.

— Ваш кинооператор арестован, — отвечал комендант. — Мы должны выяснить, кто разрешил ему снимать воинские эшелоны, да еще во время бомбежки.

— У него есть документ, выданный политуправлением фронта и подписанный генералом Галаджевым. Там сказано, что капитану Гольбриху разрешено снимать все объекты на фронте и в тылу. А вы его в кутузку!..

Михаила освободили, все вернули. Но комендант все же не удержался:

— Я понимаю, на передовой кинооператор нужен. Но здесь? Зачем снимать, как гибнут от немецких бомб наши люди?.. Зачем снимать людскую беду?

— Товарищ полковник, — возразил ему Гольбрих, — я снимаю войну. И эту бомбежку заставила снимать моя профессиональная честность. Война — она ведь разная. На передовой и в тылу. Кинохроникеры должны снимать для истории все. А если мы будем снимать только поля сражений, это будет лишь полуправда. История нам не простит.

Полковника эти доводы не убедили.

Прошло время. Гольбрих работал на Киевской киностудии. Режиссер Александр Петрович Довженко приступил к работе над большим документальным фильмом «Битва за Советскую Украину». Давая задание операторам, Александр Петрович говорил:

— Очень вас прошу: будете снимать на земле Украины — снимайте как можно больше страданий человеческих. Украину в огне, обездоленных людей. Всеобщее горе людское — горящие села, несчастных женщин, детей, стариков. Все, что терзает человеческую душу...

Михаил вспомнил коменданта станции Лиски и еще раз мысленно возразил ему. Теперь уже вместе с режиссером Довженко.

Над рейхстагом знамя

Восьмой день идут бои в Берлине. Несмолкаемый гул стоит над городом. По улицам нескончаемым потоком двигаются танки, артиллерия, машины, люди. Восьмой день не видно неба.

Вместо него над головами плотные тучи дыма и пыли. Восьмые сутки солдаты без сна.

Бои — день и ночь, ожесточенные, упорные. Каждое мгновение кого-то вырывает смерть, и он остается навсегда на чужбине.

Город подготовился к уличным боям: перекрестки перекрыты баррикадами. Угловые дома, подъезды, подвалы превращены в доты. Бои идут в воздухе, на земле, под землей. За каждый метр, за каждое окно дома.

Со злобой и остервенением дерутся гитлеровцы, как загнанные в ловушку звери, которым уже некуда деваться. Иногда кажется, что все кончено, сопротивление сломлено, дом, улица, район очищены от врага, но гитлеровцы чердаками, тоннелями метро опять выходят в тыл советским частям.

Двадцать фронтовых кинооператоров продвигаются с передовыми подразделениями, снимают величайшую битву. Уже отсняты тысячи метров пленки, а события все нарастают.

Танкисты ведут бои на улицах, непосредственно примыкающих к имперской канцелярии. Какие массивные, угрюмые, тяжелые дома в этих кварталах. Подъезды забаррикадированы. Окна заложены кирпичом.

Над крышами домов бушует пламя. От бомбовых ударов, артиллерийской канонады вздрагивают, растрескиваются, рассыпаются стены. Улицы завалены щебнем, запружены подбитыми машинами, орудиями. Все дымится, горит.

Танкам продвигаться трудно. Они ползут, расчищая себе путь, подминая все что можно гусеницами, и с ходу, в упор бьют из орудий и пулеметов по окнам, подъездам, чердакам, откуда гитлеровцы засыпают их фаустпатронами. Как уязвимы здесь даже самые маневренные «тридцатьчетверки»!

Вспыхивает то одна, то другая машина. Танкисты едва успевают выпрыгивать из них. А кто-то и не успевает... На место подбитых из переулков выходят новые машины, упорно пробиваются вперед.

В подъезде, в куче какого-то хлама лежит оператор Иван Панов. Отказал аппарат. Возится с ним. Недалеко, за грудой дымящихся кирпичей — пулеметчик, возбужденный боем, седой от пыли. Он сидит, как китаец, подобрав под себя ноги, и, отчаянно матерясь, разворачивая ствол пулемета то вправо, то влево, строчит по окнам противоположного дома. Оттуда отвечает немец. Пули цокают по штукатурке стен — пулеметчик становится все белее и белее. Рядом с ним лежит его убитый товарищ... Панов торопится заснять дуэль пулеметчиков, но аппарат заедает, отказывает.

Через пролом разрушенной стены, как из переулка, тяжело перевалив через завал, выползают три наших танка. Взрыв — и один танк горит.

В окне противоположного дома — гитлеровец. Он нагло свешивается с подоконника с очередным фаустпатроном. Вспышка. Взрыв. Горит второй наш танк!

Из открывшихся люков машин друг за другом вываливаются дымящиеся клубочки, скатываются на землю и катятся по улице в подъезд ближайшего дома.

Идущий следом третий танк разворачивает на немца орудие. Выстрел. Грохот. Окно застигает облако дыма, обваливается стена...

В темноте подъезда слышен разговор:

— Двумя следующими машинами — по этой улице!

— Насколько, товарищ капитан, продвигаться?

— Пока не подожгут!

— Есть!

И через минуту из «переулка» выходят две боевые машины. Развернувшись, с ходу начинают вести огонь по окнам домов.

Группа пехотинцев пересекает двор и мгновенно где-то скрывается. На улицах пехоты почти не видно. Она передвигается из дома в дом дворами, чердаками, подвалами.

К концу дня кинооператор Панов перебрался в район зоопарка. Ожесточенный бой идет и здесь. Звери брошены, уже много дней их некому и нечем кормить. До них ли сейчас?..

Вечером кинооператоры встречаются на базе.

— Ты где был? — спрашивают друг друга.

— В районе пятой ударной.

— А войска третьей ударной вышли к рейхстагу.

Панов отправляется в район третьей ударной, в знакомый уже стрелковый корпус Переверткина. С генералом встречается неожиданно, в одном из подъездов. Докладывает:

— Приказано, товарищ генерал, снять рейхстаг.

— Что ж, — устало отзывается тот. — Иди снимай!.. — Осушившееся, посеревшее лицо не спавшего много ночей человека, воспаленные, лихорадочно горящие глаза, брови, щеки, виски в известковой пыли.

Закончив разговор с офицерами, генерал отвел Панова в сторону и уже по-дружески разъяснил:

— Пытались взять рейхстаг еще на рассвете, с ходу — не получилось. Сейчас подбросили артиллерию, танки, продолжаем атаковать. Две небольшие группы из батальонов Неустроева и Давыдова ворвались в рейхстаг, ведут бой внутри. Остальных фашисты

успели отсесть огнем. Залегли метрах в ста пятидесяти — не могут подняться! Шестого связного посылаю — не возвращаются! Как будешь снимать? Дам тебе провожатого, пробирайся пока к Шпрее.

От дома к дому, из подъезда в подъезд, проломами в стенах, дворами, где ползком, где короткими перебежками пробирались по Альтмаобитштрассе к реке. В подземельях сталкивались с берлинцами. Уныло безмолвные, безучастные, как каменные изваяния, укутанные шальями, пледами, одеялами...

Вот пробитая снарядом стена магазина. Около нее люди с тюками, связками обуви, пачками мыла — растаскивают товары. Прямо на киноаппарат идет, согнувшись под тяжестью кусков мануфактуры, пожилой интеллигентный немец. У другого дома группа немцев разделявает кухонными ножами, растаскивает по кускам убитую лошадь. Киноаппарат фиксирует и эту сцену.

Около уцелевшей каким-то чудом водопроводной колонки — толпа: дети, старики, старухи с чайниками, кастрюлями, ведрами. Доносятся тревожные голоса:

— Вассер! Вассер!

Вода! Без воды не проживешь.

Совершенно пустую площадь под градом пуль пересекает сухая, слегка прихрамывающая старуха, как приведение, как сама смерть. Панов снял и ее.

К перекрестку подошла «катюша». Залп — море огня, грохот гулких разрывов. Когда пыль осела, оператор увидел через визир камеры выброшенное кем-то из окна привязанное к палке белое полотнище.

Из подвалов, трусливо озираясь, вылезают, карабкаясь через завалы, гитлеровцы с поднятыми руками, ошалевшие, полубезумные. Перестрелка прекратилась. Пользуясь удобным моментом, Панов с провожатым пересекают площадь и через несколько минут оказываются на набережной у моста Мольтке. Отсюда орудия прямой наводкой бьют по рейхстагу.

Угловой дом полон артиллеристов. Панов спрашивает: как перебраться через мост к рейхстагу?

Смеются:

— Прямехонько, товарищ капитан!

— А коли всерьез, — добавляет пожилой сержант, — держитесь с нами. Нам ведь тоже туда!

Все спускаются в подвал. Артиллеристы предлагают холодное консервированное молоко. Офицер с погонями старшего лейтенанта говорит солдатам:

— Через пять минут артналет для нас. Под его прикрытием будем продвигать вперед два орудия.

Артиллеристы дружно выгаливают на набережную две пушки и катят их к мосту. Потом, уже под ответным огнем врага, в облаке дыма и пыли почти несут их на руках через мост.

Прячась за щитами орудий, кинооператор преодолевает мост и уже на той стороне реки, плотно прижимаясь к земле, ползет по изрытой снарядами площади к рейхстагу. Взрыв! Его осыпает песком и горячим щебнем. Панов укрывается под стальным брюхом подбитого танка. Локти, колени в крови, сердце готово, кажется, выпрыгнуть из груди.

До рейхстага не больше двухсот метров!

— Он? — многозначительно спрашивает солдат-проводящий.

— Он! — отвечает Иван.

— Вот он какой!.. Закурить бы теперь, товарищ капитан.

Хочется «схватить» на пленку огромное мрачное здание рейхстага, но просматривается оно из-под танка плохо. Все пространство впереди завалено деревьями, подбитой техникой, мешками с песком, какими-то ящиками, мотками проволоки.

В ближайшем доме сохранились балконы на втором и третьем этажах. Вот бы куда пробраться! До дома метров двадцать, но кругом крошечный ад. Все дрожит, гудит. В воздух взлетают вырванные с корнями деревья, стены рушатся. Порой кажется, что раскалывается и падает само небо.

Вот падает один из знакомых артиллеристов, другой, третий. Расчеты, подбирая раненых товарищей, продолжают вести по рейхстагу огонь прямой наводкой.

От рейхстага бегут два солдата, видимо, связные, которых ждет генерал. Вот они уже совсем рядом, и вдруг из какого-то колющего в упор по ним автоматная очередь...

Выждав удобный момент, Панов все же добирается до дома с балконами. Рейхстаг теперь как на ладони. Огромный, черный от копоти, массивная, тяжелая колоннада, лестницы, разбитый бомбами купол. Окна заложены кирпичом. Оставлены только бойницы. Из них тонкими струйками выползает дым...

Панов решил поискать новую точку для съемки. Поднялся на третий этаж, а там у окна группа немецких автоматчиков, пулеметчик и фаустники... Кубарем скатывается по лестнице вниз, к артиллеристам.

Темнеет. Снимать нельзя. Но какая-то непреодолимая сила гонит вперед, за новой волной штурмующих. Над головами проносятся снаряды, грохочет артиллерия. От частых взрывов становится светло. И вдруг разносится раскатистое:

— Ура-а-а!!!

Пошла пехота. Вспышки разрывов словно мечутся из конца в конец площади, выхватывают из темноты группы бегущих к рейхстагу солдат...

Ночь уже на исходе. Небо над рейхстагом начинает светлеть, становится рыжеватым. Развеялись дым и пыль ночного боя. Вот оно, поле страшной битвы.

— Много нашей братвы здесь осталось, — с горечью роняет солдат-проводной. — Сделали свое дело — и лежат!

Панов наводит киноаппарат на рейхстаг. Хорошо видны широкие каменные ступени, тяжелые входные двери. Все здание посеченное, избитое. Объектив скользит по стенам и колоннам вверх...

И вдруг на крыше, за карнизом фронтона, у скульптурной группы, колыхнулось красное полотнище! Как пламя, взметнулось оно на ветру.

Раннее утро 1 мая. Над рейхстагом Знамя Победы.

Русский японец

Дальневосточная военная кампания официально длилась 24 дня, а боевые действия практически вдвое меньше. Военный кинооператор Сергей Киселев попал во фронтовую киногруппу Забайкальского фронта, действовавшего на западной границе Маньчжурии. Командовал фронтом маршал Родион Яковлевич Малиновский. Киногруппа вместе с танкистами 6-й гвардейской армии преодолела Хинганский хребет. Громя японскую Квантунскую армию, советские войска овладели столицей Маньчжурии Чанчунем.

Вперед продвигались в тяжелейших условиях по труднопроходимой местности — пыльной ковыльной равнине. Пыль от сотен машин застилала глаза, забивала рот и нос, дышать было нечем. Видимость плохая, но кинооператоры работали, и работали много. Потом попали в полосу ливней. В распутицу по полевой дороге, вернее, по бездорожью свободно продвигались только танки и тягачи.

Наступление войск проходило в условиях упорного сопротивления врага. Японцы переходили в контратаки и отбрасывали наши части на исходные позиции. Несмотря на полное господство в воздухе советской авиации, японские бомбардировщики все же прорывались и бомбили наши боевые порядки. Войска несли потери от пулеметчиков-смертников, замурованных в дотах, прикованных к пулеметам цепями. Город Чанчунь, где находился штаб Квантунской армии, японцы защищали отчаянно.

После сдачи города и восстановления Чанчуньского аэропорта в 6-ю гвардейскую армию прилетели известные кинорежиссеры Александр Зархи и Иосиф Хейфиц. Они снимали полнометражный документальный фильм «Разгром Японии».

Фронтальная киногруппа старалась снимать все, вплоть до мельчайших деталей, — это было архиважно для будущего фильма.

Сергей Киселев получил задание отправиться в расположение частей 8-й Революционной армии Китая и снимать ее действия. Армия вела партизанскую войну в тылу японских войск, все время была в движении. Попробуй найди ее, тем более что радиосвязи с ней не было. Но Сергею повезло: под Mukденон он попал в 8-ю Революционную.

Китайские солдаты встретили советских операторов сердечно и радостно. Гладили боевые ордена и медали, откровенно ими любовались. Даже просили снять фуражку, чтобы погладить звездочку на околыше...

На второй день после капитуляции Японии группа Сергея Киселева оказалась в двадцати километрах от Чанчуна, около буддистского монастыря. Монастырь располагался в живописнейшем месте среди невысоких гор. Настоятель тепло принял советских офицеров, разрешил снимать свою обитель.

Часть построек монастыря была разрушена, но старинные пагоды, позолоченные фигуры Будды, изумительные орнаменты у входа в главный храм, массивные металлические драконы, керамические фигурки животных и птиц по коньку крыши хорошо сохранились. Настоятель попросил написать как бы «охранную грамоту» с обращением к советским солдатам, чтобы они бережно отнеслись к этому памятнику древности.

Провожая кинооператоров, монах предупредил: километрах в пяти от монастыря находится танковая часть японцев.

— Будьте осторожны, — волновался настоятель. — Вас могут схватить, убить!

Сергей Киселев на правах старшего решил снимать в «логове врага» — ведь капитуляция подписана. Вскоре группа подъехала к огороженной колючей проволокой части. Ворота оказались открытыми настежь. Но по бокам стояли раздетые до пояса — жара невыносимая! — два солдата с винтовками.

Когда офицеры вышли из машины, японцы четко взяли на караул, выбросив винтовки от бедра в сторону. Один солдат тут же позвонил по телефону. Вскоре появилась пожилая японка — переводчик. Села в машину, и операторы подъехали к просторной палатке. Из палатки вышел стройный седовласый японец. На нем была рубашка без погон, галифе, на ногах сапоги. Первой загово-

рила переводчица, но он перебил ее и неожиданно сказал по-русски совершенно без акцента:

— Здравствуйте господа. Добро пожаловать. Извините. Командира нет. Я начальник штаба и замещаю его. Жду вас с утра.

Наши офицеры были в недоумении. Кто мог сообщить о них японскому генералу? Не настоятель же монастыря!

— Готов передать вам военную технику, господин капитан, — обратился японец к Сергею Киселеву.

— Извините, господин генерал. Вы, верно, приняли нас за представителей советского командования. Но мы — фронтовая киногруппа. Снимаем фильм. Если разрешите, господин генерал, я снял бы вашу технику, танки, солдат.

— Вот как? Для меня это полная неожиданность. Мы всю ночь готовили технику для сдачи вашему командованию. Все машины исправны, на ходу. Желаете снимать — пожалуйста! Но, может, сначала пообедаете со мной?

Офицеры сели на мягкие шерстяные валики за длинный низкий стол. Генерал хлопнул в ладоши — молодые симпатичные японки в кимоно моментально накрыли стол, принесли на подносах закуски, вино, фрукты.

Наполнили бокалы. Хозяин произнес тост:

— За искусство кино и за вас, господа офицеры!

Сергей Киселев поинтересовался: откуда генерал знает русский язык? Оказалось, он учился в Лондоне, в университете, на русском отделении, потом практиковался в Париже — там много русских. У него был русский гувернер. В Токио он окончил военную академию, тоже русское отделение.

— Вас специально готовили для работы на оккупированном Японией Дальнем Востоке?

— Да!

Генерал держался свободно, сказал, что любит русскую литературу — Пушкина, Льва Толстого, ему нравятся стихи Сергея Есенина. Киселев спросил: чем займется генерал после того, как сдаст военную технику советскому командованию? Ответ прозвучал как разрыв гранаты среди щебета птиц:

— Как только я выполню приказ микадо, сделаю себе хакари.

После долгого замешательства офицеры наперебой заговорили о прелести жизни, о том, что человек образованный всегда найдет свое место... Но генерал, уже с каменным лицом, заявил:

— В душе я против капитуляции. Нам надо было сражаться до конца. Но я обязан подчиниться императору.

День клонился к вечеру, поэтому кинооператоры поспешили на съемку. В широкой ложине, окруженной лесом, стояли примерно триста танков. Все машины были тщательно очищены от грязи, в любую минуту могли вступить в бой — так японцы подготовили их к сдаче советскому командованию.

Прощаясь с «русским японцем», уже и думать забыли о его экстравагантном намерении — наверное, это все-таки шутка.

Недели через две Сергей Киселев опять оказался в Чанчуне. Военный комендант города рассказал ему: танки и оружие приняты как трофеи, а начальник штаба, генерал, сделал себе характеристику...

НЕМЦЫ О РУССКИХ





Разыскивая не новую, а единственную правду о войне, надо больше прислушиваться не к кликушествующим разоблачениям, а к свидетельствам очевидцев, документам из спецархивов, скрытым от нас до последнего времени, содержание которых не всегда соответствует официальным версиям.

В этом контексте и следует рассматривать предлагаемый читателю уникальный дневник неизвестного немецкого офицера. Дневник обнаружил в полусгоревшей машине зимой сорок второго года советский солдат. Мы не знаем дальнейшей судьбы автора дневника, ибо записи заканчиваются осенью сорок первого года, задолго до того, как он попал в руки советского солдата Федота Баскакова. Может быть, автор погиб в тех осенних боях под Ельней и Брянском? Может быть, замерз в подмосковных снегах, разделив судьбу сотен тысяч своих товарищей? Может, умер в нашем плену? А может быть, выжил, пройдя все круги военного ада? Все может быть. Мы не знаем и дальнейшей судьбы сержанта Баскакова, нашедшего дневник. В том же сорок втором году данные о нем обрываются в одном из тыловых госпиталей. И в этом высшая, хотя и чрезвычайно, до обыденности простая правда и трагедия войны.

Дневник затрагивает очень короткий срок победоносного шествия немцев на восток. Они тогда были заняты собственной войной, уверенные в непобедимости Германии; думали только в критериях скорой победы.

Дневник не предназначен для посторонних глаз, стиль его совершенно свободен, бесстрастен. Автор, судя по манере письма, — человек холодного, прагматического ума, не склонный к эмоциям. Здесь нет литературщины, а голая фотографичность отображаемых событий. Но это как раз очень важно прочитать, прежде чем окупиться в животрепещущие, психологически-эмоциональные откровения второго дневника — лейтенанта Бранда.

Также неизвестна судьба Бранда. Его дневник из сорок третьего года, недаром названного автором «самым черным годом во всей немецкой истории». Действительно, начался победоносный разгром немецких войск на Восточном фронте. Это чувствуется в каждой строчке дневника, насыщенного к тому же тяжкими

размышлениями о поражении Германии в Италии, о бомбардировках немецких городов. Началось разочарование немецких солдат и офицеров в политике нацистского руководства, появились думы о возможном поражении и судьбе Германии, идущей к катастрофе. Любопытно, что задумывается об этом боевой офицер, судя по тому, что он награжден двумя Железными крестами,— отличный воин, безусловно преданный нацистской идее.

Ценность этих воспоминаний несомненна и состоит как раз в том, что это пусть и разрозненные, наивные, но непосредственные и живые рассказы людей о людях.

Дневник неизвестного немецкого офицера

С 3 по 22 июня 1941 г. записи дневника посвящены передвижению к границе СССР по территории Польши. Марш совершался без всяких осложнений, как в мирное время.

21.VI.1941 г.

Мы готовы. Все погружены. Завтра выступаем.

22.VI

То, что многие считали невозможным, наступило. В 3 часа наши товарищи на границе перешли в наступление. Мы чувствуем себя наэлектризованными и ждем известий оттуда. Перед обездом мы выстроились в бесконечный ряд движущихся машин. Через Отвок — Колбицу — Минск-Мазовецки — Калушин*. В Маринии отдыхали. Около 22 часов поехали дальше. Седлец — Морди.

23.VI

У Волк-Вернесич были подтянуты. Очень тепло. Во всяком случае, жара доставит нам много мучений.

24.VI

Едем дальше через Лозицу — Константиновку. Мы должны привести в порядок поезд и через пару часов отбыть в Новопавлово. Около 16 часов поехали дальше. Янов-Подласки — Бяло-Подласки** остаются позади. Постепенно становится темно, и вместе с этим на пути нашего следования начинают создаваться пробки. Ночью мы больше стояли, чем ехали.

25.VI

Около 6 часов мы в Тереспале. С фронта сообщают, что Брест-Литовск в наших руках. На пути своего движения вперед мы видели диковинный аппарат***. Чудовищный железный ящик на цепях с каким-то сооружением наверху. Мы слышим звуки от стрельбы 65-см мортиры.

* Это, по всей видимости, было одно из направлений главного удара 2-й танковой группы.

** Судя по удаленности линии фронта на 16 часов 25 июня 1941 г. от перечисленных населенных пунктов, соединение, в котором воевал автор дневника, действует во втором эшелоне корпуса.

***Для разрушения крепостных сооружений (Брестской крепости) были доставлены тяжелые реактивные установки «Карл».

В 7 часов 20 минут мы перешли военный мост севернее Бреста. Теперь дело хорошо продвигается вперед. Нас догнал первый поезд. Танки нашего корпуса, 17-й и 18-й танковых дивизий, справились уже более чем с 500 танками противника.

На плохих пыльных дорогах мы беспрерывно продвигаемся вперед. Там, где случаются заторы при продвижении, появляются коменданты участков дороги и вмешиваются в это дело лично, так как мы, 29-я дивизия, имеем приказ о продвижении. Поздно днем мы достигли Пружан и Розаны. По пути мы видели много русских танков, расстрелянных и сожженных. Но также и много наших товарищей пало. Мы находимся на некотором расстоянии от железной дороги в Воволен. Что мы будем делать в этой пылице, нельзя себе представить. Уже через несколько минут все покрыто толстой серо-желтой пеленой. Когда стало темно, мы достигли и закрепились в районе пункта 203, южнее Езерницы.

26.VI

Рано утром мы продвинулись на несколько километров дальше через Езерницу на северо-восток до пункта 214. Из кустов и ржаных полей мы были обстреляны из винтовок и пулеметов. Затем начали стрелять со всех сторон.

Чтобы добиться нам покоя, нам пришлось прочесать всю окружающую местность. Эти парни прячутся в ржаных полях. Так как они себя ничем не обнаруживают, то мы решили с ними долго не возиться и окружили местность.

Гражданских мы также бьем всеми видами оружия, находящимися на вооружении германской армии. Жаль только, что не хватает веревок, чтобы вешать этих коварных.

Еще перед полуднем мы получили задание. Через Езерницу, где расположен полк дивизии, продвинулись на восток. Наш постоянный спутник — густое облако пыли. За маленьким селом мы прошли через лес. Местами видны трупы, на дороге разбитые машины. Однако в этом маленьком лесочке все выглядит страшно. Лежат средства передвижения различных видов, расстрелянные и сожженные, оставленные на дороге или около нее при поспешном бегстве. На многих видны следы гусениц наших танков. Повсюду в хаотическом беспорядке разбросано оружие, снаряжение, продовольствие и обмундирование. Над всей этой картиной разрушения парит трупный запах. Во всех положениях раздавленные, сожженные, обугленные машины. До Костеньево и Особняки дорога завалена.

Еще когда выяснялось положение, как и перед полуднем, раздавалась трескотня. Опять прочистили поля. Вечером батальон закрепился севернее Костеньево фронтом на север. В полночь снова прибыл приказ выступить.

27.VI

Еще до наступления рассвета батальон начал отступать на Езерницу. 3-я рота, усиленная взводом Шедлера и ударной группой Гаферта, осталась в занимаемом до отхода батальона пункте. В полку оставшаяся часть батальона получила задание пробраться к Розане. Ночью русские прорвались к дороге*. Для выполнения этого задания нам были приданы две зенитки-автомата.

Части роты посланы в Папирниц — Савроля для разведки боем, но они были задержаны еще перед Савролей. Мы отошли к Розане, куда уже подошла наша пехота.

Когда батальон только собрался отходить на Езерницу, лес севернее Розаны был занят противником. Одновременно на другой стороне Розаны началась стрельба. Русские танки начали наступление на Розану. Батальон занял у пункта 183 оборону. Мы, однако, остались в несоприкосновении с врагом.

28.VI

Ранним утром унтер-офицер Крез выстрелом из-за куста, по всей вероятности, тяжело ранил комиссара, а затем мы продолжили отступление на Езерницу. Там нас ждало уже новое задание. После кратковременной остановки с целью дать людям время подкрепиться — дальнейшее продвижение на север к дороге Цельва — Слоним. Севернее этой дороги на Платенике мы закрепились.

29.VI

Ночь протекла не без приключений. Как только начало смеркаться, на нас обрушились танки и 25 русских. Прежде чем мы успели догадаться, что это действительно русские, танки обрушились на нашу ударную группу, расположенную у дороги, и гранатометчики из второй группы погибли... Кроме того, погиб один товарищ из 14-й роты, когда он поджигал спиртом танк... Снарядами танков ранены стрелок и ефрейтор. Во всяком случае, из экипажа танка никто не ушел. В братской могиле мы предали павших земле. Вдруг с чудовищной стремительностью ворвался танк**, но, слава Богу, обошлось без потерь.

Батальоны накапливаются для выполнения задачи на рубеже дорог Цельва — Слоним и Езерница — Платеник. Нам приданы

* В ходе наступления танковые клинья противника, уткнувшись в оборону наших войск и встретив упорное сопротивление, старались обойти их. Нащупав брешь в обороне советских войск, танковые клинья противника устремлялись на восток к новым рубежам. Блокирование, окружение и уничтожение советских войск в узлах сопротивления возлагались на вторые эшелоны противника.

** Понеся большие потери в приграничном сражении, находясь в полуокружении, войска 3-й и 10-й армий Западного фронта, выполняя указания Ставки Главного Командования занять оборону по линии Лида — Слоним — Пинск, продолжали частью сил контратаковать противника.

зенитка, артиллерия и другое вооружение. Предстояло наступление против линии русских, оборудованной противотанковыми средствами. Наступление поддерживали танки. В своей укрепленной точке мы еще раз подверглись нападению русских танков. Было раздавлено орудие 14-й роты. Таким образом, дела наши оставляют желать лучшего. Один из идущих сзади танков был взорван на минах нашими саперами.

Около полудня выступили. Очень радостно наступать с нашими танками. Наступаем почти исключительно вне дорог, полем, через высоту 191 (в 3 км к югу от Деректин) пошли на дорогу Цельва — Мидервица. Вдруг перед нами очутился русский тяжелый танк. Мы сразу же выскочили из автомашин, рассредоточились и попрятались. Затем началось. Танки обрушились на танки, мы — на находящиеся в полях ржи русских. Благодаря великолепному удару мы побились почти до Мединицы.

Там наши танки остановились. Они имеют приказ дальше не идти. Через короткий промежуток времени нам также стало ясно — почему. Пришли еще шесть штук и набросились на нас, открыли стрельбу. Среди развалин села лежат тяжелые зенитки и артиллерия. Налево от нас — второй батальон, направо — первый. Из-за недостатка спирта танки были оттянуты назад. У нас трое раненых. Старший ефрейтор Дитрих ранен снарядом из танка, ефрейторы Шант и Вайзер ранены взлетевшими на воздух частями русского танка.

В 19 часов русские предприняли контратаку при поддержке танков. Справа нас обошли, а впереди стреляют пулеметы. Русские идут жуткой лавиной с криком «ура». Наши танки пришли на помощь и расправились с наступающими русскими танками. В жутком ночном сражении русские нас теснят все дальше назад. Прежде всего создалась сильная угроза для нашего открытого правого фланга. В ход пущены все средства. Майор Штрибе, наш командир батальона, ранен. Капитан Миллер фон Бернег принял батальон.

30.VI

С рассветом мы отошли от пункта 191 и накопили там силы для образования укрепленного узла с круговым обстрелом. Ранены шесть человек. Они доставлены нашими танками в Слоним. Однако недостает еще четыре человек. После полудня были созданы специальные команды для сбора брошенного оружия и снаряжения. Эти команды приносят также трупы наших погибших. Мы похоронили их на пункте 191 около тригонометрического знака. К ночи были предприняты меры предосторожности, чтобы не попасть в грязь. В полночь нас отсюда вытянут.

1.VII

Вся войсковая группа должна отступить на Езерницу*. Если будет необходимо, то мы вынуждены будем пробиваться силой. На рассвете мы проходили через разрушенный Деркоцин. На дороге Деркоцин — Цельва мы встретили пост сторожевого охранения 15-го пехотного полка. Недалеко от Цельвы повернули налево, в направлении на Слоним. У того же самого узла, где мы вынуждены были два дня назад похоронить одиннадцать товарищей, мы были справа, то есть с юга, обстреляны.

Часть солдат роты пошла против противника, засевшего в поле и в лесу. Старший лейтенант Вессель руководит операцией. Вдруг короткий свист и взрыв. Артиллерия. Старший лейтенант Вессель тяжело ранен и в ближайшие минуты умер. Старший ефрейтор Людвиг ранен так же тяжело, унтер-офицер Вист ранен не так тяжело, лейтенант Миллер принял на себя командование ротой.

Старший лейтенант Вессель погребен около братской могилы от 29.VI. Батальон продолжает продвигаться дальше вдоль дороги. Здесь наши танки опять поработали. Перед опустошениями на этой дороге бледнеет картина «Мертвый лес». Трупный запах еле можно выдержать. Около Слонима повернули вправо и у Корцайна собрались и сделали привал. Предварительно мы, однако, выжгли весь кустарник и рожь на полях, так как всюду прячется много стрелков противника.

2.VII

В 5 часов выступили. Через неделю снова на железной дороге. Показали нам дорогу Слоним — Барановичи. Дорога завалена. Затем пошли опустевшие, изъезженные, сожженные песчаные дороги. У населенных пунктов много ухабов. В 18 часов 30 минут мы наконец перешли бывшую польско-русскую границу и, таким образом, очутились в «раю для рабочих». Марш идет на Кайданов. Северо-восточнее Кайданова мы заняли укрепленные позиции.

В начале июля 20-й и 9-й армейские корпуса, 1-я танковая и 29-я моторизованная дивизии приступили к ликвидации окруженных в районе Новогрудок, Трабы, Ружбевичи остатков 3-й и 10-й армий наших войск. Этому и посвящены дневниковые записи с 3 по 8 июля.

9.VII

В полдень снова вперед. У Борисова перешли Березину. Темп продвижения замечательный («прима»). Вдруг раздалась команда: «Командир роты — к командиру». В то время как батальон

* На 1 июля 1941 г. линия фронта группы армий «Центр» проходила по рубежу: Казакам, Вильнюс, Сморгонь, Долгиново, Борисов, зап. Пуховичи, Свислочь, Бобруйск.

безостановочно продвигался вперед, в дороге был отдан приказ. Новая цель наступления — Днепр*. Постепенно темп продвижения замедляется, и наконец появляется масса задержек и остановок. Но 29-я имеет право на продвижение вперед, и мы движемся, оставляя три-четыре стоящие друг около друга колонны. Мы сворачиваем вправо, затем влево от автострады.

10.VII

Под Голокшино мы наконец оставляем хорошую дорогу. С большими предосторожностями колонны пробираются по лесным и полевым дорогам полуденной жарой. Через Старосель идем на восток. Здесь мы впервые знакомимся с авиацией красных. Но разрывы бомб еще далеко. Наоборот, гораздо неприятнее атака летчиков на бреющем полете, которая вскоре последовала.

После полудня мы были направлены на юг, между Калиновкой и Вигрелково. Вся местность была там планомерно обыскана, и еще несколько большевиков побрели в плен. Вчера мы услышали, что 11.VII утром мы должны будем добиться того, чтобы наши войска перешли Днепр. Мы тоже будем наступать.

11.VII

Ночью мы имели мало покоя. Русские бомбардировщики засыпали нас своим железом, но они попадали только в незанятые села. Мы прошли немногие километры, отделявшие нас от Днепра. Из выжидательных позиций наблюдаем за приготовлениями. На позиции прибыли 88-мм зенитки. Саперы притаскивают надувные лодки и надувают их.

Ровно в 5 часов началась артподготовка. Артиллерия всех калибров, тяжелые и полевые орудия покрывали противоположный берег. Когда же вдобавок ко всему этому появляются наши самолеты, то никто уже не остается на месте. Всем хочется видеть это грандиозное представление.

В 5 часов 15 минут настало для нас время. Без сопротивления со стороны русских мы достигли противоположного берега. Отличные полевые укрепления русских пусты. Только слева и справа от нас в селах раздаются выстрелы. Батальон скапливается и идет в северо-восточном направлении. После полудня нас настиг артиллерийский огонь. Мы первым делом пошли в укрытие.

Постепенно солнце поднимается все выше и становится все ярче. Батальон продвигается вперед. Невыносимо жарко. При малейшем движении пот течет из всех пор, что большое мучение, тянуть за собой снаряжение... Куда ни глянешь, не видно ни тени, ни колодца. Полевые кухни еще не прибыли, так как мост еще не готов.

* Решив, что советские войска разгромлены, а их остатки не могут оказать сопротивление, командующим 2-й и 3-й танковыми группами была поставлена задача развернуть наступление с целью выхода к Западной Двине и Днепру.

Вечером 2-й батальон, наступающий впереди нас, обрушился на противника. Прошло немного времени, и сопротивление противника было сломлено. У Пронцианки мы создали круговую оборону. Идущая с юга вражеская мотоколонна уничтожена осадными орудиями и зенитками. Когда начало смеркаться, нашу колонну атаквали красные бомбардировщики. Есть убитые и раненые. Лейтенант Гейтель из 29-го автополка был тяжело ранен и умер.

С 10 по 15 июля в дневнике отражены боевые действия на подступах к Смоленску. Отражен ввод в сражение новых сил противника.

15.VII

До Смоленска мы должны дойти сегодня*. Как только наступил день, на нас налетели первые самолеты. Их было, наверное, штук пятнадцать...

Ранним утром продолжительная остановка. Идущие впереди нас батальоны на широком фронте обрушились на противника. Нам показывают участок, где мы должны наступать, и мы идем дальше.

С дороги мы сворачиваем на восток. Двигаясь по полям и через леса, мы добираемся до другой дороги, где противник нас снова встретил артогнем. Машины сворачивают вправо. Частично пешком, частично на машинах — все дальше вперед; каждый раз удар врага по нас.

Наконец мы достигли высоты; только успели сделать первое приготовление, установить пушки, как мы уже оказались окружены противником. Мы пускаем в ход все средства, чтобы вырваться. Наша артиллерия — орудия, приданные по одному на роту, — стреляет прямой наводкой. Когда мы достигли ближайшей высоты, то увидели лежащий перед нами Смоленск.

Остановились и заняли позиции. Вправо от нас 3-й батальон. Еще осталось несколько километров до первых окраинных домов. Огонь противника не оставляет желать лучшего. Есть и бомбардировщики. Приданная нам зенитка сбила один. Было бы, пожалуй, лучше, если бы он полетел себе дальше, так как он ринулся на зенитную батарею, в результате чего погибло несколько товарищей.

После полудня мы уже продвинулись так далеко вперед, что можно уже невооруженным глазом различать отдельные предметы лежащего перед нами городского предместья. Русские открыли огонь прямой наводкой. Результаты плачевные. Убиты ефрей-

* 14 июля 1941 г. командующий группой армий «Центр» подписал приказ, которым предусматривалось, что 2-я танковая группа после достижения района юго-восточнее Смоленска должна провести перегруппировку, а после получения особого приказа наступать в южном и юго-восточном направлении.

тор и стрелок, ранены: один унтер-офицер, четыре старших ефрейтора, два стрелка...

Наступление провалилось, несмотря на поддержку двух осадных орудий. На противоположном берегу русские сидят между горящими зданиями и кроют из всех родов оружия, имеющегося у них.

Упорные бои в Смоленске продолжались, и это нашло отражение в дневнике. С 23 июля 2-я танковая группа во взаимодействии с пехотными дивизиями 2-й армии вела тяжелые бои на ельнинском выступе и к югу от него.*

23.VII.

Ранены ефрейтор и два стрелка. Днем было все как обычно. Вечером атака русских с четырьмя танками. Посты сторожевого охранения отошли назад. Штурмовые орудия и противотанковые пушки уничтожили танк. Посты сторожевого охранения снова заняли свои места. Русские снова отражены.

24.VII

Положение без изменений. Продолжительные атаки. Убиты старший ефрейтор и стрелок. Ранены два стрелка.

25.VII

Говорят, что нас меняют. В полдень пришло начальство. Вечером было очень душно. Вопреки нашим ожиданиям русские и ночью открыли артогонь.

26.VII

В 2 часа на нас пошла пехота. Вероятно, русские сознательно и хорошо это подготовили, так как русские бросились в атаку как раз во время смены сторожевых постов. При этом был ранен лейтенант Шнайдер.

Пешком мы дошли до цитадели, а оттуда до стоянки машин. Бомбардировщики сбросили бомбы около нас, но в нас не попали; тяжелая артиллерия, стрелявшая по городу, также попадала правее.

На рассвете мы добрались до своих машин. Около 6 часов отходим. Идем на юг, на дорогу Смоленск — Рославль. Когда мы наконец оставили Смоленск, мы с облегчением вздохнули. Десять тяжелых дней остались позади. Мы прошли еще около 20 км.

В невероятно грязной луже мы в первый раз после 14 дней пребывания в пыли, на жаре и под дождем помылись и искупались. Группа вражеских бомбардировщиков, пролетевшая севернее через дорогу, была расстроена зенитками, один бомбардировщик сбит.

* Выполнению приказа о повороте 2-й танковой группы на юг помешали два обстоятельства: во-первых, переход войск Западного направления в контрнаступление под Смоленском, во-вторых, необходимость восполнения потерь в танках и отдыха после тяжелых и изнурительных боев.

В полдень приказано приготовиться к посадке на машины. Мы отошли по дороге немного назад, затем на восток. К югу от дуги Днепра батальон занял позицию*. Боевые порядки батальона и нашей роты находятся в Заборье. Роте придано еще около половины взвода.

Ведя оборонительные действия, противнику удалось вскрыть замыслы наших войск, а также проведенную перегруппировку и принять необходимые контрмеры. Так как по своему служебному положению автор дневника не мог знать замысел своего командования, то с 27 июля по 24 августа в дневнике преобладают записи: «Ничего нового», «Положение без изменений».

25.VIII

В 6 часов выступили на юг. Во время движения к железной дороге нас встретила наша смена. Через Новоселки к дороге Рославль — Брянск. У Рябчиной повернули на юго-восток. Здесь командир роты получил в дивизии новое задание. Путь снова идет вне дорог напрямик через Надвадкуличи — Клетня. Местами нужно еще навести мосты.

26.VIII

Ранним утром батальон подошел к Альевевке. В 11 часов дальше наступление на Почеп. Около Почепа свернули на восток. У Видовки мы должны занять укрепленную линию для продолжения (оборудования) предмостных укреплений. В 7 часов от Видовки авангард был обстрелян, батальон начал наступать. Ефрейтор Файфер и стрелок Дильман ранены.

27.VIII

Численно значительно превосходящий нас противник** атаковал нас и был отбит. После полудня батальон был отведен. 2-я рота, 2-й полувзвод 1-го взвода и 2-я ударная группа остались для усиления стрелкового батальона, расположенного слева отсюда. В 19 часов батальон должен присоединиться к 17-й танковой дивизии. Влево от дороги стоит много русских батарей, среди которых очень тяжелые орудия. Они обстреливают мосты и некоторые позиции. В течение дня были атаки с воздуха.

28.VIII

Идет дождь. По лужам и болоту — дальше. Спешим. Передовой отряд уже на 50 км продвинулся дальше вперед. Задание между Трубчевском и Новгород-Северским сделать предмостное укрепление моста через Десну. Условно в ноль-ноль часов. Отсюда мы идем в незнакомое место.

* К концу июля войска Западного направления остановили группу армий «Центр» на рубеже Великие Луки, Ярцево, Ельня, Кричев, Жлобин.

** Во второй половине августа активными наступательными действиями войска Западного фронта изматывали противника.

После полудня по нас вдруг открыли огонь справа. Противотанковые пушки и пулеметы. Мы ответили противотанковыми пушками, пулеметами и тяжелыми орудиями. Противник замолчал. Теперь приходится каждое село брать с боем.

Утром мы застаем русских врасплох. Нас подгоняла мысль, что перед нами передовой отряд — одна стрелковая рота, пара быстроходных танков, истребители, бронемашин-разведчик... Взяли мост через Десну и должны были принять бой против значительно превосходящих сил противника. Во время заката солнца наши полевые орудия отогнали 10 тяжелых орудий русских. Ночью оборона на высоте. Непосредственно против нас — позиция врага.

29.VIII

Утром дальше. Русские предупреждают наши атаки. Каждое село приходится брать, преодолевая сильнейшее сопротивление. К этому надо добавить бомбежки на бреющем полете. Русские ввели в дело новый вид разрушителя*. Очевидно, это американская машина.

После полудня мы имели адские четверть часа. Когда батальон начал продвигаться по высоте через только что занятое село, нам в спину был открыт артиллерийский огонь прямой наводкой. Помогла лишь команда «Газы!» и бегство через могилы и воронки от снарядов. Вокруг нас лежали трупы. Нам, однако, здорово повезло. Убит посыльный 1-й роты. Кроме того, несколько легкораненых.

Еле успели мы избавиться от артогня, добраться до высоты, как от лежащих перед нами... поднялся дым. Лишь к вечеру мы достигли своей цели. Это высшая цель. Передовое подразделение подверглось ожесточенному обстрелу. В ближайшем бою русские должны быть отогнаны от этого места. Наша рота раньше всего обстреляла... Артиллерия и зенитки поддержали наш огонь.

Когда стало темно, мы наконец, после того как сделали трехкилометровый переход по болотам... достигли железнодорожного моста. Ранены лейтенант Лемме Хирт, унтер-офицер Вальмери и стрелок Блюм.

30.VIII

После хорошего утреннего гостинца, полученного от вражеского орудия, мы поскорее окопались на железнодорожной насыпи. После полудня перешли в наступление. Старший стрелок Волькерт сражен снайпером. Русская авиация очень активна. В кустах трудно спрятаться.

* 14 июля для уничтожения противника стали применять реактивные установки М-13 — «катюши».

31.VIII

Наступление продолжалось до леса. Отогнанные в Почеп части батальона пришли. Этой группе пришлось трудно. 27.VIII наши танки вынуждены освободить боевую группу Пельцера. Ефрейтор Андрэ и Гофманн ранены. Батальон отошел на 3 км в небольшой лесок.

1.IX

В общем, все спокойно. Иногда русские стреляют по Витмеле. После полудня в нашем лесу раздавались отдельные выстрелы. При этом в 1-й роте оказалось шесть убитых.

2.IX

До полудня 2-я рота с одним пулеметным взводом и 1-й ударной группой заняли участок 10-й роты по Десне по ту сторону моста. Вечером батальон опять идет на старую позицию — 63-й и 15-й пехотные полки продвинулись в лес, так как русские сильно нажимают на фланги, мы присоединились к сторожевому охранению моста...

Записи в дневнике на этом обрываются.

Дневник лейтенанта Бранда

28.VI.1943 г.

Прекрасное время года протекает без каких-либо крупных операций. Надеюсь, русский не использует эти долгие месяцы для преждевременного наступления.

Со вчерашнего дня на нашем участке происходят большие передвижения танковых дивизий.

Может быть, это приведет к образованию хотя бы местного окружения. В садах и полях здесь все пышно цветет. Тыква, капуста, картофель, подсолнечники здесь такие, каких мы в Германии никогда не видели...

30.VI

На нашем участке продолжают большие передвижения войск. Танковые дивизии направляются к северу, в район Харькова. Трудно сказать, подготавливается ли немецкое наступление или только ожидают крупного наступления русских: по-видимому, все же последнее...

1.VII

Из ожидавшегося в течение нескольких дней контр наступления русских, по-видимому, пока ничего не вышло. Но передвижения немецких войск продолжают. Сегодня вечером ожесточенный налет русских самолетов на нашу деревню.

Итак, снова полгода прошли почти в полном бездействии.

Мы еще долго не оправимся от зимних потерь. Крупные военные действия с нашей стороны вряд ли возможны, так как во

всем ощущается недостаток. К тому же англичанин разрушает один немецкий город за другим. Положение в самой Германии тяжелое. На улучшение его надеяться трудно.

Меня каждый раз охватывает ужасная ярость, когда я думаю, с каким результатом мы пришли на четвертый год войны. Без сомнения, многого можно было бы избежать, если бы в наших рядах и среди нашего руководства не было столько глупости и зазнайства. Меня душит злоба, когда я вспоминаю все дурацкие утверждения, сделанные за последние годы. Мы попались на удочку своей же пропаганды. И это при наличии таких блестящих военных успехов, при таком героизме и готовности жертвовать собой.

Теперь мы снова шатаемся, как в Первую мировую войну, и улучшения ждать не приходится. А идеи, желания и начинания были хорошими. Над Европой поднималась немецкая весна. Но проведение в жизнь всех планов все больше попадало в руки мещан и бюрократов. Посредственность расцвела пышным цветом и перестала поэтому выносить какую бы то ни было критику. А теперь она стоит накануне банкротства и не знает, что делать. Великая же идея пострадала от этого и постепенно гибнет. Теперь предстоит последняя борьба за немецкую мечту, за чаяния доброго тысячелетия.

2.VII

Прекрасный летний день. Цветут подсолнухи, но нет радости. Кельн снова сильно пострадал. Похоже, будут уничтожены все старинные немецкие ценности... А мы только можем выполнять свой долг — каждый на своем месте, и время от времени предостерегающе возвышать наш голос; главное же — беспрестанно призывать к выдержке и стараться увеличивать силу нашего сопротивления.

Я часто смотрю на карточку сына. Как сложилась его жизнь? Захочет ли он стать солдатом?

3.VII

Часто я задумываюсь о борьбе этих двух великих мировоззрений — национал-социализма и большевизма. Неужели абсолютно необходимо, чтобы они растерзали друг друга? Неужели они не могли ужиться вместе? Были ли противоречия между ними на самом деле так велики? Не придется ли будущим поколениям со страшным трудом выискивать в этом нагромождении лжи действительно существовавшие противоречия?

Неужели в этой войне на самом деле идеализм будет окончательно похоронен? Неужели одержит верх материализм американского или европейско-русского толка? Я никогда в жизни не поверю этому. Мир тогда потеряет свою последнюю прелесть, а жизнь свой смысл...

4.VII

Я повторил сегодня в дивизионной школе доклад об истории Германии. Присутствовали командующий и господа из дивизии. Эсэсовская дивизия «Викинг» опять с нами. Очевидно, скоро все же начнется наше наступление. Я полагаю, в ближайшие дни мы должны будем уступить им место в Мечебеловке.

5.VII

«Викинги» настаивают и торопят. Длительные переговоры с их нахальными квартирьерами. Мы уйдем, разумеется, только если нам это прикажут. Думаю, это будет уже завтра.

6.VII

...Вчера началось наше наступление севернее Харькова. Так, по крайней мере, рассказывают эсэсовцы из дивизии «Викинг», которые снова расположились здесь два дня тому назад. Надеюсь, что это правда. Нам в этом году достаточно досталось. Пора что-то предпринимать.

Офицеры из дивизии СС удивляются пессимизму, царящему в нашей дивизии. Они при этом всегда забывают о том, насколько лучше по сравнению с нами условия, в которые они поставлены. Сам вид их возбуждает у наших солдат, уставших, измотанных, чувство подлинной классово-ненависти. В наши войска входят те жалкие остатки, которые еще можно было наскрести в Германии. Они же собрали лучший человеческий материал в Европе.

Каждый их ефрейтор у нас был бы фельдфебелем. Притом они пьют, кутят, а наши солдаты часто самым настоящим образом голодают.

Тем не менее СС бесстыднейшим образом грабят и отбирают все у местных жителей, в то время как мы все время проповедуем, а также проводим на деле дружбу с украинцами.

У нас сурово наказывается каждый маленький проступок, даже офицеров (как недавно) сразу заключают в крепость, а СС всегда остаются безнаказанными.

Поэтому русский никого так сильно не ненавидит, как эсэсовцев.

9.VII

После обеда посетил эсэсовскую дивизию «Викинг». Будь я на пять или на десять лет моложе, я бы, пожалуй, пошел в СС, был бы СС-фюрером. Конечно, они очень ограничены и чрезмерно оптимистичны, но все же в них живет новая молодая Германия.

При более строгой дисциплине и более сильном упоре на немецкие этические основы из их превосходного человеческого материала можно очень многое сделать...

Первые русские листовки о нашем наступлении севернее Харькова. Они содержат в общем и целом искаженные сообщения на-

ших сводок с неоднократно уже повторявшейся угрозой устроить нам новый Сталинград.

10.VII

Вчера и сегодня сильный дождь, частые грозы. Надеюсь, это не повредит немецкому наступлению. Эсэсовская дивизия «Викинг» вчера вечером выступила, предполагаю, для того, чтобы принять участие в военных действиях.

12.VII

Десант американцев в Сицилии. Надо надеяться, что их удастся скоро сбросить. Мы должны удержать Италию, если хотим отстоять Балканы.

16.VII

...Мы снова в боевой готовности и ждем. Днем и ночью мимо нас катятся танковые дивизии. Все преисполнены беспокойства и ожидания. У нас так же, как и у русских, сразу за линией фронта происходят крупнейшие передвижения войск. Положение между Белгородом и Орлом до сих пор неопределенное.

17.VII

Вчера началось большое русское наступление на участке нашей дивизии. Главный удар был направлен на южный фланг между Петровской и Изюмом. Там наш 457-й полк после первого же удара был сильно разбит. Русские наступали с севера тремя-четырьмя дивизиями, перейдя через Донец по двум мостам и вброд. Повсюду им удалось глубоко вклиниться в наше расположение. Они окружили несколько населенных пунктов и рот. Бои были жестокими, положение чрезвычайно серьезным. Мой 466-й полк вначале был позади, как находящийся в резерве армии, и первый удар его не затронул. К полудню положение стало еще более серьезным, и нас ввели в бой.

Тяжелые бои продолжаются беспрерывно. Уже поступают сведения о первых потерях. Весь день действуют крупные соединения немецких самолетов. Эсэсовская дивизия «Викинг» снова переведена на наш участок в качестве резерва. Весь день ужасная неразбериха, переговоры, телефонные звонки и приказы. Наш батальон прикрывает КП дивизии, который подвергается серьезной опасности. Бросили в бой даже роту выздоравливающих, которая только вчера прибыла из Германии. (По одной винтовке на троих.)

После полудня переговоры между нашим оперативным отделом и оперативным отделом дивизии «Викинг», которая не хочет наступать как следует, хотя русские все больше укрепляются. Их поведение меня неприятно поражает. Посмотрим, какая обстановка будет завтра.

18.VII

День и ночь продолжаются ожесточенные бои. Сильные соединения русских самолетов атаковали нас, а также бомбардировали

все тыловые позиции. Произошло много воздушных сражений. Русский получил подкрепление и снова атаковал упорно и массивно. У него очень большие потери, но и у немцев также. Многие знакомые и друзья уже убиты. Это был для нашей дивизии второй очень тяжелый день, который, к сожалению, закончился не так успешно, как мы все надеялись.

Местные прорывы русских, правда, всюду ликвидированы, но противник все время получает подкрепления и дерется упорно и жестоко. В нашей дивизии нет больше резервов. Введено в действие все, до последнего подразделения. Дивизия «Викинг» атаковала сперва только танками, 466-й полк расформирован, остатки влили в 457-й полк.

Будем надеяться, завтра полегчает. Так как, вследствие наших тяжелых потерь в офицерском составе, я не считаю свою должность адъютанта батальона остро необходимой, я попросил полковника отозвать меня...

19.VII

Снова день переменных боев. Тяжелые потери среди офицеров, унтер-офицеров и солдат. И наш полевой запасной батальон понес большие потери. Последние резервы штаба батальона со всем обозом двинуты на передовые.

Ночью проходим через Грушеваху и Камышеваху, которые подвергаются сильнейшей бомбардировке. Обоз располагается в Петрополье. Сильный артиллерийский огонь, четыре лошади убиты. Идут настоящие воздушные бои...

20.VII

Утром установлена связь с 457-м полком. Полевой запасной батальон, несмотря на громадные потери, понесенные вчера, остается в бою... Танковая атака русских. Отбита, но с большими потерями для нас...

21.VII

Рано утром началась большая русская атака с танками. Обоих командиров дивизий не было. Русские шли с востока, с юга и с запада. Мне удалось успокоить и образумить кучку наших пехотинцев и заставить нескольких бронебойщиков вернуться к своим орудиям...

Так как русские, видимо, боялись контрудара с нашей стороны, то они весь день сегодня обстреливали нас из артиллерийских орудий. У нас, к сожалению, были тяжелые потери. Мне тоже осколки снаряда попали в руку и в заднюю часть.

И несмотря ни на что, жизнь снова доставляет удовольствие. Знаешь, для чего ты здесь и что все это имеет смысл.

22.VII

Бесперывные жесточайшие артиллерийские обстрелы наших позиций. Много прямых попаданий. К сожалению, у нас

почти нет укрытий. Мы лежим, распластавшись, на земле, как рыбы на песке. Русские расходуют огромное количество боеприпасов... К сожалению, у нас опять большие потери...

23.VII

Бесперывный дождь, что с бесперывным артиллерийским и минометным обстрелом действует подавляюще. Пытаемся укрыться в земле, твердой как камень. Это нелегко.

Снова очень большие потери. На смену нечего надеяться, так как все части дивизии находятся в бою (даже тыловые службы) и почти все сильно потрепаны.

Эсэсовская дивизия «Викинг» тоже постепенно просочилась в наши ряды для подкрепления и поэтому не является уже больше резервом.

К сожалению, у нас недостаточно сил, чтобы очистить весь участок, и поэтому мы не выходим к Донцу. В нашем распоряжении нет абсолютно никаких резервов. И все же положение ни в коем случае не было критическим, так как наши люди сражались превосходно. Серьезно повредила нам неустойчивость на отдельных участках, например, недавно слева от нас; слабость нервов у некоторых командиров.

Поздно вечером сильное наступление русских справа и слева после убийственной артиллерийской подготовки. Русские часами пытались отрезать нас от тыла. Мы как кулаком бьем по позициям их. В такие критические моменты я всегда благодарен судьбе, что я офицер, имею власть над людьми и могу действовать на них успокаивающе или, как сегодня, угрожаю им.

Русские несут большие потери, но людей у них больше, чем у нас, и чудовищное количество боеприпасов.

Такого огня, как в эти дни, я не видел за всю войну. О, если бы у нас была наша армия 1941 года!

24.VII

Сильные артиллерийские атаки, русских танков немного. Он (русский) стреляет без усталости. Целый день переговоры с артиллеристами и подготовка к контрудару.

За несколько минут до начала таинственная черная женщина на ничьей земле. Шпион или шпионка?..

28.VII

Снова большие потери в результате обстрела. Убитые и раненые. От тесноты в блиндажах и окопах настроение у всех раздражительное (у офицеров также). Наконец в 9 часов смена...

1.VIII

Как всегда после больших переживаний, у меня наступает нечто вроде похмелья. Я думаю о наших громадных потерях, о множестве убитых из нашего батальона, которых мы в большинстве случаев не могли даже похоронить.

С ужасом я только в последний день вспомнил, что ни одного из них мы не проводили добрым словом или молитвой. Мы не в состоянии больше установить, где лежит каждый из них, потому что часто мы не могли даже взять у них ни солдатские книжки, ни опознавательные знаки. У нас не было даже воды, чтобы смыть с себя трупный яд.

А мучения раненых?! Но нашей первой обязанностью было сражаться и отражать атаки русских.

Русского тоже сильно потрепали. Но он в состоянии выставить сейчас огромное количество техники.

Если бы наша собственная армия не растаяла бы так страшно за две зимы! Сколько бессмысленных жертв! Сейчас как раз наступило время, когда можно было бы закончить восточный поход, но теперь у нас для этого нет войск. Особенно велики потери среди офицерского состава дивизии...

Только необходимость в сознании долга поддерживает нас. Отчаяние придает нам несокрушимую силу. Как счастливы погибшие в Польше и во Франции — они верили в победу...

2.VIII

...Итальянская трагедия разворачивается неслыханно быстро. Ее ожидали давно, но не думали, что итальянцы отнесутся к ней так спокойно. К Муссолини я всегда питал некоторые симпатии, но его отставку я не совсем понимаю. Диктатор, который в конце концов отступает, мне отвратителен. Разглагольствовать в течение десятилетий, а затем бросить свой народ в величайшей беде — это подло.

Теперь итальянцы, наверное, забросают его камнями, но через несколько лет будут снова чествовать его, а через несколько десятилетий попытаются снова осуществить его программу. Для нас падение Муссолини — это тяжелый удар. (Начало конца...)

3.VIII

Наши потери понятны, если вспомнить, что мы должны были выдерживать ураганный огонь, по крайней мере, 40 батарей и полка минометов. К тому же ежедневно около 100 вражеских самолетов. Мы вправе гордиться нашей обороной. Но все же впервые русские решились наступать летом.

4.VIII

До 1933 года Россия была второстепенной державой. И только в результате столкновения с нами она достигла своего современного величия и силы. Если русским удастся нас выбросить из своей страны, а мы уже теперь занимаем, в сущности говоря, только ее окраины, то сила России еще возрастет. Мы сами дали ей возможность приобрести такое значение в Европе.

Если русские отразят это наступление, то никто не сможет с ними справиться в течение многих десятилетий. Если же счастье будет на нашей стороне, то мы укрепимся на обширных пространствах, расположенных между нашей границей и собственно рус-

ской территорией. Но возникает вопрос, не могли бы мы получить их с помощью умелой политики более дешевой ценой, без войны и без этих колоссальных жертв. Во всяком случае, 22 июня 1941 года мы сделали Германию на десятилетия, если не на столетия, неплатным должником России.

Вечером большой налет русских бомбардировщиков. Один «юнкерс» был подбит и сгорел.

Опять сильная бомбардировка Гамбурга. Это уже слишком!

Очевидно, 1943 год хочет стать самым черным годом во всей немецкой истории.

5.VIII

Издали снова слышна канонада. Кроме того, оживленнейшая деятельность русских самолетов. Надеюсь, противник не будет больше наступать. Мы слишком ослаблены. Вдобавок мрачные новости: сдали Орел. Около двух лет тому назад я участвовал во взятии этого города. Я получил тогда Железный крест II степени. Какая ирония, именно сегодня мне дали Железный крест I степени! Почти два года моя старая дивизия после отступления 1941—1942 гг. защищалась в этом городе. Оставление или, вернее говоря, сдача его является для нас тяжелым ударом. Число поражений все растет, а выхода не видно.

6.VIII

Эсэсовская дивизия «Викинг» снова проходит по нашему участку. На этот раз в Харьков. Они идут с Миуса. Так в течение недели немногие наши резервы перебрасываются непосредственно за линией фронта то туда, то сюда. Для того чтобы предпринять что-нибудь серьезное, у нас больше нет достаточных сил...

7.VIII

...Утром русские бомбили наши позиции и проходящие части СС. Страшная картина: раненые, убитые. Пронзительные крики, дикое смятение, кругом пожары и воронки. Это повторялось каждые два-три часа. Вечером я побывал в дивизии, в полку и в старом батальоне. На всех путях и дорогах картина одна и та же. Не раз приходилось нам останавливать нашу машину и искать убежища в канавах. На этот раз у русских везде были хорошие попадания. На нашем пути нам встречаются только растерянные солдаты и гражданские...

8.VIII

Бесперывно воздушные налеты. Не решаешься высунуться из землянки. Сегодня я, несмотря на это, пошел купаться и провел в воде все время налета, ужасных полчаса. Проходящие СС тоже сильно пострадали. Преступная безответственность: никакого прикрытия, они движутся четвертый день без сопровождения зениток.

Политическое и военное положение по-прежнему очень печально. Как давно уже мы не слышали хороших известий! После Орла — Белгород. К тому же снова ожесточенные сражения за

Харьков. И на других участках Восточного фронта вспыхнули жестокие бои. Потери русских, наверное, огромны, но и мы жестоко страдаем.

14.VIII

Согласно приказу по дивизии 10.VIII я переведен снова в полк...

Русский ведет сильный артиллерийский и минометный обстрел. Позиции у нас хорошие, но заняты незначительными силами. Солдаты держатся мужественно, но мысли их на родине. В ближайшие дни ожидается новое крупное наступление русских.

Но все это ничтожно по сравнению с тем, что происходит на родине. Я уже много недель не могу отделаться от мысли об этом. Гамбургу приходилось страдать больше всех. Видимо, такая же участь ждет Берлин, и мы не в состоянии ни спасти его, ни помочь. Это невероятно угнетает всех нас, парализует нашу энергию. Германия, несмотря на наши успехи в обороне, находится в тяжелом состоянии.

15.VIII

...На фронте несколько тревожнее, чем обычно... Русский сбрасывает каждую ночь фосфорные бомбы... Хорошая погода настраивает людей на мысли о мире. Мне редко приходилось слышать так много слухов и предположений, как сейчас. Каждый старается убедить себя в близости благополучного конца войны. Мы ведем политику страуса и все еще сами себя обманываем.

Впрочем, я тоже не верю, что война будет продолжаться еще четыре года. Но какой будет конец? Каким он может быть? Политика теперь занимает всех. Одного волнует судьба Германии, другого — потери его личного имущества, третий думает об ужасных опустошениях на родине, четвертый — об уничтожении культурных ценностей.

Англичане и американцы уничтожили до сих пор в Германии и Италии больше произведений искусства и культуры, чем все, что оба этих народа, вместе взятые, произвели и когда-нибудь произведут в этой области.

Для Германии решающим вопросом теперь будет: в состоянии ли она сохранить свою самобытность и себя, хотя бы в разбитом виде, в тисках между большевизмом и американизмом.

15—16.VIII

На дворе беспрерывный дождь. Бедные солдаты в их землянках. Но еще несчастней жертвы бомбежек, блуждающие по всему свету без всякого имущества. Опять меня берет безумная злоба, которая переходит даже в ненависть к правителям. Бедный наш народ! Мы все разучились смеяться. Но все-таки мы должны выстоять, и мы выстоим. Народ, который переносит такие трудности и лишения, который способен на такие жертвы, не приходя

при этом в отчаяние, может жить, если только эти круглые дураки не погубят его окончательно...

18.VIII

Началось наступление у Изюма. В первые два дня русский добился даже некоторых успехов. На этот раз, говорят, пехота русских была значительно лучше. Возникает вопрос, большой и решающий: сознательно ли он придерживает свои лучшие силы для зимнего наступления или действительно они у него истощились и хороший материал попадает у него только в виде исключения? Но я боюсь, что от него можно ожидать всего на свете. В этом отношении мы не должны обольщать себя ложными надеждами.

Если бы только у нас была наша армия 1941 года! Битва в России приближалась бы теперь к концу. Если бы мы сумели продержаться всю зиму, то к весне у нас могли бы быть кое-какие перспективы. Все зависит от нашей выдержки и от родины.

Сицилия оставлена, это, правда, не неожиданность, но все-таки тяжелый удар, потому что остров относится уже к Европе. Серьезнейшими вопросами будущего остаются: что станет с Италией и с Балканами, сможем ли мы их удержать, сможем ли мы положить конец бомбардировкам родины, выдержит ли родина?

Наконец-то получил письмо от Элизабет. Все ее имущество погребло. То, что еще осталось, подвергается сильнейшей опасности. При этом нам, как и прежде, дорог каждый предмет.

Мысли всех солдат все время обращены к родине, заботы их снедают. И все же они сохраняют мужество и выдержку. Если уверенность в победе невелика, то все же остается желание выдержать до последнего. В этом гарантия вечного существования нашего народа. С такими бойцами Германия никогда не погибнет.

19.VIII

Чувствую себя очень одиноко и испытываю настоящую тоску по родине. К тому же вечное беспокойство о семье и имуществе, а еще больше о Германии и ее будущем...

Русский относительно спокоен, но все же у нас ежедневно выбывает из строя один—три человека.

23.VIII

Русский стал беспокойнее. Наш батальон снова участвует в ожесточеннейших оборонительных боях и несет большие потери...

Сегодня утром русские ликовали в своих окопах. При этом они размахивали красными флагами, так что мы решили, что они готовятся к атаке. Но ничего не произошло.

Оказывается, мы сдали Харьков. Еще один тяжелый удар. А бои на всех участках фронта продолжаются с неослабевающей силой. Солдаты даже говорят, что и Сталино будет оставлено. Атмосфера сгущается.

1943 год, очевидно, будет самым ужасным годом немецкой истории. Когда приходилось одному народу в такой короткий срок пережить столько поражений и тяжелых потерь! А бомбардировки Германии продолжаются. Нигде не видно луча надежды для немцев. При этом еще далеко не все разбираются в событиях. Жутким вырисовывается перед нами будущее нашего народа.

24.VIII

Все мы наслаждаемся последними прекрасными летними днями. О зиме никто не хочет думать, хотя мы уже готовимся к ней. Потеря Харькова должна отразиться и на нашем участке фронта. К югу, под Изюмом, идут ожесточенные бои. И у нас русский весьма беспокоен. Воздушные налеты снова усилились.

Кроме того, бомбардировки Берлина придавили всех. Элизабет и я можем легко оказаться нищими после этой войны. К тому же мы привязаны к вещам. Может быть, я слишком пессимистически настроен. Если бы можно было хоть чем-нибудь помочь или хоть что-нибудь изменить.

Страдания достигают необычайных размеров, а правительство вынуждено взирать на это в бездействии. Вот Германия после десяти лет национал-социалистического строя и после четырех лет войны! Право, мы хотели другого.

25.VIII

Гиммлер — министр внутренних дел! Все развивается по программе. Мы продолжаем идти по начертанному пути. «Конца судьбы не избежать». Сомнение в том, действительно ли это назначение способно придать бодрости миллионам пострадавших от бомбардировок и побудить их к дальнейшей стойкости, теперь может быть опасным...

В то же время наш народ никогда еще не был так полон готовности бороться и приносить жертвы и не воодушевлен такой твердостью, как на пороге пятого года войны.

Теперь уж лучше совсем не говорить о политике и о своей тревоге за Германию. Но разве этим можно на самом деле отогнать от себя тревожные думы?

Здесь русский очень беспокоен. У Изюма начались контратаки немцев, поддерживаемые пикирующими бомбардировщиками. Слышна сильная стрельба. У нас выбывает из строя несколько человек. Наш обоз мы передвинули в тыл и принимаем меры предосторожности на тот случай, если нам придется все же отступить.

25—26.VIII

Опять сильная стрельба. Русский снова работает с фосфором. Впервые за долгое время оживилась и наша артиллерия. Так как за последние дни много частей выбыло, наша артиллерия усиленной стрельбой старается, видимо, создать впечатление плотного фронта. Удивительно, что в то время как на севере и на юге от нас

все пылает и грохочет, как раз на нашем участке фронта относительно спокойно.

Для того чтобы убить время, я продолжаю писать. Но только поэтому ли я продолжаю это делать? По правде говоря, это уже давно стало для меня приятным времяпрепровождением. У меня никого нет, с кем бы я мог поделиться своими мнениями и своими заботами. Многие даже умные люди считают малейший намек на подобные мысли чем-то опасным, чуть ли не государственным преступлением. Меня же что-то толкает до конца думать, понять причину. Но самые последние выводы я не решаюсь доверить даже дневнику...

1.IX

Четыре года тому назад началась эта драма. Она становится трагедией. Меня поставили во главе полкового обоза: 100 человек и 180 лошадей, я нахожусь в 30 километрах от фронта.

4.IX

Дни здесь, в тыловом районе, проходят быстро. Много работы и беспокойства. Я должен был руководить размещением, снабжением и распределением, создавать комендатуры, устраивать охоты на партизан, переехать из Рыжова в Червонный Шпиль и по-новому организовать местную оборону. При этом два дня подряд шел дождь, так что дороги совершенно размыло, а вчера и сегодня нам пришлось выдержать тяжелые воздушные налеты русских...

В политике только печальные известия. Англичане высадились в Италии. После Орла и Харькова — Таганрог. В Сталино, Славянске идет подготовка к эвакуации, даже Полтава, говорят, находится под угрозой.

Снова бомбили Берлин. Да будет судьба милостива к нам...

На нашем участке продолжается перемещение в тыл всех подразделений, не принимающих участия в боях, и эвакуация гражданского населения. Хотя фронт еще держится, но все принимает характер бегства. Действительно, необходимые предупредительные меры проводятся слишком поспешно. Сельскохозяйственные руководители должны сдавать инвентарь до того, как кончат жатву и молотьбу. Таким образом, не много получит Германия. Дороги кишат беженцами, со всем их скарбом и семьями. Удобное время для партизан и бродяг. Немцев, проживающих в Рыжове и расположенных вокруг него местах, мы подвезли к железной дороге и переправили на ту сторону Днепра. По этому случаю я побывал в Бесполозове, где видел потрясающие картины. Мир плывет от Волги до Атлантики.

5.IX

Из этой борьбы против русской земли и против русской природы едва ли немцы выйдут победителями. Сколько детей, сколько

женщин, и все рожают, и все приносят плоды, несмотря на войну и грабежи, несмотря на разрушение и смерть! Здесь мы боремся не против людей, а против природы. При этом я снова вынужден признаваться сам себе, что эта страна с каждым днем становится мне все милее.

И коммунистическая идея не утратила еще окончательно своей притягательной силы, это я замечаю время от времени у отдельных солдат и ежедневно у русских. Это — месть пространства, которой я ожидал с начала войны.

По селу разносятся протяжные жалобные крики. И здесь производится эвакуация населения. Взять с собой они могут немного. Какая жалость, что на полях остается необруанный хлеб!

7.IX

Печальные известия учащаются. Мы сдали Славянск. За ним последуют Сталино и Горловка. Очевидно, мы потеряем всю Восточную Украину с Донбассом. Предмостные укрепления на Кубани тоже не удастся удержать, и снова начнется битва за Крым. То, что мы теперь теряем, мы не вернем никогда.

Неужели мы собираемся отдать обратно все завоеванные нами территории в России? Есть ли в этом необходимость? Не лучше ли было предложить ее без борьбы Сталину в качестве платы за мир?

Это половинчатые меры. Фронт здесь мы непременно удержали бы. До декабря или января, в сущности говоря, никакая опасность нам не грозит.

Уже сейчас очень дает себя чувствовать второй фронт. К тому же создается впечатление, что англичане уже овладели Южной Италией без борьбы.

Мы везде отступаем и пока можем еще это делать. Но скоро и мы дойдем до границы. К тому же непрерывные бомбардировки Германии. Все сейчас надеются на одно: на давно возвещенный удар по Англии. Хотя бы только он совершился! Если этого не случится, конец. Тогда нам действительно не остается ничего, кроме надежд на чудо.

8—9.IX

...Гражданское население деревни эвакуировано, а наш обоз переводится на 120 км в тыл, ближе к Днепру. Странное это чувство — неожиданно оказаться одному в покинутой местности. Воют собаки и кошки, потому что они погибают от голода, бродят наседки с цыплятами. Курочек и петушков мы всех перерезали. Их было даже слишком много. Весь урожай остался на полях. Вокруг столько подсолнечников, что можно было бы маслом обеспечить небольшой город. Жалко пропадающую напрасно рожь, кукурузу, картофель. Вдобавок еще огурцы, помидоры, лук и тысячи тыкв. В деревне амбары полны ячменя, овса, ржи и прося. Все обмолочено, но вывезти не удастся.

Тем, что здесь брошено, можно прокормить в течение года Берлин. Сердце обливается кровью, когда проезжаешь по полям.

Гражданское население может взять с собой только крохи своего имущества. Им и так забиты все дороги. Часть населения прячется в кукурузе, они не хотят уходить. Во всей этой суматохе русские самолеты легко находят себе цель.

Страдания гражданского населения очень велики. Далеко вокруг слышны стоны женщин и плач детей. Они плачут и одновременно поют монотонно жалобные песни. Немцы, слушая эти жалобы, думают о Германии, у которой еще более тяжелые переживания. Сколько там разрушено ценного. Мои мысли с тревогой все возвращаются к нашей берлинской квартире. Ведь у нас было столько прекрасных вещей, картин, мебели, книг...

9.IX

Я отправляю последнее военное имущество с наших складов и очень сожалею, что не имею транспорта для продовольствия. Но фронт приближается. После сдачи Сталино трудно сдержать натиск русских. При этом наши позиции выгоднее, и русский наступают вовсе не крупными силами. Кто бы мог подумать, что его летнее наступление может оказаться таким успешным!

Бедная Германия. Тяжелые удары судьбы следуют стремительно один за другим. Пора бы наступить перемене...

Ах, когда же человечество или по крайней мере старая Европа обретет покой для мирного труда?! Когда же наконец мы сможем снова строить свои дома и сажать сады?..

Только что получили известие о безоговорочной капитуляции Италии. Светит солнце, но я хотел бы, чтобы земля покрылась мраком... Последнее действие трагедии началось. Нам предстоит мрачная и тяжелая зима. Теперь начнутся чересчур поспешные отступления...

Бедная Германия! Такой конец после такой борьбы? Этого не должно быть. Надо было давно прогнать наших бездарных политиков. Мы расплачиваемся за их глупость и чванство. Но Германия должна жить и сохранить свои права. Мы должны продержаться любой ценой. Германия, наша Родина! Каким прекрасным и манящим был мир, когда мы были еще преисполнены надежд на прекрасное будущее нашей страны. В Европе наступила весна народов, и Германия выдвинула новую большую идею... Но успехи развратили немцев. Они стали тщеславными и заносчивыми, а наши правители потеряли всякое чувство меры.

Гитлер — крупная личность. Но ему не хватает глубины и принципиальности. Он дилетант почти во всех областях... Может быть, только в политике он дошел до конечных выводов. Но и здесь ему помешали его догматические установки. По-видимому, он плохо разбирается в людях, и поэтому его сбивали с пути ви-

зантийцы и льстецы. Роковым для него было то, что не нашел рассудительных, обладающих широким кругозором и способных сотрудников.

Геринг, пожалуй, самый популярный из всех наших фюреров. Он не теоретик, не догматик, а человек практики и здравого смысла. На него и на его энергию можно положиться. Но и он шагает через трупы. Во время войны он отошел далеко на задний план. Восходит ли его звезда или закатывается, это зависит от многих обстоятельств и людей.

Гиммлер — не чистый лист бумаги, как кажется некоторым простачкам. Его дела говорят за себя. О его убеждениях и целях можно судить по его внешности. Его не следует упускать из виду. Его путь будет в течение продолжительного времени тесно связан с путем, которым следует Германия.

Геббельс — очень умен и очень хитер. Изворотлив, как интеллигент старого толка. Но это мелкая личность, а не выдающийся гений. Он часто поступает против своей совести и убеждений — политик черного хода, представитель третьего сословия. Пролетаризированный Талейран.

Руст — посредственный член совета народного просвещения и более чем посредственный министр. Поза, манера держаться и говорить а-ля Гитлер, но без собственных мыслей, всем известный паникер, незначительная личность.

Функ — замечательный хозяйственник. Не совсем арийский облик, неуклюж и некрасив. Вряд ли в такой оболочке может скрываться прекрасная душа. Его финансовая, экономическая политика — типичная азартная игра. Далеко не загадывает. Можно предположить, что его преступное легкомыслие и ура-оптимизм были причиной войны.

Лей внешне напоминает Функа, к тому же тщеславен и самовлюблен. Очевидно, из того же теста. Умственные способности довольно примитивны. Весьма посредственный организатор и очень плохой оратор.

Риббентроп — господин комильфо третьего рейха. Пустой фасад и мало содержания. Безусловно, плохо образован. Он не имеет никакого понятия о великих комплексах вопросов в Восточной и Южной Европе, а что касается Запада и англосаксонских государств, то тут он абсолютно ничего не смыслит. Парвеню, который кое-чему научился в Англии, но человек без настоящего воспитания и глубины.

Кроме них, целая куча посредственных помощников и бюрократов, которые всячески подражают «великим» и ухаживают за ними. На этом поколении ужасающе сказываются тяжелые, кровавые жертвы Первой мировой войны. Да и на военном поприще — ни одного крупного человека, кроме Роммеля.

Все-таки наш народ здоров (силен), готов к самопожертвованию и сумеет пережить и подобные эпохи засилья посредственно-

стей и беспомощного топтания на месте. Он должен только выдержать войну. Да будет милостива к нему судьба. Не мешало бы, чтобы нам тоже когда-нибудь улыбнулось счастье.

Если бы у нас хватило сил, чтобы смелым контрударом сбросить в Средиземное море американцев и начать наконец давно обещанные операции против Англии! Тогда положение снова изменилось бы коренным образом, и весной мы могли бы отважиться на новый удар в Донецкой области.

Тогда мало было бы рассчитывать на выгодный мир к будущей весне. Вопрос только в том, есть ли у нас столько сил?

10.IX

Повсюду пылают села, деревни. Какое несчастье, что мы не смогли удержать этот плодородный край хотя бы еще на месяц. Наш обоз мне удалось, несмотря на все трудности, благополучно передвинуть на 150 км дальше в тыл, и я теперь сам готов в любую минуту следовать за ним, когда поступит приказ.

Мы в Николаевске, большой деревне колонистов, недалеко от Новомосковска. До Днепропетровска теперь тоже недалеко. Это была для меня захватывающая и одновременно мучительная поездка. Плодороднейшие пашни и цветущие поселки. Затем снова бесконечные колонны беженцев, а также уже многочисленные отступающие полки. Иногда встречались дикие картины бегства и беспорядков.

Отступление всегда стоит больше крови и материальных потерь, чем наступление. Зачем такая поспешность? До нового года для нас никакой опасности не было, а сохранить мы здесь сможем едва ли одну дивизию. Пройдет еще много времени, пока соединения будут приведены в порядок.

В Лозовой мы видели наше начальство — фон Маккензена. Славы он там себе не снискал. Он выехал из города в тот момент, когда на другом конце русские попытались произвести первую танковую атаку. Я редко видел такую неразбериху, хотя для обороны послали тысячи солдат, множество офицеров и даже генералов. Мы тоже хотели пробраться туда, но увидели танки и вернулись. У нас слишком неравные силы. Затем наш обоз хотели задержать для местной обороны, и мне стоило больших трудов добиться, чтобы мне вернули опять людей и повозки...

12.IX

Период дождей начался очень рано, и это может привести всю южную армию к катастрофе. 62-я дивизия совершенно разгромлена. Мы наталкиваемся на ее остатки. Наш юго-восточный фланг почти совершенно обнажен. Может быть, дорога на Днепропетровск будет для нас отрезана уже через несколько дней. Надеюсь, наша дивизия благополучно преодолет это. Потерь так или иначе будет достаточно.

16.IX

13-го числа мы выехали днем. По глубокой грязи, слякоти проехали через Новомосковск, а поздно вечером прибыли в Днепропетровск, где остановились на западной окраине города. 14-го утром я переехал обратно через Днепр и доставил вторую колонну из Николаевска. 15-го утром мы обходными путями прибыли на наше новое месторасположение, приблизительно в 100 км западнее Днепропетровска. Со вчерашнего дня мы разместились в маленьком местечке Алферове.

Поездка временами была очень приятна. В Новомосковске я видел красивый, выкрашенный в красное и синее девятиглавый собор. 14-го днем и вечером я был в Днепропетровске и мог осмотреть город.

Многие дома выстроены почти в классическом стиле вильгельмовской эпохи, как было принято при царизме, большевики тоже много построили. Есть несколько великолепных зданий и много новых поселков, даже очень красивых.

Колонны беженцев, рогатый скот и лошади запрудили все дороги. Отступление обоза на этот раз происходило гораздо организованней. Все же много повозок было разбито. Мы собрали сюда далеко не все...

22.IX

...По-прежнему отступление на всех фронтах. И в Италии после освобождения Муссолини не будет больше изменений. Он теперь все равно мертвый человек. Песенка Савойской династии наконец спета. Для нас дело может идти только о том, чтобы можно было спасти все, что еще можно спасти для империи.

Наше общее положение из-за отпадения Италии очень ухудшилось. Но постепенно становишься равнодушным и к судьбе Германии. Вчера я читал речи Гитлера за 1940—1941 годы. Они меня потрясли и в то же время сильно отрезвили. Пожалуй, нет книги, которая бы так быстро устарела и которая с такой силой свидетельствует против своего автора. Он не пророк и также, пожалуй, весьма посредственный политик. Но осознать это тяжело после того, как я в течение долгих лет обожал его, и еще тяжелее прийти к этому мнению на пятом году войны.

Куда ни взглянешь, нигде нет просвета. Нам сейчас важно только отстоять и использовать изменения в отношениях между великими державами. Рассудок мне подсказывает, что надежды у нас очень слабые, но чувство твердит, что Германия не может погибнуть. Только все будет не так, как мы надеялись и желали.

Отступление нашей дивизии здесь, на юге, все больше принимает для людей, животных и техники характер катастрофы, хотя и производится в образцовом порядке. Во время отступлений, правда, это обычное явление...

27.IX

24 сентября был с моторизованным обозом в Днепропетровске, который как раз эвакуировался. Много горя, крупные взрывные работы. Расформирование обоза, возвращение в полк.

... Третий батальон расформирован. Не хватает снабжения. Говорят, что так в каждом полку. Зловещие признаки множатся — обозы и тыловые части пухнут.

Я вчера встретил полковой обоз, который насчитывал не менее 950 человек. Полковника следовало бы арестовать. Ведь во всем нашем полку нет столько людей. И все тащат с собой баб и барахло.

Несчастливая Германия! Во многих отношениях сейчас хуже, чем в 1914—1918 годах. Наша боевая сила пропала, а русские день ото дня становятся сильнее. Генерал только за сегодняшний день предал полевому суду девять человек из нашего батальона, которые трусливо убежали. Убежали от русских!

Куда мы пришли на пятый год войны? Кто же осмелится поднять камень при виде всего этого горя и страданий? Меня охватывает глубочайшая жалость к каждому солдату. Даже, похоже, к каждой русской старухе, которая вынуждена теперь оставить свое жилище. Несчастный мир, несчастное человечество, уничтожившее всякую человечность! Несчастливая родина, которой приходится выносить такие ужасы! Мы должны выдержать. Мы не имеем права распускаться и должны оставаться твердыми, иначе плотина прорвется и начнется ужас.

Русские со вчерашнего дня захватили предместное укрепление на нашей стороне Днепра. Уже два дня они отбивают наши сильные контратаки, нанося нам тяжелый урон. Только и слышим об убитых и раненых. Он (русский) по-прежнему вводит в дело колоссальное множество тяжелых орудий и самолетов. Но завтра утром он, несмотря ни на что, должен быть окончательно отброшен. Будем надеяться!

28.IX

Ожесточеннейшие бомбардировки. О сне нечего и думать. Русская артиллерия очень сильна и разбивает все. Наши атаки захлебываются, так как русский с противоположного берега реки поливает огнем каждого солдата. Большие разногласия между полковником и генералом. Танковые атаки и пикирующие бомбардировщики также мало помогают. Пехота сильно ослаблена большими потерями. От первого батальона осталось немного... Порядочная неразбериха. Контратаки откладываются с часу на час или захлебываются... По всем подсчетам, на этом берегу не больше двухсот или четырехсот русских. Если бы только у них не было так много артиллерии и самолетов!

Русские стреляют как безумные. Растет гряда убитых и раненых. Я пишу последние строчки и отправляюсь на позиции. Не многих я там найду. Батальон растаял.

Мы окончательно зашли в тупик. Родина истекает кровью из тысячи ран. Кажется, всюду захватили руководство бездарности. В величайшей нужде Германия взывает к своим последним сыновьям. Однако большинство не хочет следовать этому зову. Но именно теперь нужно делать все, что в наших силах, хотя выполнение долга становится все труднее. Между нами и родиной грозятся горы. Многие пытаются их обойти. Жизнь манит, и родина манит, и никто не умирает легко и охотно.

Все же мы продолжаем следовать тяжелым путем долга. Он действительно нелегок. Ведь и я страстно люблю жизнь. Но мы — немцы, и мы хотим жить, а если это нужно, то и умереть как немцы. Попытаемся штурмом взять те высокие горы, которые отделяют нас от родины и от близких.

Все чаще разрывы снарядов. Я собираюсь на передовую. Да здравствует Германия! И я знаю, что она будет жить вечно...

29.IX

Прекрасный вечер и темная ночь. Я принял первую роту. В ней было только несколько человек. Во всем батальоне осталось 26 солдат. Тяжелейший огонь русских длится часами. Каждый дом горит, каждый угол пронизывается насквозь. Наше наступление приостановилось. С имеющимся небольшим количеством людей — это настоящая бойня. Сделать ничего нельзя. Очень тяжелые потери...

Утром получили приказ свезти весь обоз в одно место, прочесть его и собрать всех отставших. Об участии батальона в боевых действиях не может быть и речи. В нем всего лишь два или три отделения, которыми командуют три офицера.

После полудня страшные крики, прорыв фронта, откатывание всех частей и, наконец, дикое бегство. Я стоял в маленькой деревне и безрезультатно пытался остановить бегущих. Страшная картина распада. Одному молодому офицеру я был принужден дать пинок в задницу. Успеха это не возымело. Путем угроз и прочего удалось собрать не более десяти человек.

В конце концов я отошел с нашими конюхами на высоту и организовал оборону. Мрачный день!

1.X

...После тяжелых потерь мы смогли наконец оторваться от русских. Наши жалкие остатки теперь резерв полка. В бой бросаются новые дивизии! Ничтожные успехи немцев.

Лейтенант Ян пропал без вести, капитан Штурм лишился обеих ног, а Ридель убит во время контратаки. Я больше не могу писать, я любил его больше всех: так молод и должен был так рано

погибнуть! Несчастливая Германия, у которой отнимают эту молодежь, несчастная страна...

3.X

Я командую 1, 2 и 3-й ротами. В действительности все три роты составляют кучку не более 30 человек. Правда, сегодня или завтра нам обещают пополнение. Но пока мы с ними сработаемся, пройдет, наверное, еще некоторое время. Надеюсь, новеньких не сразу бросят в бой.

Немецкое контрнаступление мало-помалу развивается. Все-таки пройдет еще по крайней мере несколько недель или дней, пока передовое укрепление будет ликвидировано. Капитан Зонтаг убит. Второму нашему батальону тоже не везет.

В нашей роте было два близнеца из Эльзаса, которые, видимо, стали перебежчиками и теперь обращаются к нам по радио. Бывший денщик офицера К. тоже передает привет своей жене и детям. Наш народ теперь уже не тот, каким он был. Воодушевление и порыв переходят на сторону русских.

6.X

Вчера наконец пришло пополнение, и я составил совершенно новую роту. Нас уже 35 человек, из них один офицер и один унтер-офицер. Почти все пожилые, главным образом рабочие и крестьяне. Я надеюсь, что все будет хорошо. Вчера мы прилежно занимались обучением их обращаться с оружием. Большинство, к сожалению, незнакомо еще с новым пулеметом...

Переписка с родственниками погибших. Удивительно, как быстро многие утешаются. В трех письмах жены требуют выслать им перочинные ножи или бритвенные приборы погибших.

7.X

Незадолго до полуночи мы сменились и заняли позицию у Воеводского, у самого Днепра. Ночь была очень беспокойной, так как русский, очевидно, заметил наши перемещения. Его артиллерия и минометы стреляли оживленно. Немецкая артиллерия отвечала время от времени довольно удачно...

8.X

У одного товарища оказалась испанская газета со всевозможными интересными сообщениями. Но утешительных очень немного. Я прочел также несколько совершенно новых мнений о Гессе (поручение Гитлера склонить Англию к борьбе с Россией). Это хорошо подходит к нашей чрезвычайно тупой политике. Скорее противоположное — установление прочных договорных отношений с Советами — привело бы к союзу с Англией. Правильность этого утверждения еще следует проверить.

Дети и дураки творили политику, они рядились в макиавеллиевскую одежду, что, по существу, им совершенно не подходит. Флорентиец ведь требовал прежде всего величия, ясности, созна-

тельности и последовательности. В политическом отношении англичане нас все еще превосходят. С 1939 года мы все время не понимали и недооценивали их фанатической воли к уничтожению. Еще и теперь наш народ закрывает глаза на неминуемую опасность, грозящую ему и с Востока, и с Запада.

Следствие этого — разрушенная Германия. Мы слишком долго играли с огнем и думали, что он будет гореть только для нас. Это — последствия пропаганды Геббельса, жертвой которой скорее сделался наш народ и правительство, чем заграница. Нам так долго преподносили искаженное представление о мире и обо всех вещах, что мы стали принимать наши иллюзии за правду.

Русский вчера и сегодня ночью вел себя беспокойно. Это был, в истинном смысле этого слова, ад. Вот уже два дня, как мы бешеными темпами роем землянки и строим позиции. Но от артиллерии и множества русских минометов они нас не защищают. К сожалению, снова вышло из строя три человека.

10.X

Вчера поздно вечером большое наступление русских. Нас сильно обстреливали артиллерия и минометы. Русская пехота совсем не показывалась, но наши солдаты вели себя беспокойно и сами стреляли как сумасшедшие, даже когда ничего не было видно. Эта idiotская привычка привита им прежними приказами по батальону. Я вынужден был переползть от землянки к землянке для того, чтобы хоть немного образумить и успокоить солдат.

Сегодня оживленная артиллерийская деятельность по направлению к Запорожью. Говорят, мы там начали взрывать и отдали наше предместное укрепление. Только не это! Тогда наше положение здесь станет еще более критическим. И где же мы, в конце концов, будем зимой? Ведь катящийся вал где-то должен остановиться, и это должно быть здесь, на Днепре!..

15.X

Вчера утром у меня было столкновение с Масенбахом, так как не хотел производить ненужных разведок. Я ему сообщил все мои наблюдения относительно русских позиций, а он хотел еще раз получить подтверждение. Наконец мы договорились послать разведку с моим участием. Но когда я довел его до наших последних позиций, он приказал выслать разведку без меня. В ярости я вынужден был ему подчиниться. И это с моими зелеными новичками.

Я подготовил все самым основательным образом и против своего желания послал их. С половины дороги я следил с пулеметом за дальнейшими событиями. Как я ожидал и предсказывал, они вскоре попали под вражеский пулеметный огонь. Мой лучший пулеметчик упал, тяжело раненный, остальные все бегом помчались обратно. С рекрутами ведь ничего не поделаешь.

Сегодня в 2 часа ночи ударная операция 2-го батальона перед участком моей роты. Мы давали огневое прикрытие. Это продолжалось добрых полтора часа и снова оказалось безрезультатным. Подобные истории только влекут за собой ненужные жертвы, приносить которые мы больше не имеем права. Доверие у людей подрывается быстро. Кроме того, всякое действие, предпринятое с солдатами пятого года войны, весьма рискованно. Они плохо дерутся, их почти невозможно заставить идти в атаку. Они очень деморализованы.

Залпорожье сдано. Наше положение чрезвычайно ухудшилось. Теперь у русского освободится еще большее количество артиллерии и минометов. Он и так очень неспокоен. Если бы у меня был хоть один по крайней мере хороший унтер-офицер!

18.X

С позавчерашнего дня я кроме своей части командую еще соседней ротой, расположенной справа от нас. После тяжелых потерь, понесенных нами, недостаток офицеров очень чувствуется... К сожалению, у меня совершенно нет унтер-офицеров, а те немногие, которые имеются, почти никуда не годятся. Поэтому я все должен делать сам. Одного, фельдфебеля, надо уговоривать, когда начинается стрельба, другой — санитар и переведен лишь из-за проступка. Из трех моих унтер-офицеров один каптенармус, другой писарь, третий четыре года просидел в управлении в Познани.

В течение нескольких дней русский постепенно передвигал фронт вперед и теперь сидит в кукурузном поле, приблизительно метрах в двухстах от нас. Он непрерывно подвозит новые силы и укрепляется. Поэтому пора было бы снова уничтожить предместное укрепление. Но пока на это вовсе не похоже. Артиллерия и минометы у него опять очень сильны. Мы уже слышим шум танков на этом берегу.

22.X

У нашего соседа справа русскому удалось прорваться. Для ликвидации прорыва мне пришлось ввести в бой мои последние резервы. К сожалению, не обошлось без потерь.

Соседняя рота, приданная мне, причиняет мне много хлопот, так как там не только не хватает унтер-офицеров, но и солдаты случайно индифферентны и ленивы. Даже во время большого наступления я мог заставить бодрствовать только часть из них. Конечно, сам я при таких обстоятельствах и думать не могу ночью о сне.

По сообщению перебежчиков, на нашем предместном укреплении находится уже около пяти русских дивизий, которые теперь получают подкрепления и вновь собираются наступать. Они тратят бесчисленное множество боеприпасов и обстреливают нас с

утра до вечера так, что мы не можем высунуть головы из землянок. Как слышно, на ликвидацию предместного укрепления в этом году рассчитывать не следует.

При тех потерях, которые мы несем ежедневно, мы можем вычислить, когда наша часть будет уничтожена окончательно. С раннего утра до поздней ночи я бегаю по позиции, подгоняю, подбадриваю. Мы должны продержаться и продержимся. Но как мы выйдем из этой рожи, я почти не представляю...

23.X

В 11 часов утра, после наблюдавшейся в течение нескольких часов подготовки, которой мы старались помешать, русский начал большое наступление...

У нашего соседа справа ему удалось прорваться на широком фронте. Начала также поддаваться правая половина приданной мне роты. Русские наступают тесными рядами. От продолжительной стрельбы некоторые наши пулеметы отказали.

Кое-какие солдаты испугались и побежали обратно. Русские толпами бросились в наш лес, прежде чем я с двумя-тремя солдатами сумел этому помешать.

Внезапно мы обнаружили также, что и впереди, не дальше как в 30—50 метрах от нас, находятся русские. Под защитой танков они лихорадочно рыли узкие траншеи и укрытия. Положение вследствие этого стало исключительно критическим. Я радовался лишь тому, что в этот грозный момент смог сам появиться на правом фланге и начать действовать. Руганью, криками мне удалось загнать нескольких солдат в землянки, так что мы удержали по крайней мере опушку леса.

Соседней роте меньше повезло. Ее правый фланг до сих пор обнажен. Русские прорвали правый фланг на широком фронте. К тому же у нас в тылу залегло около сотни русских. На востоке и на юге — Днепр, дорога на запад отрезана.

Рассчитывать на крупные контратаки нельзя — не хватает резервов. Так родина все больше удаляется от нас. Ночь опять очень темная. Надеюсь, русский не будет больше наступать. Только что получен приказ возможно скорее бросить все, что мы не можем захватить с собой. Значит, опять отступление!

Несчастливая Германия. Это слишком. Почти невозможно это перенести. Все имеет свои границы. О, эти идиотские политики, которые на пятом году войны причиняют нашему народу и армии такие страдания! Как это изматывает и сколько жертв это снова стоит!

Несчастливая родина, кто же тебя спасет?...

СОДЕРЖАНИЕ

Виктор Мануйлов
Штрафники на Черной речке
3

Михаил Косинский
Солдат Великой Отечественной
59

Иван Грунсков
У войны такие разные лица
109

Леонид Вегер
Записки бойца-разведчика
187

Семен Школьников
В объективе — война
219

Немцы о русских
267

ФРОНТОВЫЕ НОЧИ И ДНИ

Сборник

Редактор *Г.В. Булгакова*
Художественный редактор *Л.Е. Кривокобыльская*
Технический редактор *Н.Я. Богданова*
Корректор *Г.В. Казнина*
Компьютерная верстка *Н.В. Зизина*

Лицензия ЛР № 020872 от 8 июля 1999 г.

Сдано в набор 02.03.05. Подписано в печать 25.03.05. Формат 60×88/16.
Бумага офсетная. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная.
Печ. л. 19. Усл. печ. л. 18,62. Уч.-изд. л. 20.
Тираж 3000 экз. (1-й завод — 1500 экз.)
Изд. № С/04/439. Зак. 6739.

Воениздат, 123308, Москва, ул. Зорге, д. 1



КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • Р
РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ
КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕДКАЯ КНИГА • РЕ

Ракет зеленые огни
По бледным лицам полоснули.
Пониже голову пригни
И, как шальной, не лезь под пули.

Приказ: «Вперед!»
Команда: «Встать!»
Опять товарища бужу я.
А кто-то звал родную мать,
А кто-то вспоминал — чужую.
Когда, нарушив забытье,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»

А шли и гибли
За нее.

Николай Старшинов



ФРОНТОВЫЕ НОЧИ И ДНИ